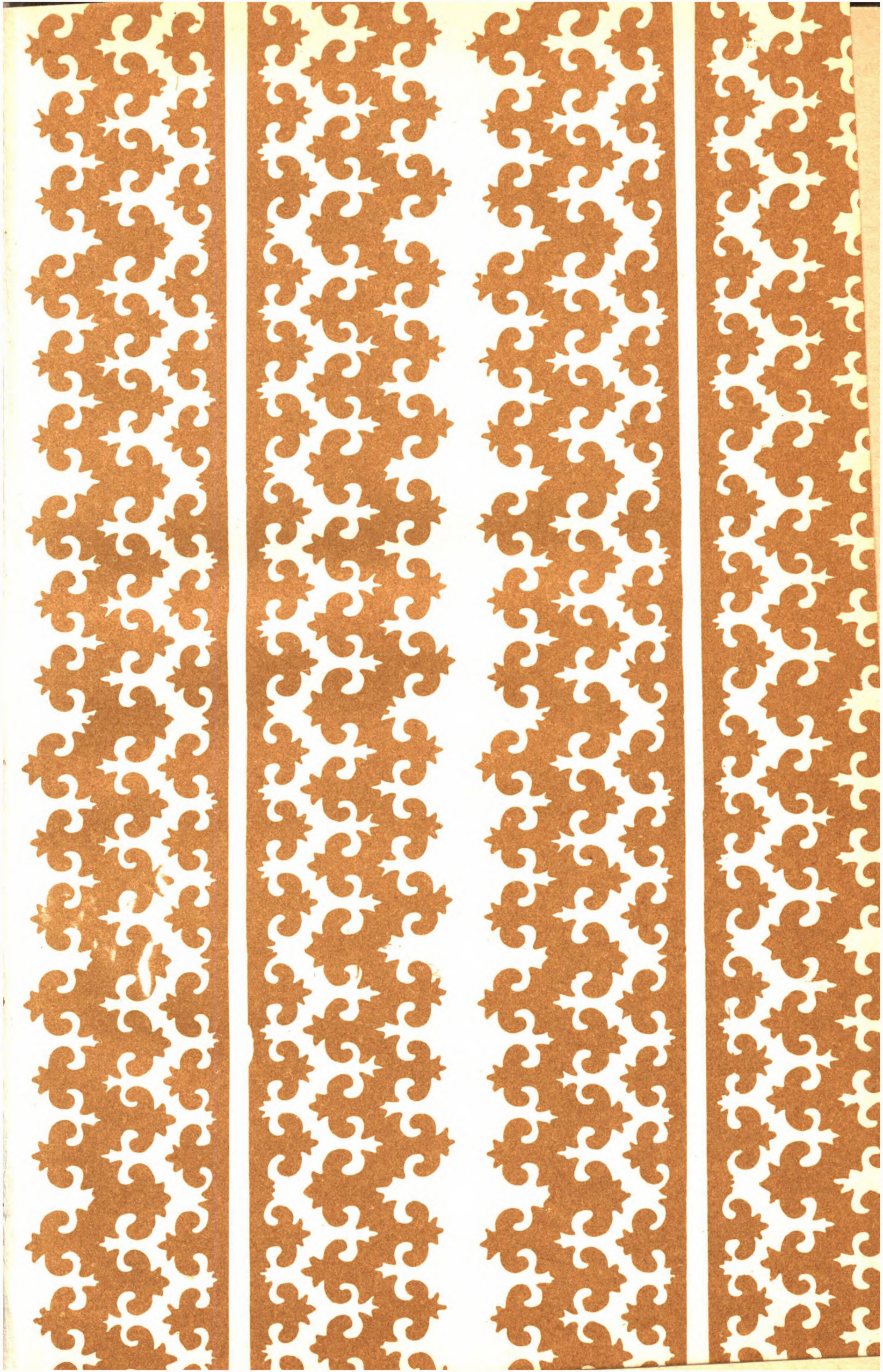
БАУРДЖАН МОМЫШ-УЛЫ



2



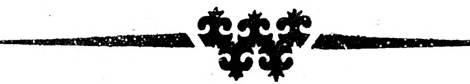


БАУРДЖАН МОМЫШ-УЛЫ

2

Ш

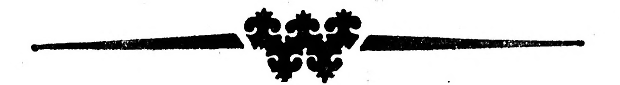
БАУРДЖАН МОМЫШ-УЛЫ



Собрание сочинений в двух томах

АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1986

БАУРДЖАН МОМЫШ-УЛЫ



Собрание сочинений

Том второй

НАША СЕМЬЯ

•

РАССКАЗЫ

•

ВЫСТУПЛЕНИЯ

•

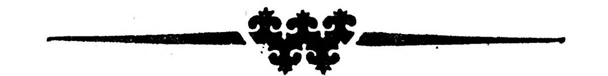
СТАТЬИ

АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1986

84Р7—44
М 76

М $\frac{4702010200-118}{402(05)-86}$ 8—86

НАША СЕМЬЯ



повесть

Вере Павловне Строевой, чьи критические замечания и советы помогли мне больше, чем она подозревает.

Отец мой Момынталы, по аульному — Момыш, родился четвертым ребенком от деда моего Имаша, высокого, горбоносого, кряжистого старика, который умер девяноста двух лет в тысяча девятьсот одиннадцатом году.

Бабушка моя Кызтумас. Под старость прозвали ее «Сары Кемпир» — «Белой бабушкой». Говорят, в молодости она была на редкость красивой и белокожей. Такие казашки в кочевьях округа встречаются нечасто. Как она сказывала: «Сыновья пошли в отца — черные, как сажа, а дочерям передалась моя белизна и красота». Бабушка не позволяла своим сыновьям жениться на смуглых — по ее мнению, некрасивых — казашках: ценила белизну кожи. Моего отца она продержала до тридцати лет в холостых, открыто заявляя ему:

— Тебе, черному уроду, я молю бога прислать невесту из райских красавиц, чтобы внуков от тебя я могла целовать без брезгливости к твоей черноте.

Однажды моего отца, джигита, встретившегося в айтысе[1] с одной смуглой девушкой, бабушка на глазах у всех прогнала из юрты, гневно сказав, что она не позволит «саже пачкаться сажей».

Отец повиновался воле бабушки, хотя и не разделял ее немилости к смуглым.

В добрый час, в хорошем настроении, бабушка была ласкова со своими взрослыми детьми, уважала ум и способности моего отца и с гордостью подчеркивала:

— Этот уродушка, слава богу, хоть ум от меня унаследовал. Этим я утешена судьбой.

Если она у нас, у внуков, обнаруживала какой-либо

---

[1] Айтыс — состязание двух певцов (поэтов-импровизаторов).

недостаток во внешности, то, как гроза, гневно обрушивалась на наших родителей:

— Зачем мне такое дитя принесли?

Поэтому родители нас не пускали к бабушке, пока не вымоют и не оденут как надо.

Мой отец женился тридцати трех лет на моей матери Разии, дочери Абдырахмана из рода Байтана. Мать я не помню. Она умерла, когда мне было около трех лет от роду. Все мои представления о матери в основном сложились по рассказам бабушки и отца.

Бабушка до самой смерти печалилась и горевала о моей матери, каждую осень водила нас к ее могиле, зажигала сальные свечи, заставляла меня и моих сестер на коленях произносить слова молитвы об успокоении ее души, а сама плакала и причитала, как будто бы разговаривала с покойной:

— Голубушка, ангел мой, красавица Разия, сноха моя, я привела к тебе твоих птенцов...

Мы при последнем слове пугались, думая, что действительно сию минуту встретимся с покойной мамой, и умоляли бабушку скорее идти домой.

Приходя домой, бабушка обычно справляла поминки по покойной снохе, и тогда весь наш дом был в трауре.

По рассказам бабушки, моя мать была красивой женщиной. Она с почтением относилась к старикам, к отцу моему и к окружающим.

Первой в нашей семье родилась сестра Убиш, за ней, через два года, последовала вторая — Убианна, третья была названа Салиманной, четвертая — Алиманной.

По рассказам отца, я родился зимой тысяча девятьсот десятого года, двадцать четвертого декабря по старому стилю. Отец в это время находился в городе Аулие-Ате[1]. В ночь моего рождения дедушка во все концы послал гонцов, в том числе и к отцу.

Гонец Байток, войдя в дом, где жил отец, и увидев его, до того растерялся, что не мог произнести ни слова. Он только обнимал моего отца и плакал. Сестра отца и все присутствующие встревожились, думая, что он принес весть о несчастье в семье, и стали тормошить гонца, умоляя сказать, что случилось.

— Тетя сына родила! — произнес наконец Байток.

Тревога сменилась радостью. Посыпались поздравления отцу, а Байтоку — подарки за радостную весть.

---

[1] Аулие-Ата — ныне Джамбул.

Вернувшись домой, отец застал в сборе всю нашу родню, съехавшуюся с поздравлениями и подарками. Собрался весь аул. Был устроен той[1].

После меня родился еще один сын, звали его Тэурджаном, умер он годовалым ребенком. Отец рассказывал, что, когда моя мать была тяжела мною, он однажды видел сон... Старческий голос произнес непонятные ему четыре слова по-арабски: «Баур, Тэур, Майс, Манус». Проснувшись, он так объяснил «жорыды» — свой сон: создатель подарит ему четырех сыновей, и он назовет их этими именами. Мне выпала честь называться Бауржаном (Бевурджаном).

Шестимесячного, мать спеленала меня и пошла к дедушке, который сажал деревца.

— Внук деду помогать пришел,— сказала мама.

Дед бросил работу, подошел ко мне и вложил в руку тоненький прутик...

— На тебе курык — баранов и коней будешь гонять...

Но на умильные жесты деда я не улыбнулся.

— Будет у него очень тяжелый характер,— произнес дед.

В честь первого свидания и разговора с дедом отец зарезал барана и пригласил дедушку со всей семьей.

Все это рассказывается с такими подробностями, чтобы передать, с какой тоской и жаждой мои родители ждали сына, и чтобы была понятна искренность их радости, вызванной моим появлением. Ибо казах без сына считался бездетным, без наследника, сколько бы девочек он ни имел. Супругам, не произведшим на свет сына, даже приписывалось прозвище Кубас, то есть Сухая голова, считаются они тукумсызами, что значит — люди без потомства. Наследники признавались лишь по мужской линии.

Бабушка рассказывала, что мать моя перенесла какое-то нервное потрясение. Затем проболела шесть месяцев и умерла в полном сознании, простившись со всеми.

Я помню ее в постели перед смертью, когда меня привели в последний раз с ней проститься. Крупное, продолговатое, белое с желтизной лицо с прямым носом и белыми зубами. Почему-то она в последний раз поцеловала меня в лоб. Меня тут же увели от нее.

До последнего вздоха она спокойно разговаривала с отцом, а когда ее уже стала покидать жизнь, она тихо промолвила отцу:

— Прощай... Будь счастлив с нашими детьми.

---

[1] Той — праздничный пир.

— С тем и ушла от нас она, без слез, без истерики,— много раз вспоминал отец с тоской и грустью.

Через год отец устроил богатые поминки, по словам очевидцев, не похожие на обыкновенные поминки по женщине.

Отец говорил, что пять лет после ее смерти он вычеркнул из своей жизни. Второй раз он женился, когда мне было восемь лет. Наша новая мать была дальней родственницей моей матери.

Когда я родился, отцу моему исполнилось пятьдесят три года. По рассказам бабушки, отец был самым шустрым и сообразительным из всех ее детей. Он настоял, чтобы его учили грамоте.

После школы отец до самой смерти занимался самообразованием. Он знал элементарную арифметику, читал газеты и с появлением в нашем крае русских начал изучать и русский алфавит. В молодости он научился столярно-плотничьему ремеслу, сапожничеству, ветеринарии. Видимо, долгая холостяцкая жизнь заставила приобрести кое-какие навыки и в ювелирном искусстве. Оно сделалось одним из средств общения с женщинами.

Отец состязался в айтысах, сочинял куплеты, но никогда наизусть не заучивал чужие стихи.

Когда он стал взрослым джигитом, дед ему позволил вести хозяйство. Даже самолюбивая и властная бабушка ограничила свою власть у домашнего очага, отсылая всех по хозяйственным делам к Момышу. И ни один из вопросов вне дома — купля, продажа, взаимные подарки родственникам, устройство тоев и поминок, уплата налогов, смена кочевья и прочее — не решался без него. Если в отсутствие отца возникали какие-либо споры, то их решение обязательно откладывалось до его возвращения. Аул назывался по его имени и при жизни дедушки.

— Он сразу стал ведущим в семье...— рассказывала бабушка. — Высвободил нам руки от лишних хлопот по хозяйству.

На отце лежала забота о благополучии семьи. Жили мы небогато, честно. Все работали, начиная с дедушки, никого не нанимали, ни к кому не нанимались.

В молодости отец носил прозвища Молда-бала — Грамотный малый и Уста-бала — Мастеровой малый. Бабушка звала его Кара-катба, то есть Черный сухарь.

Отец был ниже среднего роста, худощавый. У него бы-

ли открытый лоб, длинные брови и ресницы, большие круглые глаза.

Ценя в нем силу и ловкость, бабушка дала ему второе прозвище — Тарамыс — Жилистый.

Однажды я обиделся на бабушку за нелестное прозвище, данное отцу.

«Мать может называть своего сына, как она захочет...» — ласково заметил отец.

Помню, как мой дядя, младший брат отца, однажды резко оборвал бабушку: «Довольно, апа![1]»

Бабушка вспыхнула:

«Даже Момыш ни разу не повысил голоса на меня. Откуда ты взялся, щенок?! Вон с моих глаз!» — и прогнала его из юрты.

Тут же вошел отец. Бабушка обняла его, наговорила много ласковых слов, расцеловала и потребовала наказать дядю за непочтительность.

«Накажу, обязательно накажу, мама...— успокаивал ее отец. — Ты только разреши его не бить...» — уговаривал он бабушку.

Дядя ночевал в отаре. Отец утром дал ему поручение и куда-то отправил верхом на десять дней.

К возвращению дяди бабушка успела забыть его резкость и даже соскучилась по своему младшему сыну.

В нашем степном крае человека, умеющего водить пером по белой бумаге, как говорили в народе, трудно было найти. Муллы, фальшивые рекламаторы отдельных страниц Корана, тоже не все владели этим искусством. Отец стал популярным человеком в волости. Новое русское начальство требовало оформления дел на бумаге. И ввело правило: неграмотные, а их было тогда у нас девятьсот девяносто девять человек на каждую тысячу, вместо подписи должны были прикладывать к бумаге большой палец правой руки.

Все, включая аульных и волостных старшин, стали обращаться к отцу за оформлением различных дел вроде составления списков, прошений, донесений. При уездном управителе имелись толмачи — переводчики. Они, по существу, и были властителями казахов в уезде, ибо решение любого вопроса больше зависело от того, как толмач переведет начальнику какую-либо просьбу или жалобу. По рассказам отца, толмачи, как правило, были взяточниками

---

[1] Апа — мама.

и жуликами высшей марки. Они брали взятки с того, кто подавал жалобу, и с того, на кого жаловались. «Твои слова буду говорить»,— обещал толмач, получая мзду, а говорил, что ему вздумается.

В то время степные воротилы заигрывали с народом по-своему и свои действия, какими бы они ни были антинародными, объясняли новыми порядками, введенными русскими начальниками в степи. Русские чиновники были жупелом в их руках. Они проводили ту же политику, что и казахские баи: «разделяй и властвуй», вымогая взятки с каждой из межродовых группировок.

Казахи знают немало замечательных представителей русского народа: просветителей, исследователей, путешественников. Но в нашем степном округе ни один царский чиновник не был популярен среди казахов.

Тогда в три года один раз созывался уездный чрезвычайный съезд для выбора волостных управителей и биев — судей. Этому предшествовала долгая предвыборная борьба, сопровождаемая подкупом выборщиков, шантажом группировок и клеветой, чернящей соперника.

Система выборов формально была установлена делегированием: один представитель от пятидесяти хозяйств. Этот делегат назывался пятидесятником. Фактически за весь род голосовал один заправила. Он торговал голосами всего рода. Да, по существу голоса и не играли никакой роли на выборах, зачастую чиновник подделывал выборные документы и объявлял избранным того, кто давал ему большую взятку. От имени рода выборщику подавались прошения. Их, конечно, никто не читал, но подавать прошения считалось самым верным средством, так как степное начальство было недоступно для казахов.

Однажды на предвыборном сборище все громотеи натолкнулись на непреодолимую преграду.

— Бумага остановилась!.. Бумага остановилась!.. — тревожно шептались «депутаты». Все суетились и ломали головы.

Тогда один из претендентов на должность судьи, дядя моего отца по материнской линии Текебай-бий, заахал, что теперь бумага не успеет к уездному. Мой отец, двадцатичетырехлетний джигит, спросил:

— В чем дело? Что случилось?

— Никто не может написать «половину»,— со вздохом ответил бий.

— Я напишу...— сказал отец.

— Где тебе, юнцу, написать такие сложные знаки?

Ведь все муллы второй день не могут написать... — недоверчиво посмотрел на отца бий.

— А я знаю и напишу...— уверенно сказал отец.

Его повели в особую юрту, где сидели грустные муллы. Отец написал «1/2» и доказал, что это именно половина. Все были в восторге и, облегченно вздохнув, глядели на отца, как на спасителя.

Соперником Текебая в то время был сын Байузакдатка[1] — степного аристократа — пятидесятилетний Кабылбек. Он соперничал три с лишним года, осыпал Текебая клеветой, обвинял его в конокрадстве, устраивал разные провокации, чтобы только скомпрометировать своего соперника.

Старший сын Текебая, тридцатипятилетний Серкебай, после очередной клеветы сторонников Кабылбека взял с собой десять джигитов и поехал в стан Кабылбека. Усевшись напротив него и сложив камчу[2] вдвое — знак вызова,— он оскорбил его самыми унизительными словами в присутствии всех сторонников. Кабылбек молча выслушал Серкебая и в ответ на возмущение своих сторонников сделал рукой знак молчать и не трогаться с места.

Серкебай, взбешенный еще пуще, осыпал Кабылбека бранными словами, потом вскочил на коня и поскакал обратно.

После отъезда Серкебая друзья Кабылбека с возмущением спрашивали:

— Почему вы не позволили расправиться с ним?

Кабылбек спокойно ответил:

— Ему уже, наверное, самому стало стыдно за свой поступок.

Когда Серкебай с гордостью доложил отцу о своей дерзости, хвастаясь тем, что «даже сам Кабылбек не посмел обмолвиться ни единым словом», отец строго посмотрел на него и произнес:

— Дурак!

Серкебай вылетел из юрты отца, пошел к себе и пролежал два дня голодным...

Подготовка к выборам шла своим чередом.

На третий день Серкебай явился к отцу и сказал:

— Я недостойно оскорбил Кабылбека: он старше меня на двадцать лет. Меня мучит стыд.

---

[1] Датка — (дотха) — (узбекс.) — генеральский титул при Кокандском ханстве.

[2] Камча — плетка.

Текебай, собрав всех своих сторонников и взяв с собой подарки, поехал к Кабылбеку. Сторонники Кабылбека подумали, что Текебай ведет своих джигитов в бой, и приготовились к встрече противника. Остановившись у стана Кабылбека на расстоянии конного рывка, Текебай с Серкебаем отделились от джигитов. Кабылбек, решив, что они едут для переговоров о начале боя, двинулся навстречу. Тогда Текебай слез с коня и подошел к Кабылбеку.

— Мой щенок позавчера облаял тебя, Кабылбек! Я приехал просить у тебя прощения за него. Простишь ли ты?

Растроганный Кабылбек соскочил с коня и упал к ногам Текебая.

— О благородный Текебай, я перед тобой более виноват, чем твой сын передо мной. Ты старше меня, а я слушал тебя в седле. Простишь ли ты мне, аксакал[1], этот мой проступок, позорный для моего рода? Подарки оставь себе, возьми мой халат...

Он снял с себя халат, надел на Текебая и, обратившись к своим, громко сказал:

— На выборах голосуйте за Текебая. Я снимаю свое имя.

С тех пор враждующие роды стали дружными, и на последующих выборах родоначальники добровольно уступали должность бия друг другу. Против таких великодушных поступков были бессильны чиновники и толмачи. Чтобы не допустить вмешательства чиновников и толмачей во внутреннюю дипломатию рода, им давались взятки. Межродовые конфликты возникали часто, но за рамки Большого рода не выходили, и решение принималось внутри рода.

Впоследствии моему отцу неоднократно предлагалась должность волостного писаря, то есть личного секретаря волостного управителя, но, не желая быть зависимым, отец отказывался, хотя и выполнял отдельные просьбы: оформлял какую-либо бумажку в порядке любезности и одолжения.

Двадцати восьми лет он был избран старшиной и на семнадцатом году работы добровольно уступил эту должность своему сверстнику Ерешу. Никаких других постов отец не занимал, оставаясь неофициальным «консультантом» по всем аульным делам. Своими справедливыми решениями аульных вопросов он прославился как Тура Момыш, то есть прямой, справедливый.

---

[1] Аксакал — буквально: белая борода, старейший, почтеннейший.

Он не был скупым, не был мелочным, не был завистливым. Успех любого радовал его искренне. До конца своей жизни отец любил щедро угощать, делать подарки, устраивать тои, поминки. Он считал излишней заботой накапливать средства, без конца размножать скот. Помню, один раз мачеха меня упрекнула, что я допустил лишние траты. Я посмотрел вопросительно на отца.

«Деньги и существуют для того, чтобы их расходовать»,— ответил он нам.

Когда в наш аул на джайляу[1] приезжали узбеки на своих большеколесных арбах торговать урюком, яблоками, вся аульная детвора шумно кидалась им навстречу, и узбек дразнил нас, на ходу кидая несколько плодов. Те, что постарше, ловили их на лету, а малыши бросались на землю, стремясь первыми захватить яблоко. Тот, кому доставался помятый плод, бросался в сторону, остальные бежали за ним. Потом снова догоняли узбека, и снова начиналась свалка: каждому хотелось захватить яблоко. Около аула узбек останавливался и с блаженной улыбкой говорил:

— Ай, какой вкусный урюк! Ай, вкусный! Зовите, дети, своих родителей, пусть покупают. Дешево, дешево отдам...

Дети мчались к юртам и уговаривали родителей идти к узбеку. У многих не всегда бывали деньги. И вот тогда мой отец выстраивал взволнованных ребят и покупал им лакомства на деньги, полученные за свои искусные изделия. Узбек отвешивал по полфунту-фунту урюка, и дети по очереди получали его в подолы рубашонок. Женщины с грудными ребятами подходили и «ставили» своих малюток в строй. Те ничего не понимали, махали ручонками, плакали.

— Не плачь, не плачь, а то дед не купит тебе урюка,— уговаривали матери.

С базара отец возвращался с сумками, наполненными подарками для детворы, поэтому все дети в ауле звали его ласково дедом, а взрослые—Жаке. И сейчас еще один старик, вспоминая его, к ласковому имени Жаке добавляет жарыктык, что означает светлый.

В третью годовщину смерти деда отец устроил большой ас с призами для паездников, а также борцов и певцов, пригласив весь уезд. Так как подобные асы давно вышли из обычая казахов, мне придется объяснить, что такое ас.

---

[1] Джайляу — летнее пастбище.

У казахов существует закон, определяющий права и обязанности семьи, родственников и близких. Это не разновидность «усовершенствованного кодекса» о браке, семье и опеке. Нет, это веками сложившиеся традиции и обязанности, нормы поведения, основанные на человеческом достоинстве, морали и справедливости. Отец обязан вырастить детей и дать им хорошее воспитание, женить сына, выдать замуж дочерей и поровну разделить между ними енши, то есть долю из своего состояния, когда они станут самостоятельными, захотят отделиться и жить своей юртой. Отец должен охранять честь семьи и рода. За дурные поступки детей отвечает отец, плохо воспитавший их. Поэтому проклятия за плохих детей и благодарность за хороших—удел родителей. «Проклятие твоему отцу и матери!», «Благодарность твоему отцу и матери твоей!». Так выражают казахи свой гнев в одном случае и благодарность в другом. Отсюда — уважение к предкам рода.

Преемственность, наследование всех благородных черт считались обязательными. «Он потомок хороших людей, у него кость хорошая»,—говорят у нас. Вот почему в айтысах каждый старался показать светлую сторону своего предка. Быть достойным наследником—мечта казаха. Каждый казах свою семейную и родовую честь, как знамя, должен достойно пронести через жизнь.

Сыновья обязаны «беречь родных от плохого имени», то есть не делать ничего такого, что давало бы повод другим плохо говорить о них. Дети должны до конца жизни родителей относиться к ним с уважением, ни в коем случае не допускать грубостей и непочтительного обращения, уважать их старость, с почетом похоронить, поминать их во всех молитвах и устраивать асы — поминки. Если по какой-либо причине не устраивался ас, то это считалось невыполнением сыновнего долга и заслуживало порицания. «Отец и мать остались непомянутыми»— это рассматривалось как дурной поступок, неуважение к памяти родителей и осуждалось из поколения в поколение.

Ас полагалось устраивать щедро, не жалея для этого ничего. В его подготовке принимали участие вся семья, подрод.

Ас в честь старых, хорошо проживших свой век людей носил торжественный характер и справлялся как праздник в честь человека, ушедшего из жизни, исчерпав всю ее полноту, оставившего достойное наследие. Ас по молодым проводился в печали, как по ушедшим преждевременно из жизни.

Большие асы устраивались состоятельными людьми, и о них извещали близкие и дальние аулы за два-три месяца, приглашалась вся округа. О предстоящем асе глашатаи-жирши в стихотворной форме объявляли на базарах. Они с похвалой говорили о покойном и достойных его сыновьях, объявляли место и порядок проведения аса, призывали акынов и саяпкеров — наездников готовиться к выступлениям, обещали им большие призы. Все готовились к такому асу, приводили в порядок одежду, сбрую, коней, выхаживали и тренировали скакунов: ведь на таких асах встречались люди со всей округи.

Середняки и бедняки ограничивались ботхы, то есть кашей для небольшого круга людей своего аула. Их состояние не позволяло более широкого размаха.

Мой отец собрал всех старшин нашего рода на совет по устройству большого аса по деду. Старейшины уговаривали воздержаться от широкого размаха, так как у отца, однолошадника, руки-де коротки для подобного жеста. Отец не согласился и велел всем готовиться к большому асу. Поехал в город к ростовщикам, занял много денег, нанял поваров, купил сто пудов риса, двадцать баранов, десять лошадей. Это происходило ранней осенью. На ас были приглашены также узбеки, которые в течение трех дней усиленно торговали дынями, арбузами, виноградом.

На джайляу было поставлено пятьдесят юрт, и по традиции в радиусе десяти — пятнадцати километров аулы были обязаны принимать гостей на ночлег. Богатые приезжали со своими юртами и пригоняли с собой косяки кумысных кобылиц.

Вокруг аула, в степи, гарцевали всадники, а у юрт привязаны кони, хозяева которых сидели в юртах, слушая акынов за дастарханом и наслаждаясь кумысом.

Первый день был потрачен на сборы, второй — на развоз блюд, третий — на состязание борцов, джигитов и на байгу — скачки. Вечера заполнялись айтысами акынов. Всем отличившимся и занявшим первые места выдавались призы. Сырнайчи-киргизы целыми днями не слезали с коней, объезжая юрты, играя кюи в честь почетного и главного в той юрте, получая в подарок деньги, халат, коня.

Бабушка этот ас вспоминала с гордостью:

— Только мой Момыш-однолошадник мог поступить так, выполняя сыновний долг перед отцом.

...Позже, уже юношей, воспитанником советской школы, как-то я спросил отца:

— Как же ты, будучи однолошадным бедняком, смог устроить такой щедрый ас по дедушке? Бабушка об этом асе всем прожужжала уши.

Отец усмехнулся, погладил усы и бороду не без удовольствия, подумал немного, исподлобья посмотрел на меня и, снова усмехнувшись, сказал:

— Раз ты мне задаешь такой вопрос—значит, ты созреваешь сынок... Зрелому, как говорится, зрелый ответ. Я тебе скажу прямо, без всяких обиняков. Ты, наверное, знаешь, почему в народе говорится: «Сырты қампиған — іші қуыс»—«внешне сыт, а внутри пусто». Я не был таким бедняком. У нас было всегда внешне худо, а внутри жирно... Я имел немного денег — резерв нашей семьи. Их не хватило бы на ас деда твоего, и я поехал в Аулие-Ату к ростовщикам (тогда среди узбекских и бухарских евреев было премножество ростовщиков) и взял у них денег на три месяца под поручительство одного богатого узбека. У нас тогда по всем ветвям было около восьмидесяти родственников. Я рассчитал: пусть каждый родственник, по нашему тогдашнему обычаю, приведет хоть по одной лошадке — восемьдесят лошадей... Тогда русские ввели Земельный банк, который давал ссуды под земельные угодья. Я пошел туда и по поручительству влиятельного русского человека заложил всю нашу землю и получил большую ссуду. Таким образом я обзавелся большими деньгами... Устроил ас по своему отцу. Бабушка об этом и поныне не знает.

— А потом как вы рассчитались?— прервал я отца.

— А потом было очень просто рассчитаться с ростовщиками и с Земельным банком... Наши родственники привели не восемьдесят, а сто двадцать лошадей; коровы, телята и бараны не в счет. Ас прошел торжественно и достойно... Я все сборы продал на следующем же базаре и рассчитался и с ростовщиками и с Земельным банком.— Тут отец расхохотался и сказал:— С тех пор слыву в округе надежным плательщиком как перед ростовщиками, так и перед Земельным банком.— Отец снова погладил свою бороду, помрачнел и, с грустью посмотрев мне в глаза, строго предупредил:— Но ты никогда, сынок, не должен подражать мне. Долг — это кабала. Я, пытаясь сохранить чувство чести, чуть было не обесчестился...

Я отвлекся взрослыми разговорами, давайте-ка лучше вернемся к моим детским годам.

Помню: солнце заливает вершины гор, ласкающих глаз мягким блеском, нежным, бархатистым. «Там солнце... Там светло...»,— лепечу я, еще не успев после крепкого сна разомкнуть слипшиеся ресницы и дрожа от утренней прохлады.

Внизу — аул. Чабаны гонят по склону гор отары. И юрты и отары сливаются с рассыпанными вокруг валунами. Гора своей тенью закрывает долину, и, пока солнце не поднимется над горизонтом, огромная тень будет двигаться навстречу все ближе к ее подножию.

Бабушка, выйдя из юрты, берет меня за руку: «Пошли кумыс пить, коль ты рано встал». Я упираюсь босыми ножонками о камень, хочу вырвать руки...

— Ты что упираешься? Ну хорошо, я сама все выпью!

Покинутый бабушкой, я с плачем бросаюсь следом за ней...

Детство... Детство! Далекое и смутное, наивное и чистое, заря жизни моей...

Люди мне казались добрыми и чистыми, правдивыми и любящими, преданными друг другу. В бороде мужчины я видел нечто достойное уважения. В юношеском задоре джигитов и в шелесте девичьих платьев видел торжественную красоту жизни. Мне казалось — они все любят меня и созданы для того, чтобы забавлять шаловливых детей.

Громады величавых утесов, бескрайний простор степей, прозрачная синева неба, мерцающие звезды, круглый диск луны, пышный ковер растений — все, казалось, смотрит на меня с доброй, ласкающей улыбкой. Все добры и красивы, как красивы были для меня моя старенькая бабушка и молодые сестры.

Только хмурые тучи напоминали мне деловитость отца, а гром казался гневом бабушки на своих взрослых детей, и я испуганно затихал... Дождь, казалось, был похож на слезы обиженного ребенка, и мне становилось жаль его, и я страдал... Табуны игривых кобылиц, несущиеся по полю жеребята звали погнаться за ними. В ясные дни дымчатые барашки облаков манили меня, хотелось долететь до них и играть меж облаками в прятки со сверстниками... Куда только ни уносило меня детское воображение... Мне и сейчас иногда хочется вернуться в этот далекий детский мир...

Мы всегда почему-то в своих воспоминаниях ищем какую-то систему, хотим придать им какой-то смысл. Это возможно для более зрелого периода, но напрасно искать стройность и последовательность в наших первоначальных

ощущениях. Мне думается, что бессюжетная биография каждого из нас тем и интересна, что она доносит до нас с точностью все восприятия и впечатления ребенка. Поэтому мне хочется рассказать о своих детских впечатлениях в той первородной чистоте, которую мы все вспоминаем.

...Вот моя сестра Убианна идет от большой юрты к очагу. Я увидел ее, с радостью бросаюсь навстречу. Она, на лету схватив меня, подымает над головой. Я хохочу... Потом она через широкий разрез ворота рубахи прячет меня за пазуху, и так несет дальше, словно кенгуру своего детеныша. Из рубахи торчит моя голова. Мне тепло на ее груди...

Однажды другая сестра — Алиманна, играя со мной, соорудила из домашней утвари и вещей круглый забор в полметра высотой, обманом загнала меня туда и, заперев «ворота» отцовским седлом, ушла играть со своими подружками. В этой «одиночной камере» я с неистовым ревом провел около часа. Оттуда меня высвободила тетка. «Ой, какая нехорошая девочка Алиманна!»— приговаривала она, укачивая меня на руках. С тех пор я меньше любил младшую сестру...

Помню... Дядя, младший брат моего отца, держит меня на ладони правой руки посредине большой юрты. Я стою на его ладони, не сгибая колен, и ужас наполняет мое сердце. Дядя приговаривает: «Каз! Каз!» — и ловко оберегает меня от падения...

Это он же посадил как-то меня в лисий тымак[1], оставшийся от моего деда, и, завязав тесемки тымака, повесил меня в нем высоко на выступе стены юрты. Потом сам уселся на кошме и долго забавлялся, задавая мне вопросы: «Ну, как, птенец? Когда вылетишь? Когда вылетишь?». Когда же я начинал хныкать, он пугал меня, что сейчас придет дивана[2]... После этого я избегал дядю...

Как-то отец приехал с базара. Старшая сестра вынесла меня навстречу к нему. Отец приспособил коржун[3] на седле и посадил меня на коня. Я вцепился в переднюю луку седла. Отец повел коня в поводу. Расстояние до юрты было не более тридцати метров, но я несколько раз переваливался то в одну, то в другую сторону и скатывался в кор-

---

[1] Тымак — шапка.
[2] Дивана — нищенствующий странник.
[3] Коржун — переметная сума.

жуп. Отец, смеясь, вытаскивал меня оттуда и снова сажал на седло. Сестра шла рядом и приговаривала: «Не бойся, не бойся! Крепче держись!» Это был мой первый урок верховой езды.

Вспоминается еще... В юрте на кошме сидят несколько бородатых людей и пьют кумыс. Отец — на краю кошмы, он знаком подзывает меня и шепчет на ухо: «Ты что же, приветствовал ата[1], как я тебя учил?» Пристыженный, я выбегаю из юрты. Немного постояв, я с важным видом снова вхожу и, поклонившись, произношу членораздельно: «Ассалям-алейкум, аталар». Разумеется, все смеются и, чтобы меня не обидеть, хором отвечают: «Алейкум салям!» Потом начинают хвалить меня и называют хорошим мальчиком. Довольный похвалами, я подсаживаюсь к отцу. Он гладит меня по голове: «Молодец, мой мальчик! Когда входишь в юрту, где сидят старшие, всегда поступай как положено!»

Отец меня учил нашей родословной.

— Чей ты сын?— спрашивал он меня.

— Я сын Момыша,— отвечал я.

— Момыш чей сын?

— Момыш — сын Имаша.

И так до седьмого колена...

Приезжавшие гости всегда считали своим долгом интересоваться моими познаниями и спрашивали мое имя, а затем имена всех прародителей до седьмого колена.

Как-то во время поездки по Кавказу третьи сутки мы ночевали под открытым небом. Часто я лежал с открытыми глазами, мысленно путешествуя по своей биографии. На многих перевалах жизни я не задержался, меня постоянно влекли детство и военные годы. Мне хотелось, пока все спят, вскочить и записать все, что вставало в памяти. Но где же взять свет? Мне оставалось смотреть на небо. Звезды мигали, сочувствуя моей беспомощности. Где-то в лесу перекликались совы, словно сторожа, охраняющие ночной покой. Чистое-чистое небо... Полная, будто в широкой улыбке, луна. Еле слышен легкий шелест деревьев... Холмистый горизонт. Нет, это не холмы, это загон пушистых верблюдов, горбы которых мягко переливались на фоне ночного неба, возвышаясь один над другим... Это не Алатау с торчащими пиками — скалами, нет, это были именно гигантские верблюжьи горбы. Тогда я вспомнил...

---

[1] Ата — дедушка.

Мне было пять, а может быть, шесть лет. Я проснулся ночью и неслышно соскользнул с бабушкиной постели. Я хотел пойти к отцу, юрта которого находилась неподалеку. В загоне, вытянув шеи, вплотную спали верблюды. Пробираясь среди них, я прислонился к пушистому верблюжонку и долго смотрел в звездное небо. Луна, мне казалось, улыбалась. Верблюжьи горбы, как горные хребты, возвышались на фоне неба, волнистой линией перекрывали друг друга. Было так тихо, что я слышал легкое дыхание верблюжат. Я забыл, что шел в юрту к отцу, и стоял, как зачарованный. Утром меня нашли спящим между двумя пушистыми верблюжатами. Отец посмеялся, а бабушка рассердилась и с тех пор стала запирать дверь в юрте...

Я никогда не думал, что может повториться эта ночь на войне. Но тогда было точно так же. Я себя чувствовал среди горбатых гор и лунной ночи таким же маленьким, как в те годы.

...Итак, мне исполнилось пять лет. Наш аул давно уж откочевал с горных летовок, что находились у подножия Алатау, по ущельям Аксай и Коксай спустился вниз, на сочные равнины Мынбулака — «тысячи родников».

Стояла ранняя теплая осень. Проходили будничные дни кочевок нашего аула. Скот пасся, взрослые занимались своими делами, мы, дети, играли в тиши родного аула. Я подрастал, заканчивался мой аульно-степной «детский сад».

Когда я перебираю в памяти имена своих учителей, постоянно встают передо мной образы моих родителей...

Никто из моих более поздних наставников не учил меня тому, чему научили бабушка, отец и старейшие из наших сородичей. Нет, я не преувеличиваю. Впервые я услышал от бабушки легенды о сотворении мира, о человеке, о жизни, суждения о долге и благородстве, о том, что хорошо и что плохо, что следует делать и чего следует избегать, кого следует любить и кто достоин презрения. Первый свод законов суда совести, морали и нравов преподали мне они. Правда, как и все дети, я не понимал сути бабушкиных сказок и легенд, отцовских рассказов и поучений старших. Меня тогда увлекал лишь их внешне приключенческий характер. Сейчас мне ясно, что я от них познавал законы человеческого поведения.

Преподаватели меня учили, как произносятся звуки,

как из букв образуются слоги, а потом слова. Учили водить пером по бумаге, решать задачи. Но сама жизнь, люди, с которыми мне пришлось сталкиваться за короткий период моей жизни в сложной, непостоянной, меняющейся обстановке, кидавшей меня из тишины в гущу людскую, с одной волны нашего времени на другую, из одного русла жизни в другое,—тоже были моими учителями. Они расшифровывали мне бабушкины «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо»...

Бабушкино «так было» меня отбрасывало далеко назад, на много веков, и это же бабушкино «было» много раз пыталось бросать меня вперед...

Вот сегодня, когда я сам стал отцом, и дети начинают задавать мне наивные, простые, но глубоко содержательные вопросы, а время и расстояние не всегда позволяют ответить им, я искренне жалею, что у них нет такой бабушки.

Все дети на вопрос, сколько им лет, не без гордости отвечают: исполнилось столько-то. В наше время по календарю ежегодно отмечают дату рождения, а тогда, в дни моего детства, у нас отмечался не год рождения, а своеобразная «веха». Первая «веха» младенца считалась по истечении сорока дней, следующая —«пошел седьмой год», что означало: ребенок окончательно стал на ноги. Недаром у нас говорят: «До семи лет землей будет бит»,— то есть дитя до семи лет ползает, падает. Настоящая «веха» исполнялась, когда мальчику шел тринадцатый год — год зрелости, то есть когда его переставали водить за руку, или, как казахи говорят, он «овладел собственными поводьями». И, наконец,— «двадцатипятилетний джигит».

Отец меня учил названиям дней, месяцев и годов по двенадцатицикловому летоисчислению. «Год мыши, коровы, барса, зайца, улу (улитки), змеи, лошади, барана, обезьяны, курицы, собаки, кабана»...— заучивал я. Но отец не разъяснял мне, что это означает.

Однажды, с разрешения отца, я решил похвастаться своими скудными знаниями и стремглав побежал в бабушкину юрту...

В юрте, как я помню, веял тихий ветерок. Бабушка сидела с двумя прутьями и разбивала шерсть такими ритмичными ударами, точно отбивала какую-то мелодию. Двое моих сестер и племянница помогали бабушке. Одна носила шерсть, другая ее раскладывала, третья крутила веретено... Я, одержимый своими познаниями, вбежал в юрту, нетерпеливо закричал: «Бабушка, бабушка, постой!

Я расскажу, что я выучил...» — «Подожди, внучек, я кончу, потом расскажешь», — как всегда, спокойно остановила она меня. Я сел и начал ворошить шерсть, но младшая сестра вырвала ее у меня из рук. Я разозлился на сестру и назвал ее обезьяной. Она обиделась и отшлепала меня:

— Почему я обезьяна?!

— Потому, что ты в обезьяний год родилась...

— А ты кабан, потому что в кабаний год родился! — показала она мне язык.

Я обиделся и полез драться.

Бабушка разняла нас смеясь.

— А когда Курманкуль родилась?

— В год курицы, — ответила бабушка.

Курманкуль была худенькой, косички торчали у нее во все стороны. Мы сразу стали дразнить ее «общипанной курицей». Курманкуль начала хныкать. Тогда бабушка усадила нас, дала по горячей лепешке и начала с достоинством:

— Когда аллах сотворил мир, солнце, луну, день и ночь, он так устал, что позабыл дать название дням, неделям, месяцам и годам. Все живое на земле существовало, не зная ни счета, ни времени, и все до того запутались, что не знали, кто старший, кто младший: возраст определяли не по годам, а по росту, не знали, когда быть осени, зиме, весне и лету. Бараны и верблюды ходили нестриженные и забывали линять, а люди их стричь. Аллах смотрел, смотрел на этот беспорядок и решил научить людей уму-разуму: счету времени, научить дорожить временем, а не жить беззаботно, как дети, а для этого разделить месяцы на недели и дать счет дням, а год — на двенадцать месяцев, чтобы все знали, когда что делать: когда молодняк кормить молоком, когда надо стричь баранов, когда гнать скот на летовку. И назвал аллах месяцы по времени года. Луне велел помогать вести счет, закрывая и открывая свое лицо, а звездам — предсказывать погоду.

Так жили люди много лет. И снова началась путаница... Каждый год похож на следующий, весна — на весну, зима — на зиму. И жили люди, не имея прошлого и не заглядывая в будущее.

Тогда аллах собрал всех зверей и сказал им, что устанавливает он счет по двенадцати лет, а для того, чтобы все помнили и не забывали годов, он хочет назвать их именами звериного мира. Пусть звери выйдут в степь завтра на рассвете и смотрят на восток. Когда первый луч ляжет на горизонт, появится белое облачко пара и застелет

светлым покрывалом землю, это будет Новый год. Кто первым его увидит, именем того назовется первый год, и отсюда пойдет летоисчисление. Кто увидит вторым — второму году подарит свое имя. Итак, двенадцать животных, увидевших первыми год, удостоятся этой чести.

Звери побежали в степь и, конечно, начали хвастаться и спорить, каждому хотелось быть первым. Одни кичились зоркостью глаз, другие — быстротой ног, которые домчат их раньше всех к новогоднему облаку, третьи... Но верблюд, пожевывая жвачку, надменно посмотрел на всех, кто мельтешил у его ног, и улегся... «Напрасно спорите, мне и бегать не надо и вставать не надо. Моя шея такая длинная, что мне стоит поднять голову вот так, и я буду выше всех и увижу первым Новый год аллаха». Он с пренебрежением вытянул голову и стал подбирать на земле колючки.

Бедный маленький мышонок, сознавая свое ничтожество, волновался и метался больше всех, спрашивал у каждого: «Что же мне делать? Что же мне делать?» Он даже осмелился спросить у верблюда, но тот только фыркнул и сплюнул в его сторону жвачку: «Убирайся подальше, мелочь, ты даже ниже травы! Здесь немало более достойных...» И он лениво прикрыл тяжелыми веками глаза...

Ночь, успокаивая всех, покрыла землю темной шалью. Потом засветились звезды, в степи стало так тихо, что даже ветер приумолк, и только изредка повизгивал шакал... Звери широко раскрытыми глазами смотрели на восток.

Вот еле заметно стало розоветь небо. Звери заволновались, начали вытягивать шеи; лиса, взмахнув пушистым хвостом, забегала из стороны в сторону...

— Я успею еще...— зевнул верблюд.

И тогда вдруг над его головой раздался тоненький писк:

— Я вижу... Я вижу, вот облако начало подыматься...

Это мышь, взобравшаяся на голову верблюда, первой увидела Новый год.

— Где ты пищишь, мерзкое создание?— обернулся верблюд, забыв о словах аллаха...

— Я на твоей макушке, отсюда все видно лучше и дальше, и я первая!..— радостно крикнула мышь, но верблюд тряхнул головой, и мышь с криком «я первая» скатилась на землю.

Вот почему первый год назван годом мыши, и в народе говорят: «Не уподобляйся верблюду, который, надеясь на

свою длинную шею, остался ни с чем. Многие звери удостоились чести, а года верблюда нет и поныне...»

Бабушка рассмеялась и сказала:

— Никогда не мните себя высокими, чтобы мышь не оказалась умнее вас, дети мои...

В это время через верхнее отверстие юрты влетела ласточка. Запищали птенцы, высовывая желтые ротики из гнезда, что так ловко прикрепилось к кругу шанрака[1]. Мы все невольно посмотрели вверх. Ласточка примостилась на краю своего гнездышка, и первый птенец был накормлен, а мать снова улетела за добычей. Вот видно, как она взвилась вверх, вот маленькой точкой носится она в голубизне неба, вписанного в отверстие шанрака, и снова стремительно кидается вниз — и следующий крикун получает зеленого жука. Усталая ласточка садится на край гнезда и чистит перышки...

— Фью-ю!— свистнул я и, схватив длинный прут, которым бабушка только что била шерсть, подпрыгнул, спугивая ласточку.

— Эге-ге! Какой ты нехороший мальчик! Ой, какой нехороший!—удержала меня за руку бабушка.—Зачем пугаешь ласточку? Разве ты не знаешь, что она — друг человека? Она — желанный гость у меня в юрте, пока птенчики не окрепнут... Моего гостя обижать — это значит меня обижать.

Девочки посмеивались, глядя на меня.

Тогда бабушка притянула меня к себе:

— Ну успокойся, светик мой... Сядь на колени ко мне, и я расскажу тебе, почему у ласточки хвост рассечен и почему у комара нет языка.

Слушать бабушку было для нас наслаждением.

— Однажды великому падишаху Сулейману[2],— начала свой рассказ бабушка,—который был мудрее всех султанов в мире и справедливо царствовал над живущими на земле и в воде, понимал язык всех зверей, птиц, рыб, животных и насекомых, змея оказала неоценимую услугу: она, разбрызгав свой яд, преградила путь врагу.

Желая вознаградить змею, падишах Сулейман спросил ее:

— Что хочешь ты за свою помощь?

— О великий Сулейман,— отвечала змея, свернувшись в три кольца и высоко подняв голову,— позволь мне и мо-

---

[1] Шанрак — купол юрты.

[2] Сулейман — царь Соломон.

им потомкам пить самую сладкую кровь у живущего на земле...

Сулейман задумался, но сказал:

— Так и быть. Но назови мне, чья кровь слаще всего.

— О великий государь,— жалобно ответила змея,— откуда мне это знать. Такой меня создал бог. Тело мое холодное, и все с отвращением прикасаются ко мне. Никто не хочет меня приласкать. Я без крыльев, без ног и никого не могу догнать. Даже луч солнца бежит, отскакивает от моей кожи, и я долго-долго должна лежать на песке, чтобы согреться. Кому даны ноги — убегают от меня, кому даны крылья — вьются со смехом надо мной. Откуда мне знать, чья кровь слаще? Даже мою слюну аллах сделал ядом для всего живого!

Долго думал справедливый Сулейман. Ведь нелегко было мудрому и доброму царю обречь кого-нибудь на мучительную смерть, но слову данному изменить он не мог. Тогда созвал он всех насекомых, у которых было длинное жало, и повелел разлететься на все четыре стороны, дабы испробовать, чья кровь слаще.

Полетели гонцы во все четыре стороны выполнять приказ Сулеймана. Шли дни. Носились по миру гонцы. Весь живой мир был полон волнения: кому же выпадет несчастье гибнуть от змеиного жала?

Вот однажды ласточка, которая раньше всех с тревожным чириканьем вылетала каждое утро навстречу посланцам, увидела усталого комара. Он первый возвращался с ответом. Ласточка понеслась к нему навстречу.

— Здравствуй, комар... Мир тебе! Благополучно ли совершил путь? Что нового в великом царстве Сулеймана, которому подвластны земли, моря, горы и долины?

Комар вежливо ответил на приветствие ласточки, но извинился: ему некогда было подробно рассказывать, он четверо суток летит не отдыхая и спешит дать царю ответ.

— Тогда я буду сопровождать тебя, и ты сможешь по дороге рассказывать.

Ласточка полетела рядом с комаром, и он рассказал, как выполнял поручение Сулеймана.

— Чья же кровь оказалась самой сладкой? Я сгораю от любопытства!— воскликнула ласточка...

— Че-ло-ве-че-ская!— с важностью прожужжал комар.

— Нет... нет... ты неправду говоришь!— заволновалась ласточка.

— Клянусь! Пусть бог обрушит на меня небосвод! До сих пор вкус ее у меня на языке...
— Покажи язык!

Глупый комар высунул язык, а ласточка молниеносно клюнула и вырвала язык комара.

— Не смей лгать, гадкое существо!— чирикнула ласточка и понеслась навстречу другим гонцам... И каждый давал тот же ответ, что и комар. И с осой, слепнем, мухой ласточка поступила так же, борясь за жизнь человека...

Когда все гонцы собрались во дворе, вышел великий Сулейман, сел на трон и обратился к комару:

— Ну скажи, чья кровь слаще?

Комар попробовал ответить, но только жалкое «вззз» раздалось в ответ на вопрос царя.

— Ты что, пьян? Языка у тебя нет, что ли? Говори толком!

Но снова только «вззз» получилось у безъязыкого комара.

Сулейман обратился к осе, мухе и другим гонцам, но только «д-з-з-з», «ж-ж-ж-ж-ж», «ж-ж-ж-ж-у-у-у-у» были ответом.

— Что с ними случилось? Кто-нибудь понял, что они говорят?— спросил рассерженный Сулейман.

Тогда ласточка вылетела вперед, поцеловала землю у ног Сулеймана и сказала:

—Я все поняла. Они все в один голос утверждают, что самая сладкая кровь — это кровь лягушки, мой государь.

Великий Сулейман поднялся с трона и сказал:

— Быть сему!

Змея, что лежала у подножия царского трона, взбешенная, захлебываясь собственным ядом, взвилась.

— Она лжет! Это ложь-жь!— шипела змея.

— Быть сему,— повторил Сулейман.— Решение царское не отменяется.

Тогда змея в злобе кинулась на ласточку, но та успела вспорхнуть, и только хвост ее змея рассекла своим жалом.

Вот почему у ласточки хвост рассечен надвое. А комары, мухи, осы и мошкара до сего дня не могут забыть сладости человеческой крови, и только забудется человек, заснет, они тут как тут и жалят немилосердно...— рассмеялась бабушка и щелкнула меня по носу.— Понял, малыш?

С тех пор каждое утро, просыпаясь под чириканье ласточки, я с нежностью следил, как она ныряла сквозь отверстие юрты в синеву утреннего неба.

Еще одна легенда, рассказанная бабушкой, вспоминается мне. Но о ней потом...

Мой дядя Момынкул был у бабушки самым младшим из всех ее детей. Он был высокого роста, атлетического телосложения, с черными глазами, коротким, тупым носом, и немного отвисшей толстой нижней губой. Цвет кожи у него был светлый.

Бабушке не нравились его тупой нос и толстые губы. «Ничего не поделаешь, хотел быть похожим на меня, но не вышло»,— говорила она. Все же как младший, он был баловнем и любимым ее сыном. Бабушка прощала ему дерзкие выходки и непослушание, часто грозилась наказать его, но Момынкул, спрятавшись в другой юрте, выжидал, пока бабушкин гнев остынет. Бабушка ни к кому не была так забывчива в своих обещаниях «наказать», как к нему. Услыхав о каких-нибудь выходках Момынкула,— а он их позволял себе часто,— бабушка только качала головой.

— Ах, тентек! Тентек![1] В кого только он пошел?— вопрошала она. — Отец был тихий... Наверно, в моих братьев, в брата моего Серкебая. Такой же он непоседа и вихрастый...

В юности мой дядя действительно был неуравновешенным, вздорным и неусидчивым. Если он шел, то руки его болтались во все стороны от стремительной ходьбы; если садился на коня, то несся как угорелый, напролом, не считаясь ни с какими препятствиями. На коня садился прыжком и соскакивал с него на ходу.

Помню, однажды, когда солнце своим диском задевало вершины западных гор — Кулана, окрашивая оранжевым заревом Чокпан, Жабаглы и Буралдаи[2], а на севере зубчатые вершины Алатау отражали в своих снегах последние лучи, равнины нашего джайляу постепенно покрывались тихой тенью. Розовато-синяя, она неторопливо окрашивала все вокруг в лилово-синий цвет вечера. Прохлада охватывала землю. Аул, оживленный пригоном скота с пастбища, завершал свой трудовой день. Женщины заканчивали дойку овец и коров, привязывали барашков к кугенам[3], телят к колышкам. Мужчины доили кобылиц. Кони в табу-

[1] Тентек — баловник.

[2] Кулан, Чокпан, Жабаглы, Буралдаи — названия гор.

[3] Кугены — привязи для ягнят.

не еще пощипывали траву. В этот вечер долго не могли изловить одного с диким норовом кашагана[1] из табуна нашего аула. Кашаган так стремительно носился по степи, что скакавший на добром коне джигит напрасно старался накинуть ему на шею аркан. Весь аул собрался смотреть на эту гонку, каждый переживал по-своему.

— Вот-вот, еще немножко!— кричал один болельщик почти догнавшему кашагана ловцу.

— Так-так... Накинь скорей!— советовал другой.

— Вот дьявол, опять улизнул!— огорчался третий.

Одни хвалили, другие корили всадника.

— Ему только корову догонять!

— Езжай сам да попробуй такого дикаря изловить!

Дядя вскочил на неоседланного коня и помчался наперерез скакавшему кашагану.

—Вот еще, что же он без аркана сделает?! Напрасно коня измучает...

Момынкул поравнялся с крупом кашагана, схватил его за хвост и слетел со своего коня на землю. Раздались испуганные возгласы зрителей. Все думали, что он упал. Но нет, Момынкул уже бежал, не выпуская хвоста кашагана из рук и оттягивая круп лошади в сторону, так что конь никак не мог ударить дядю задними ногами. Невольно кашаган замедлил бег, и Момынкул, воспользовавшись этим, ловко вскочил на коня и, ухватившись за гриву, долго носился по степи, пока дикарь не подчинился его воле. Аул с восторгом наблюдал это.

— Вот так джигит! Он самого черта обуздает...

— Ай да молодец!

— Ловко вышло!

— Словно клещами вцепился в него!..

Мой дядя любил слушать похвалы своей смелости и готов был пойти для этого в огонь и в воду. Он был очень силен и свободно поднимал любую тяжесть. Самый тяжелый груз во время откочевок выпадал всегда на его долю. Любитель борьбы, он был также лучшим бегуном в ауле, но никогда ничего не доводил до конца. Он заслужил прозвища: Ловкий, Алап-гасар каракуш, то есть Опрометчивая черная сила, Таубузар—Разрушитель гор, то есть такой самонадеянный, что горы может пойти рушить. Короче говоря, он был степным спортсменом, безрассудным акробатом как на земле, так и на коне, и его лихость часто приносила ему серьезные неприятности. Я не помню ни одного года, что-

---

[1] Кашаган — неуловимый конь.

бы он с кокпара[1] возвращался невредимым. Однажды его привезли с вывихнутой ключицей, в другой раз — с переломом ноги, в третий — без сознания. Но, выздоровев, он все забывал, как забывают женщины родовые муки.

Бабушка, когда Момынкул, лежа на постели, стонал, упрекала его:

— Ой, ты меня загонишь раньше времени в могилу! Из-за тебя согнулась моя спина! Какой злой дух несет твою душу?

Потом она тоже забывала обо всем и говорила заботливо, ласково:

— Тебе больно? Дать тебе пить? Может, у тебя подушка жесткая?

Несчастные случаи с младшим сыном дорого обходились бабушке, она проводила у изголовья Момынкула бессонные ночи и забывала о нас, внучатах. Поэтому мы с детства ревновали ее к дяде и не очень любили его, боялись лишиться бабушкиной ласки.

Отец мой, чтобы остепенить неудержимого юношу, посадил его за чтение, но за книгой дядя не смог усидеть, и для разнообразия отец начал обучать его ювелирному делу. В домашней обстановке ученье не шло успешно, и было решено отправить дядю в «школу»—в аул к бабушкиным братьям, под покровительство деспотического Серкебая.

Я помню приезд Серкебая в наш аул, ему шел тогда шестой десяток. Его приезд был событием для аула. Вдалеке на горизонте показались четыре всадника. Это ехал Серкебай с тремя сопровождавшими его джигитами. Серкебай ехал мелкой иноходью на добром коне, а сзади джигиты тряслись мелкой рысью.

— Серкебай едет! Серкебай едет!—раздались возгласы, когда он был еще далеко.

Бабушка засуетилась, начала приводить в порядок юрту: стелить кошмы, стеганые одеяла, раскладывать подушки, готовясь принимать гостей.

Отец и дядя вышли из юрты и стали в почтительных позах, издали давая знать Серкебаю, что они ожидают его. Увидев их, Серкебай принял надменную позу и убавил шаг своего коня. Джигиты последовали его примеру. Когда Серкебай подъехал на двадцать — тридцать шагов, по знаку отца дядя бросился вперед и почтительно приветствовал гостя традиционным «Салям алейкум!», потом

---

[1] Кокпар — национальная конно-спортивная игра.

взялся левой рукой за повод коня, а правой за путалище стремени.

— Алейкум салям! — ответил Серкебай, остановившись и перекинув правую ногу через круп коня. Пока ноги всадника не коснулись земли, дядя почтительно поддерживал его под руку. Разминаясь, Серкебай широко расставлял ноги, потом подошел к отцу и по-казахски, двумя руками, поздоровался с ним. Джигиты тоже слезли с коней. Отец сделал знак аульным юношам и сказал:

— Возьмите коней у кунаков![1]

Серкебай, рассердившись, взмахом плетки в сторону остановил юношей, что бросились к коням.

— Вы сумейте меня с почетом принять, а не моих рабов!

Джигиты, видимо, привыкшие к столь нетерпимому характеру Серкебая, смущенно и растерянно улыбались.

— Чего зубы скалите? Занимайтесь своим делом! — продолжал бушевать Серкебай. — В другом ауле я сам потребую почета не только к вам, но и к своим собакам, а в ауле родной сестры вы будете служить мне, как дома.

Увидев, какой свирепый вид у гостя, мы, перепуганные, спрятались и смотрели исподлобья.

Отец пригласил всех в юрту. Серкебай вошел первым. Бабушка обняла его, бормоча ласковые слова. Джигиты внесли в юрту тяжелые коржуны. Серкебай сел на почетном месте и, обращаясь к бабушке, уважительно спросил:

— Вы в добром настроении, старшая моя сестра?

— Слава богу, светик мой, слава богу, — отвечала бабушка.

Дальше пошли обычные в таких случаях расспросы о благополучии пути, скота и семейства. Были развязаны коржуны и оттуда вынуты подарки: чай, сахар, кишмиш, урюк и отрез материала на платье бабушке.

Серкебай одет был богато и щеголевато: входя в юрту, он снял сусликовую шапку, на свежевыбритой синей голове осталась расшитая бархатная тюбетейка; на бешмете блестел серебряный пояс; в руке — роскошно отделанная серебром камча. Длинный прямой нос, прищуренный глаз делали его худощавое лицо хмурым; подстриженные усы свешивались концами по углам рта; борода длинная, но редкая. Говорил он резко, повелительно, нервными, острыми жестами тыча в сторону собеседника плеткой или указательным пальцем. Мне казалось, что он не терпит

---

[1] Кунак — гость.

возражений и все ему покорны, поэтому я не осмелился вести себя свободно, да к тому же на нас, малышей, он не обратил никакого внимания, как будто мы и не существовали.

За вечер Серкебай несколько раз кричал на моего дядю и на своих джигитов, делал гневные замечания: все было не по нему.

Так как мне не довелось лично видеть ханов и султанов, для меня Серкебай воплощал черты средневекового феодала.

Как положено, был забит баран. Бабушка насыпала нам в ладони сахару, кишмиша. Мы любовались конями. Сбруя на них была с серебряной чеканкой.

Когда Серкебай увозил дядю из нашего аула, тот боязливо оглядывался на бабушку, как бы прощаясь навсегда, и медлил с посадкой на коня. Рассерженный Серкебай, уже сидя в седле, раза три беспощадно стегнул дядю плеткой, приговаривая:

— Скоро ли ты распростишься? Я выбью из тебя дурь. Как приедем в аул, я тебе обе ноги в один сапог затолкаю![1].— И, злобно посмотрев на бабушку, процедил сквозь зубы:— Только кости получишь обратно, акпе![2]

Дядя жалобно посмотрел в последний раз на бабушку, а бабушка растерянно прошептала:

— Знай сам, милый, твоя воля, но это же твоя родная кость...

Серкебай, надменно попрощавшись, тронул коня.

За ним, как пленник, поплелся дядя. Никакого следа не осталось от его былой лихости....

Бабушка долго смотрела им вслед и, вытирая слезы концом платка, повторяла:

— Да счастлив будет твой путь, светик мой!

Не прошло и месяца, как бабушка затосковала о сыне, а через три месяца, не выдержав разлуки, поехала его навестить. Прожила она там около недели, вернулась и, ахая и охая, рассказывала моему отцу:

— Бедный мой мальчик так похудел, так осунулся! Серкебай держит его, как в тюрьме. С утра до вечера заставляет читать. Мальчик скоро совсем зачахнет.

По рассказам бабушки, Серкебай был неумолимо строг. Дядя жил в его доме по расписанному твердому

---

[1] «Я тебе обе ноги в один сапог затолкаю!»— казахская поговорка, аналогичная русской: «Я тебе покажу, где раки зимуют», или «наломаю бока».

[2] Акпе — старшая сестра.

распорядку. Конечно, Серкебай не заставил его ходить в одном сапоге, как я себе представлял это буквально.

Он одел дядю в длинный халат, а вместо шапки заставил носить чалму.

— Вхожу я в юрту,— рассказывала нам бабушка,— вижу: в углу на корточках в белой чалме сидит бледный молодой мулла и читает Коран. Вгляделась я: мой младший! Даже глазам не поверила....

В другой раз на просьбу бабушки отпустить сына в аул погостить Серкебай ответил:

— Верну тебе его человеком, а если человека из него не выйдет, оставлю его у себя рабом и приставлю к моим охотничьим собакам, пусть за ними ухаживает.

Сколько ни просила бабушка, Серкебай был неумолим. Дядя вернулся от него только через два года, в чалме, длинном халате, с маленькими пробивавшимися усиками, что вызвало смех в нашем ауле.

Уже на второй день после приезда дядя сбросил чалму и, натянув лисью шапку, стал таким, каким был. И с тех пор он был записан вторым грамотеем в нашем ауле.

В грустные минуты бабушка снова рассказывала нам легенды. Она, видно, забывала свое горе, когда рассказывала, потому начинала: «Послушайте, дети... Было это после создания мира, но еще Аллах не покарал людей страшным потопом и не стер с лица земли их города и аулы... Люди тогда не знали слова «благодарность», они пользовались солнечным теплом, прохладой ветра, сиянием луны, дарами земли и ничего не называли ласковым словом... Тогда усталое Солнце с жалобой обратилось к Аллаху:

— О великий создатель, без покоя, отдыха и без сна я всхожу, своим светом все уголки мира освещаю, своим теплом все живое согреваю, растения и землю оживляю. Подымаясь на восходе, я извлекаю мир из тьмы и всех делаю зрячими, своим сиянием я приношу радость всему живому и тленному, замерзшим в холодную ночь дарю тепло, промокших от дождя просушивают мои лучи, и все, все твои твари, согретые мной, расправляют спины, протягивают руки ко мне, чашечки цветов раскрываются, принося радость ненасытным глазам человека. Я не ночь и не тьма, что вселяют грусть и печаль в души твоих созданий; я заставляю их смеяться и радоваться жизни, потому что от тепла моего тают снега, льдины я превращаю в изумруд-

ные потоки, утоляю жажду водой прозрачных родников. Но нет мне, Аллах, благодарности ни от кого за все мои неоценимые труды. Нет у меня больше сил такую несправедливость терпеть. Я прошу меня освободить, дай мне отдых, о Аллах!

— Иди и продолжай свою службу,— ответил Солнцу Аллах,— а я подумаю, как оценить твой труд...

Следом за Солнцем явилась Луна, поклонилась Аллаху и рассыпалась в широкой улыбке:

— О Всемогущий и Милосердный, я пришла к тебе с прошением.

— Что случилось с тобой, ночное светило, данное мною земле?

— О Всемилостивый, одарил ты меня скудным светом и холодным лучом. Когда землю покидает Солнце, я остаюсь во мраке единственным светилом и излучаю сияние, как маяк, и так служу земле и всему земному... Медленно открывая паранджу с лица, я помогаю людям отсчитывать дни, недели, месяцы, в полнолуние я сбрасываю пелену темного покрывала и щедро приношу радость всем, кто не спит во мраке ночи... Лунная ночь дает покой спящим и счастье любящим. Я не обжигаю безжалостно, как Солнце,— мой свет мягок и приятен. Но ослепленные ярким солнечным светом люди не замечают меня: до сих пор ни один из них не отблагодарил меня за честную долгую службу мою, наоборот, я сделалась посмешищем для всего рода людского. Складки на лбу, подбородке и под глазами, что ложатся от доброй улыбки моей, люди принимают за гримасу и дразнят меня, называя корявой. В самое дорогое для меня время, прозванное людьми полнолунием, я вся истекаю добротой, а они мою круглолицесть превратили в имя нарицательное, называют своих тупых и лысых толстяков и уродов «круглолицыми лунами»... Нет, я больше не хочу терпеть все эти издевательства и насмешки!

Луна закрылась тучами и стала жалобно всхлипывать... Начал накрапывать дождь...

— Побереги свои прекрасные серебристые глаза,— сказал Аллах в ответ.— Иди и служи миру, а я подумаю...

Тут забушевал возмущенный Ветер и, подбежав к Аллаху, сдунул пыль с его престола, лег у его ног и взмолился:

— Весь день, всю ночь ношусь я по горам, по лесам, по степным просторам и по морским волнам. Я гоню корабли, собираю тучи и посылаю их туда, где засуха, и отгоняю их, когда влагою пресыщена земля. Если бы не я, люди

погибли бы от зноя. Я разгоняю жар, освежаю тела, проветриваю халаты, платья, шубы. Ни покоя мне, ни отдыха. Я устал. О мой повелитель, устал я от человеческой неблагодарности... Отказываюсь служить...

И Вода в низком поклоне разлилась до самого трона Аллаха и зажурчала:

— И я устала, Повелитель правоверных! День теку, ночь теку... Смываю всю грязь с лица земли, омываю тела неблагодарных и нечестивых сынов человеческих и утоляю жажду всех живущих. Безропотна и молчалива я в своей чистоте... Но доколе мне терпеть?

Задумался Аллах.

— Да, неблагодарен род человеческий и заслуживает наказания!— воскликнул он и повелел созвать всех живущих на земле...

— Солнце, Луна, Ветер и Вода несказанно обижены всеми вами,— обратился Аллах к собравшимся.— Они не хотят больше служить и помогать вам и просят отпустить их на покой... Я созвал вас, чтобы спросить, как вы будете существовать дальше?..

Человек, услышав слова Аллаха, так испугался, что побледнел, затрясся и растерянно начал кланяться и Солнцу, и Луне, и Ветру, и Воде, не в силах произнести ни слова.

Тогда Аллах снова спросил:

— Кто желает высказать свой совет?

Все молчали.

Только Летучая Мышь вспорхнула и взволнованно зашептала:

— О Всемогущий, внемли творению своему, разреши мне сказать правду. Подумай, Создатель всего сущего в мире, что станет с людьми, животными, птицами, растениями и цветами, если погаснет Солнце? Что будет с землею, если Луна перестанет управлять приливами и отливами морскими, и вода морей и океанов, нарушив правила, ринется на сушу? Что станет, если исчезнет Вода? Иссякнут реки, скроются озера, и прекратится журчание родников. А если Ветер перестанет носиться по миру, управлять жаром и холодом, дождями и бурями? Подумай, Создатель! Ветер нам приносит твою волю, и тебя мы благодарим за милость. Пожалей свои создания, Великий!— И, испуганная своей смелостью, Летучая Мышь упала камнем к ногам Повелителя Вселенной.

«Правду сказало это маленькое создание»,— подумал Аллах и повелел: выполнять всем то, что было приказано

в дни сотворения мира... Солнцу, Луне, Ветру и Воде честно работать до Судного дня...

Тогда разъяренное Солнце лучом своим ослепило Мышь:

— Посмей только попасться мне на глаза, и я испепелю тебя своими лучами!

Ветер в злобе закрутился вихрем:

— Смотри, если мне попадешься, я развею тебя в клочья!

— А я утоплю тебя, если только приблизишься к берегу,— прошипела Вода, уходя в свое русло.

А Луна так привыкла улыбаться, что и на этот раз только улыбнулась и промолчала.

— О, что мне делать? Я ведь ни в чем не виновата, я не для себя просила твоей милости, Аллах!— взмолилась Летучая Мышь.

Тогда Аллах сказал Летучей Мыши:

— Когда Солнце спрячется за край земли, Луна еще не вступит на свой пост, а Ветер уляжется спать, в тишину сумерек будешь ты вылетать. Днем же скрывайся во мраке развалин и пещер, прижавшись к потолку, или в щелях, чтобы шорохом не выдать себя... А чтобы ты не умерла от голода и жажды, тебе даруются два соска. В одном будет молоко, в другом — вода. Так и существуй.

Вот с тех пор трусливый человек и научился благодарить Солнце, Луну, Ветер, Воду, поклоняясь им. А Летучая Мышь много терпит от человека за то, что была свидетелем его позора...»

Я привожу бабушкины легенды как свидетельства старины,— она, моя бабушка, окончившая только лишь родительский устный «университет», была хранительницей великой народной мудрости.

В ауле бывали своеобразные вечеринки: после пригона скота с пастбищ перед наступлением сумерек собирались люди на окраине аула. Обсуждались происшествия за день, рассказывались последние новости, и, если не было ничего делового, начинались борьба, бег или какие-нибудь игры.

С возвращением дяди по вечерам стали собираться у бабушки. Дядя нараспев читал богатырский эпос. Все слушали его с огромным вниманием. Необычайная сочность фольклорного языка, героика, эпические образы, певучесть стихов пленяли всех слушателей, и я впервые

это народное достояние «прочел вслух» на этих дядиных вечерах.

Его приглашали в соседние аулы, и он с удовольствием ходил туда. Донимали его и наши аульные бездельники из молодежи, которые днем приходили с просьбой прочесть то, что им понравилось, и что они хотели выучить наизусть, чтобы щегольнуть на вечеринке. Надо сказать, что память этих безграмотных болельщиков была феноменальной. Достаточно было им прослушать слова два-три раза, как они уже знали наизусть весь текст и на следующий вечер затягивали его нараспев в юрте соседнего аула. Они звали дядю своим «учителем». Так, к примеру, и ныне здравствующий старик, безграмотный Суюмбай, до сих пор в ауле декламирующий «Рустем дастан», «Камбара» и другие былины, считает своим учителем моего дядю, который ему приходится двоюродным братом с материнской стороны.

Серкебай много раз гневался на дядю за то, что тот снял чалму и вместо отправления религиозных обрядов занимался песнями и развлечениями. Своего племянника он называл шайтаном и безбожником.

— Ты бы лучше за упокой души своих предков и близких Коран читал, а ты только «э-э» да «э-э»!— передразнивал он дядю.

— По пятницам я читаю Коран,— оправдывался тот.

— Тьфу, несносный,— горячился старик.— Этого мало! Надо каждый день и по нескольку раз читать Коран, и то в долгу останешься перед святыми предками!

Дядя был женат три раза и всякий раз со скандалом, не по-мирному. Двух жен своих он украл, и оба раза дело не обошлось без драки и родовых конфликтов, закончившихся уплатой штрафов.

Да, в молодости он был зачинщиком не только игр и вечеринок, но и всяких драк и скандалов.

Старшего брата отца, дядю моего Тюлебая, я помню высоким курносым стариком, с жиденькой козлиной бороденкой, не расстающимся с длинной палкой. Дома он бывал редко и на базар не имел привычки ездить. Его всегда можно было видеть на пастбище. Летом он возвращался в аул поздно вечером, неся на руках ягненка, отставшего от отары. Тюлебай был многодетным, имел середняцкое хозяйство. Когда он умер, за ним в течение двух-трех лет один за другим последовало большинство его детей. От него осталась единственная дочь по имени Курманкуль, старше меня года на три-четыре.

Самую старшую сестру Убиш помню смутно. По рассказам отца, она рано выучилась грамоте, читала книги и даже умела писать. Она была первой грамотной девушкой в нашем степном округе. Приблизительно в 1912—13 годах ее выдали замуж за безграмотного Рыскулбека Омарова из рода Бейтана, с которым она была обручена еще смолоду. Когда настало время выдать ее замуж, пошли разные разговоры, что, мол, она «зрячая» девушка, грамотная, а жених—«слепец темный», то есть неграмотный, что на грамотную девушку имеет право только грамотный мужчина. Шли толки о неравенстве и несправедливости брака. Отец, связанный обязательствами, данным словом и полученным калымом, все же выдал ее замуж за Рыскулбека. Не знаю отчего, но она через год после замужества умерла. Отец до последних дней жизни тяжело переживал эту утрату. По-видимому, он понял, что совершил роковую ошибку. И эта ошибка, кажется, положила основу новому отношению отца к другим дочерям—моим сестрам.

Зимой мы жили в глинобитных домах, весной откочевывали на десять—пятнадцать километров на джайляу, чтобы скот не топтал хлеб и сенокосные угодья. Сеяли очень мало, только на свою потребу, поэтому обрабатывался ничтожный кусочек земли; да и обрабатывать не умели: бывало, казах омачом[1] поцарапает кое-как десятину землицы, разбросает зерна, и делу конец. И только в августе придет собирать урожай.

Жали вручную, прямоугольным серпом. Молотили так: разложат пшеницу наземь, пригонят с десяток лошадей или быков, устроят из веревок загон вокруг тока и с гиканьем гоняют животных по кругу. В этой молотьбе всегда отличались дети. Мы забавлялись беготней перепуганных животных, и на току стоял такой гам, что даже представить себе трудно. Наконец, устав от этого «горлодрания», давали животным «вольную», отделяли солому, избитую наполовину копытами, испачканную навозом. На току оставалось зерно, смешанное с половой и землей. Для того чтобы отделить зерно от половы, все свистели хором, кто как мог, зазывая ветер... Ветер «приходил по зову» и тогда начинали веять по ветру мелкую солому и пыль с земли. Этим дело не кончалось. Снова свистом зазывался ветер. Ветер к вечеру «приходил на зов». Тогда брали сито и пропускали сквозь него зерна. Потом орава детей бросалась на зерно, ручонками отбирала мел-

---

[1] Омач — деревянный плуг.

кие камушки и отбрасывала их в сторону. Относительно чистое зерно собиралось в кучу конусом, кто-нибудь локтями обмеривал вокруг и до вершины конуса, а аульный математик по этим данным определял урожай: мол, столько-то батпанов[1]. После этого торжественно нашептывали какую-то молитву и ссыпали зерно в мешки. Урожай считался даром «святого земледелия», и каждый из присутствующих имеет право насыпать себе в мешок столько, сколько позволяла ему совесть, никто не имел права остановить его руку. Получалось это оттого, что урожай и молотьба производились коллективно, по типу субботника, и на дар земли, пока он находился на току, никто не имел црава монополии.

Таким я помню хлебопашеский обряд нашего аула во время моего раннего детства.

Впоследствии соседство с русскими постепенно научило наших родичей, как и других казахов, искусству хлеборобов. Они стали лучше распахивать землю, появились арендованные у русских бороны... Каменные катки на токах, несколько видов сит, веялок, косы пришли в аул. Но все это прививалось с трудом, медленно, и вплоть до коллективизации казах считал позором работать на лошади, потому что лошадь предназначена для езды. И все работали на волах.

Постепенно укрепилась собственность на землю, даже стали сдавать землю в аренду русским, ортачить[2] с ними и между собой на условиях одна к четырем, к двум или трем частям урожая. Появилось сословие косши — сельскохозяйственных полубатраков-хлеборобов.

Бесскотный бедный люд получал от состоятельных зерно для посева, пару волов для работы, корову для молока, иногда и лошаденку для езды, сыромятную обувку и старый самотканный чекпен[3] как спецовку для носки, и на своей земле работал на хозяина, как его батрак.

Косши—батраки-пахари, бравшие только зерно, считались ортаками наполовину; если же они брали и быков—то на одну треть, если брали и корову и чекпен, то им оставалась четвертая часть урожая. Хозяин же за семенное зерно, молоко и волов получал львиную долю урожая. На таких кабальных условиях работали косши.

---

[1] Батпан — мера веса, приблизительно равная двенадцати пудам.

[2] Ортак — соартельщик.

[3] Чекпен — плащ-халат.

Приезжали также из других родов давать кос нашим, так как у них, за Каратау[1], плохо родился хлеб.

Радиус кочевья все ограничивался и ограничивался, земледелие постепенно теснило скотоводство. Зажиточные из нашего рода со своим скотом откочевывали на зиму за Каратау, а весной возвращались и давали кос своим бедным родственникам. Аул назывался по имени нашего родоначальника Усена. Из Усенов были богатыми баями потомки Нияза, его шестеро сыновей и их дети, приходившиеся мне четвероюродными братьями.

Наш дом не брал кос и не откочевывал на зиму никуда, так как у нас было ограниченное количество скота, для прокорма которого хватало заготовленного сена. Другие ветви Усена частенько брали кос, а ветвь от Беймана — Тойтабая с памятных мне времен вплоть до коллективизации никогда не вылезала из коса. Дети Тойтабая мне приходятся троюродными и четвероюродными братьями. Несмотря на равенство колен, происходящих от нашего общего предка Усена, оседлые его ветви считали себя в более близком родстве, чем сыновья Нияза. Но разорившаяся половина ниязовцев после джута[2] также присоединилась к нам.

Мой отец был старшим из усеновцев, так как ему принадлежала «большая дорога»[3], и, фактически, старшим над дехканами-усеновцами. Впоследствии, в 1925 году, после каких-то свадебных скандалов разорилась и вторая, богатая половина потомков Нияза, и они присоединились к нам—дехканам.

Я не помню слова «война». Мне смутно припоминается 1916 год, да и то лишь по вою и плачу женского населения нашего аула, встревоженным лицам мужчин и солнечному затмению перед закатом.

Летели к нам в аул верховые с тревожными вестями: «Рабочих берут! Рабочих требуют! Окопы копать заставят! Землю копать заставят!» И хотя еще никого не брали, достаточно было этой вести, чтобы все женщины с плачем начали прощаться с молодыми людьми, приговаривая: «Ой, что же мне делать? Настанет день, когда тебя на войну заберут... Светик мой, о что же мне делать?» Молодые бледнели при этих словах. День и ночь голосили старухи-матери, им подпевали тонкие голоса

[1] Каратау — название горы.

[2] Джут — массовый падеж скота, который в зимнюю пору из-за обледенения пастбищ не может добыть подножного корма.

[3] Линия старших в роду.

молодух. Скот был оставлен без присмотра, а мы, дети,— без внимания и ласки. Мужчины буквально очумели от этого воя. Сначала собирались было куда-то откочевывать, потом что-то организовать для драки с наборщиками... Затем начали отсылать юношей к дальним родственникам, в другие роды,—наивная форма дезертирства. Эта суматоха продолжалась несколько дней. Старшие мужчины ездили на какие-то сходки и привозили противоречивые сведения. Наконец женщины устали от плача и причитаний и начали собирать деньги от каждой юрты, бросали жребий между молодыми. Потом, отобрав тех, кому выпал жребий, под плач всего аула старшие отправились с ними к почтовой станции, где находился наборщик. К вечеру они вернулись обратно с «новобранцами», сказав, что выкупили их у начальника. Снова собирали поюртно деньги, и из нашего аула вместо десяти юношей был отправлен один Кожамкул—одинокий бедняк. Аул ему сшил теплую одежду, от каждой юрты были собраны подарки, его пошли провожать на станцию. И вот как раз в этот день под вечер солнце закрылось пеленой, и запад окрасился красным отсветом.

— Солнце сгорает! Солнце сгорает!

Опять заголосили женщины.

— Судный день! Судный день идет! — в безумии шептали люди.

Откуда ни возьмись, появился мулла и закричал азан— призыв к молитве.

— Аллаху акбар, аллаху акбар! Иля ий ляха илалла Мухаммед расулалла!— нараспев закончил мулла.

Во время азана все умолкли, каждый про себя молился. Отец и дядя уехали с провожающими Кожамкула, и я с трепетом и страхом в душе прижался к бабушке и не отходил от нее.

— Говори «бисмилля»,[1] говори «бисмилля»,— тормошила меня бабушка.

Когда мулла прокричал азан, и люди начали приходить в себя, темная пелена сошла с солнца, и все, увидев это, хором воскликнули:

— О аллах, о всемогущий!

Женщины начали плакать — теперь уже от радости. Все бросились к мулле, как к спасителю, предотвратившему наступление Судного дня, и начали одаривать его кто чем мог.

---

[1] Бисмилля — первые слова молитвы.

С этого вечера начали резать барашков—жертвоприношение — и резали почти каждый день в течение недели. Взрослые ели бесбармак[1], приговаривая: «Да дойдет твое пожертвование». А мы, дети, получив вкусный ломтик мяса, бежали во двор вперегонки, забыв вчерашнюю трагедию нашего аула.

Через несколько месяцев Кожамкул прислал письмо. Это письмо читалось на всех сборах, там были и стихи, лирические строки, говорящие о его тоске по родине, и о том, как ему тяжело на чужбине. Когда читалось письмо, женщины плакали, молодежь наизусть заучивала стихи. Я до сих пор помню отдельные строки стихов из письма Кожамкула:

На этой земле, где лежит пыль, родился я, и резали мне пуповину, да будет благополучие. Как рыба, я плавал в озере, да будет оно благословенно. Одна голова у мужественного джигита, ты не увидишь ее до нашего возвращения, народ! Да ниспошлет тебе господь благословение! Всякие судьбы бывают у джигитов, но это неважно для мужественного.

Не сопровождать же народу везде и повсюду своего джигита. Через четыре-пять месяцев вернемся к своему народу...

Кожамкул был неграмотным. Видимо, казахи на окопных работах сочинили коллективное, в стихотворной форме, письмо на родину, и один из грамотеев писал его каждому, кто просил.

Всем аулом собрали и послали Кожамкулу деньги. Через год действительно он вернулся и был принят как желанный гость, в почете отдыхал в нашем ауле целое лето и, собрав подарки, уехал навестить своих товарищей по окопной работе. Более он к нам не возвращался.

Мне также памятен «год бедствия», или, как его еще называли в народе, голодный год. Это 1917—1918 годы.

Два года подряд в наших краях была засуха и недород. Корма для скота недоставало. Зима стояла суровая. Начался массовый падеж скота. Из нашего состояния сохранились всего лишь три козы. Их доили, молока не хватало на всех вдоволь, как прежде, его разбавляли водой, кипятили и пили три раза в день. Если отцу удавалось в обмен на домашние вещи достать несколько фунтов муки, то делали болтушку-затируху.

Весной к нам была подведена железная дорога, и станция Бурное стала местом бойкой торговли. Отец купил несколько фунтов сахарного песку и с полпуда муки, снял

---

[1] Бесбармак — казахское национальное блюдо из мяса и теста.

комнатушку при станции, и бабушка с дядей отправились с этим «капиталом» торговать. Меня они забрали с собой. Я впервые увидел большие строения, многонациональный народ в таком сборе, впервые услышал гудок паровоза. От непривычной ходьбы (четыре километра было от нашего аула до станции) и новых впечатлений я устал. Дядя ушел, бабушка уложила меня спать, а сама начала смешивать сахар с мукой для «женти», как говорила она (повидимому, это что-то вроде самодельной примитивной халвы). Я заснул.

Утром пришел отец. Когда я проснулся, увидел у всех тревогу на лицах и, ничего не понимая, попробовал расспросить домашних. Но бабушка мне прошептала: «Поспи еще немножко».

В комнате было сыро, с крыши текло. Ночью прошел проливной дождь.

— Нет,— сказал отец после минутного молчания,— собирайтесь, мама, пойдем домой, в аул, рисковать тут нечего, как-нибудь перебьемся до зелени.

— Я один останусь,— сказал дядя.

Отец сердито ответил:

— Тобой-то и не хочется рисковать!

Сборы были короткие. Мы вчетвером вышли на улицу. У соседнего дома толпился народ. Мы быстро прошли мимо. По дороге я понял из слов бабушки, что в соседнем доме ночью за лепешку человека зарезали.

Дядя дома жил редко, теперь он ходил пешком к своим сестрам за Каратау, так как лошадей не было, но оттуда он не приносил ничего.

По другую сторону от нашего аула проходил тракт Ташкент—Пишпек (Фрунзе). Его у нас называли «Черная дорога». На Кульбастау — у одного из крупных родников Мынбулака — стояла почтовая станция, и дядя нанялся туда ямщиком. Бабушка ушла с ним на Бекет, как называли эту станцию в нашем ауле (искаженное слово «пикет»). Мы остались дома, пили разведенное молоко и ели болтушку. Через некоторое время отец съездил куда-то и привез два мешка позеленевшей пшеницы. Мы ее обмывали кипятком, сушили на солнце, жарили и ели.

Прошло еще немного времени, потеплело, и отец привез несколько фунтов сахарного песку и полпуда муки, несколько фунтов проса и пачку чая. Говорили, что эти продукты дали в Советском комитете продпомощи. Дни стояли ясные, земля давно подсохла, и отец, забрав меня с собой, отправился к бабушке, на Бекет.

Бабушка нас встретила со слезами. Она очень обрадовалась. Мы принесли ей сахару, чаю, муки и крупы. Дядя был в отъезде. Они жили вместе с другими ямщиками в сарае-общежитии, семей десять или больше.

Мы дождались возвращения дяди. Дядя тоже обрадовался нам, начал ласкать меня и спрашивать, как живут мои сестры. Отец и дядя пошли к начальнику станции. Когда они вернулись оттуда, мы все тронулись в путь. Бабушка весело попрощалась со всеми женами ямщиков:

— Вот меня внук уводит, и для вас пусть настанет поскорее хороший день!

По дороге мы остановились у друга моего отца Иманкула, жена которого угостила нас настоящим айраном[1]. Иманкул привел серую корову с теленком. Отец отсчитал ему деньги. Иманкул дал нам еще пуд проса, и мы снова тронулись в путь.

Молока стало больше, и мы теперь пили айран.

Наступил май. Дядя четыре дня ковырял лопатой землю, посеял просо.

Мои сестры в поле собирали какие-то травы. Бабушка варила их иногда в молоке, иногда просто на воде, и мы ели. Однажды она накормила нас этим зеленым супом, и спустя час мы один за другим начали валиться на землю. Первой—младшая сестра. Я не мог раздвинуть челюсти, в глазах у меня помутилось, и голова закружилась. Бабушка испугалась, засуетилась, побежала доить корову и начала поить нас молоком. К вечеру вернулись отец и дядя и застали нас лежащими. Мы отравились, по-видимому, какой-то ядовитой травой. После этого «зеленые супы» были запрещены.

У отца появилась лошаденка, он стал разъезжать.

Дядя работал дома. Прикочевали на джайляу какие-то баи, и дядя ходил к ним стричь баранов, кастрировать молодняк, ходил иногда на станцию на поденную работу и приносил оттуда буханку хлеба.

Отец пригнал четырех дойных овец и опять уехал.

Через месяц он привез нам мачеху.

Следующий год был тоже тяжелым, но не таким, как предыдущий. В полном смысле слова мы не голодали, но жили впроголодь. Наши соседи чрезвычайно пострадали, некоторые семьи вымерли, другие разбрелись по родственникам. Только на третий год народ оправился — получил от государства семенной фонд.

---

[1] Айран — кислое молоко.

Говорили, что царя свергли, появились слова: «красные» и «белые». В ауле старшие говорили, что «взошла заря и настал светлый день для бедных людей», что «теперь царские чиновники не будут притеснять казахов». что по новому закону «все люди равны». Составляли «черные списки», куда записывали баев. Начались выборы, проводились они каждые шесть месяцев. Появился новый старшина — старшина союза косши. Говорили о новом порядке, говорили о Ленине, как о вожде тонкериса — переворота, революции. Появились чрезвычайные уполномоченные Совдепа, ставились старшины от бедняков. Выбирались от десяти юрт активисты. В числе активистов был и мой дядя, его несколько раз избирали председателем аулсовета. Начался передел земли по-новому, и многие баи, которые раньше увеличивали свой надел, скупая земли бедняков, лишались земель. Земля доставалась тем, кто ее обрабатывал. Условия ортачества тоже изменились в пользу косшы. Теперь кабальная одна четвертая была упразднена, но одна треть и половина сохранились. Народ после перенесенных голодных годов ожил, начиналась новая общественно-политическая и хозяйственная жизнь. Люди стали забывать голод, обзаводились хозяйством и имуществом.

Урожаи пошли хорошие, и зимой началось праздное времяпрепровождение—«жора боза». Чередуя вечера, собирались у кого-нибудь за бузой из проса. Отец не одобрял «жора», и наш дом никогда не принимал участия в ней. Дядя женился года за два до того и отделился от нас в самостоятельный дом. Он принимал участие в этих складчинах. Один раз отец и мне разрешил пойти посмотреть «жора». Я пошел. На дворе мальчуганы играли в альчики. Из дома доносились веселый говор и песни. Я пробрался внутрь. Народу было набито битком. Были и женщины. В середине стоял большой казан, наполненный неприятно пахнущей бузой. Хозяин, налив себе в деревянную чашку бузы, с песней обратился к Сары-хоже—так обращались к тамаде этой гулянки. Хозяин попросил удостоить его дом весельем красивых речей, звучными песнями джигитов, установить порядок празднества и справедливо управлять обществом.

Старик Тастемир — Сары-хожа — сидел на почетном месте и слушал хозяина дома. Важно взяв преподнесенную чашку с бузой, он начал давать распоряжение, как провести «жора» у такого-то мурзы, как он величал хозяина, и такой-то красавицы-девы, как он называл некрасивую,

довольно пожилую хозяйку. Говорил он остроумно, иногда подпуская солоноватую шутку. Все смеялись его остротам. Тамада установил наказание за нарушение порядка: выпить до дна столько-то кесе бузы, спеть столько-то куплетов песни или рассказать небылицу, или ржать по-лошадиному и так далее в этом роде. Этот кодекс он расчленил на отдельные статьи и для соблюдения порядка выбрал двух жасаулов, которые немедленно встали с места и, приложив руки к груди, в песенной форме представились таксыру — господину, присягнули ему в верности и в исправном несении службы «в тени господина Сары-хожи». Тастемир установил, что ко всем положено обращаться только на «вы», что здесь все джигиты — мурзы, женщины — первые в мире красавицы. «Кара соз» — «черным словом» (прозой) обращаться друг к другу можно только с его позволения, а все должны говорить между собой только языком песни. Многие, испугавшись, стали просить у Сары-хожи некоторого смягчения этих условий.

— Мы подумаем,— сказал Тастемир важно.— Сары-хожа два раза не говорит, примите мои повеления, грешные подданные!

Все хором отвечали:

— Хуп, таксыр!— Слушаемся, господин!

Начали пить бузу. Тамада произносил хвалебную речь в честь хозяина и хозяйки. Жасаулы ходили по рядам, следя за порядком.

— Эй, жасаул! Все ли спокойно в моем подданстве?— спрашивал Сары-хожа, на что жасаулы льстиво отвечали ему: «Кто же посмеет в ваше царствование нарушить установленный вами порядок? Мурзы счастливо проводят время с красавицами девушками».

— Народ не жалуется? — спрашивал повелитель.

— Нет,— отвечали жасаулы,— бузы много, дом освещен красотой райской девы-хозяйки, на душах весело, сердца джигитов и девушек резвятся, как молодые жеребята.

Подобный диалог продолжался, пока кесе — чаши не обходили всех два раза. На третий раз жасаулы начали находить нарушителей порядка, подводили их к тамаде, и он, выслушав стороны, объявлял свой справедливый приговор.

Иногда просто один из подданных поднимался с места и просил разрешения у таксыра высказать жалобу.

— На кого? — спрашивал Сары-хожа.

— На девицу такую-то.

— Жасаулы, привести сюда девицу!— повелевал хожа.

Жасаулы вели смущенную женщину сквозь ряды к трону хожи. Начиналось слушание дела. Жалобщик острил, разыгрывая из себя потерпевшего, а женщина, не растерявшись, отбривала его тоже остротами. Если в этой пикировке стороны оказывались равными, к допросу привлекались свидетели сторон. Импровизированный процесс кончался победой остроязычных, и бий выносил приговор.

Начиналось приведение к исполнению решения бия: осужденные или пели, или мычали, или острили, или смешили всех какими-нибудь трюками. В таком импровизированном кабачке в своеобразной самодеятельности проходили зимой дни за днями. Правда, иногда жора завершалась дракой, но на следующей жоре поссорившихся мирили обменом кесе и публичным приношением извинений друг другу.

Несмотря на то, что отец разрешил мне пить бузу, я никогда не брал ее в рот. Противный запах и вид, напоминающий помои, во мне и по сей день вызывают отвращение.

Итак, люди нашего аула жили неплохо, многие обзавелись верховыми лошадьми. На станции Бурное по воскресеньям проводился базар. Туда ездили все мужчины аула, там встречались со знакомыми. Свидания назначались так: «Встретимся на будущем базаре». Властями на базарной площади была установлена трибуна. В послеобеденные часы на ней выступал оратор с новостями и разъяснениями перед пестрой толпой. На базаре иногда разыгрывались конные межродовые драки или вспыхивали ссоры между группировками аулов. Одна конная масса, размахивая плетьми, налетела на другую, разъезжались и набегали друг на друга по нескольку раз и, пролетая, наносили удары плетьми. При этих драках больше всего страдали не сами дерущиеся, которые были верхом, а пешие узбеки и русские, которых нередко сбивали кони.

Отец начал учить меня арабскому и русскому алфавитам. Арифметике, правда, нерегулярно, но все же учил. Заставлял меня помогать по хозяйству ему и дяде: поить лошадей, подкладывать им клевер, править волами при бороновании посева и во время работ на току, при обмолоте.

В долгие зимние вечера отец развлекал нас сказками, обучал песням, читал нам вслух книги, по-видимому, на чагатайском наречии, так как мне запомнились некоторые особенности этого диалекта: «боладур», «геладур», «берадур», «ушбу» и т. д. Отцу постоянно приходилось разъяс-

нять нам значение тех или иных непонятных слов.

Первые годы Советской власти в нашем краю прошли очень бурно, в своеобразной классовой борьбе, в условиях родовых распрей, создания аульных группировок и шантажей еще не сложившей оружия полуфеодальной знати — биев, волостных управителей, баев, которые стояли за спиной своих бедных родственников и вели ожесточенную борьбу за власть в ауле, в волости и за влияние в уезде.

Борьба развертывалась обыкновенно накануне выборов. В этой борьбе волостным воротилам удавалось отвлекать внимание простого народа от классовой борьбы, искусно используя родовые чувства и межродовые распри. Аулы волновались от группировочных шантажей, сплетен, ложных доносов, клеветы, взяток. Но уже всходила над аулом заря новой жизни, настала пора равенства, и это заставляло постепенно выпрямляться бедняков. Часто приезжали уполномоченные, которые на собраниях разъясняли смысл новых порядков, права бедняков и выборщиков, которые проводили выборы. Уполномоченных народ редко знал по имени, по фамилии и часто давал им клички по их внешним признакам и характеру. «Волосатый уполномоченный» — так прозвали одного за пышную шевелюру (в те времена казахи впервые увидели своих сородичей, носящих длинные волосы). «Синебородый уполномоченный», то есть с бритой бородой, называли другого (казахи в то время не брили бороду). Был уполномоченный по кличке Боевой приказ. Его прозвали так потому, что он каждое свое распоряжение считал боевым приказом. Уполномоченные почему-то очень часто менялись. В народе шли разные толки, но мой детский ум не вникал во все детали.

Отцу к этому периоду было уже под шестьдесят, и активного участия, как бывало прежде, в аульной жизни он не принимал. Зато дядя перестал быть домоседом, ездил на все собрания. Его выбирали десятским, пятидесятским, сотским делегатом, председателем аулсовета, председателем союза косши. Одно время он был наибом — заместителем председателя волостного союза косши. Был дядя несколько раз под угрозой ареста из-за доносов своих противников и тем самым нагонял тревогу на всю нашу семью, особенно на бабушку, но все обходилось благополучно. Как дядя ни старался, но все-таки «в люди» не вышел. В этом играли главную роль не столько его ограниченные способности, сколько интриги аульных воротил. Серкебай при встрече гневался, называл его бестолковым, не умею-

щим бороться за пост; говорил, что он своим дурным поведением позорит память своего деда по материнской линии Текебай-бия, что он ленится читать Коран, и потому его не поддерживают духи предков.

— Шесть месяцев и любой воробей может старшинствовать, когда настоящие люди попали в черный список,— издевался он над дядей.— А вот я до сих пор остаюсь Серкебай-бием, достойным сыном своего святого отца Текебай-бия,— хвастался он и ударял камчой оземь.— А ты, отпрыск, как пьяный мужик, валишься с одного поста на другой.

Дядя пытался ему разъяснить новые порядки.

— Яйцо курицу учит,— зло иронизировал Серкебай.— Учи, дурак, умного!

— Но ведь ваше время прошло...

— Что? Что?— бесился Серкебай, тыча в грудь дяди плеткой.— Как ты сказал, отщепенец? Как ты сказал?!

— Ничего, просто так вышло,— бормотал дядя.

— Я тебе покажу, как огрызаться!— задыхался старик.— Я из тебя выбью твой новый порядок. Ты у меня будешь ласковый, как теленок на привязи! Ишь ты, какой нашелся мне соперник!

Дяде оставалось только молчать и, чтобы не получить от разгоряченного старика удара плетью по спине, выбрав удобный момент, улизнуть из юрты.

Старик еще долго ворчал и бранился:

— Ой, какая необузданная молодежь пошла! Какое время пошло!— говорил он сам с собой.— Эх, заман! Заман! (Время, время!). Жаль, что этот дуралей родней приходится, а то бы разорвал его на части...

Потом, многозначительно нахмурив брови, закусив бороду, он обращался к бабушке и снова начинал в бешенстве кричать:

— Зачем ты, акпе, мне родила такого племянника?

— Как же, милый,— растерянно и виновато отвечала бабушка,— сам народился, уж аллах дал...

— Да! Своя рука — не отрежешь, черт бы его побрал! Эти незнатные бедняки на голову мне лезут, как мошкара,— кричал Серкебай,— даже родной племянник мне говорит: «Ваше время прошло». Каково мне это слышать?!

— Ты уж прости его, Серкеш, парень просто проговорился,— боязливо шептала бабушка.

— Проговорился! Хе-хе!— зло смеялся Серкебай.— Я ему проговорюсь! Я заставлю всех этих бедняков драться

за обглоданную моей собакой кость. Хе-хе! И они сцепятся, как голодные волки.

— Ты что, Серкеш, своего?!— испуганно вопрошала бабушка.

— Эй, ишак!— кричал Серкебай.— Войди-ка в юрту.

На такой зов возвращался дядя.

— Встань на колени и проси у меня прощения!— приказывал старик.

Дядя стоял в нерешительности.

— Что же ты, Момынтай, проси прощения у дяди, он ведь тебе родной,— уговаривала бабушка.

Дядя, преодолев самолюбие, становился на колени.

Серкебай, разбрызгав весь яд своего гнева, прощал его...

Так в моей детской памяти запечатлелась классовая борьба того времени в нашей семье. В аульном и более крупном масштабе она будет описана в свое время в той хронологической последовательности, как мною воспринимался и осознавался общественный быт аула, волости, района, области... А пока не будем забегать вперед.

«Равноправие женщин», «отменяется калым», «право выходить замуж за любимого»— вот первые, услышанные мною в годы революции слова о раскрепощении женщин.

А бабушка нам говорила:

— Калым — дорога, проложенная отцами и матерями. За мою мать брали калым, за меня брали калым, дочерей выдавали замуж и сыновей женили с калымом. А как же теперь без калыма?— возмущалась она.— Что это за невеста, даром пришедшая в чужой дом? Какое к ней уважение будет? Муж даром взял и даром прогонит. Калым не брать — значит, приданое не давать, той не устраивать. Что за интерес?!— причитала она.— Нет, пока я жива, никого без калыма не выдам замуж. Пойдете по моим следам. А когда я умру, делайте что хотите.

Мои сестры, ничего не понимая, смотрели на бабушку. Ее строгий взгляд, повелительный тон смущали их, вид у них был растерянный.

Желая восторжествовать над их детским горем, я вскочил с места и спросил бабушку:

— А меня как женить будешь?

Бабушка рассмеялась.

— Вот сначала выдам замуж этих шерстоголовых, получу за них много скота, разбогатеем, тогда тебе подыщу красивую невесту, уплачу большой калым и женю тебя,—

сквозь смех ответила она и добавила:— Дай, аллах, дай, аллах, дожить до этого!

Сестры косо и враждебно смотрели в мою сторону: из-за меня, за мою красивую невесту бабушка хочет продать их. Я же, бросив на них уничтожающий, высокомерный взгляд, вышел и побежал к пруду играть.

День был ясный. Горы отражались в воде. Я увлекся своими глиняными сооружениями, как вдруг кто-то меня повалил и начал бить, мазать грязью. Это оказалась моя вредная, самолюбивая младшая сестренка. Я вскочил, кинулся к ней. Она побежала и, взобравшись на крышу, спряталась в копне, что ставили у нас на крышах, чтобы скот не щипал сено, и оттуда начала дразнить меня:

— Ой, как черт грязный! Плакса, а еще на красавице хочет жениться!— Потом, схватив кусок кирпича, она вылезла из копны и, приняв гордую позу, сказала:— Ни одна красивая девушка за тебя не выйдет замуж, если она не дура.

— А я скажу бабушке, чтобы она тебя выдала замуж за хромого, паршивого, беззубого, безносого...— начал я перечислять скороговоркой.

Тогда сестра метнула в меня кирпич.

— А я не пойду!

Я увернулся от ее «снаряда» и отступил, а сестра, разозлившись, что не попала в меня, так быстро затараторила, что я ровно ничего не мог понять.

Так началось мое первое столкновение с угнетенным женским населением. И первая женщина, моя младшая сестренка, защищая свои права, вступила в «войну» со мной, «калымоплательщиком».

Бабушкин приговор осуществился. Моих сестер выдали замуж «по бабушкиному следу», получив за них калым.

С малолетства Убианна была помолвлена с сыном Жарылкапа — Мамытом, из рода Шегир, населяющего подножие гор Шакпак, что по-русски означает кремень. Говорят, что Жарылкап был зажиточным и приходился родственником нашим ниязовцам. Когда у казахов родство по женской линии отделяется несколькими поколениями и связь между ними начинает ослабевать, то иногда, чтобы снова поддержать эту связь, «обновляют кость». По-видимому, это обстоятельство и послужило причиной обручения Убианны с Мамытом... Семья Жарылкапа пострадала от джута и окончательно разорилась. Отец и мать умерли, а Мамыт, уже взрослый юноша, и его брат, мой сверстник, перешли на попечение Сайлаубая Ниязова — богатого

сына Нияза. Сыновья Нияза делились на две группы семей, по их матерям: дети старшей жены носили кличку «сыновья смуглой бабушки» и второй жены —«дети белой бабушки», их еще звали «сыновья Айдын». Ниязовцы, за редким исключением, были косноязычно-картавыми. Мамыт был у них в работниках, а младший его братишка пас ягнят.

Я их помню с того лета, когда они прикочевали к нам на джайляу. В тяжелые годы ниязовцы почему-то избегали нашего аула, а потом, когда народ стал жить немного лучше, снова появились в нашем стане. Их скот приносил много вреда земледельцам, травил посевы и сенокосы, но так как многие из оседлых были косши, ниязовцы оставались господами положения. Земледельцы их недолюбливали. Особенно была невыносима их мать, глубокая старуха, полоумная Айдын. Она ходила всегда грязная, оборванная, с развевающимися седыми волосами, которые трепались по ветру из-под наброшенного на голову платка. Она вечно носилась по полям, от стада к стаду, пешком, бранилась и кричала на всех своих сыновей, на пастухов и просто встречных. Ей казалось, что если она сама не проследит, то кто-нибудь обязательно украдет у нее из стада теленка или барана. Ночами она не спала и сторожила загон от волков и воров. Всю ночь ходила, покрикивая, как филин: «Уй-уу». Я никогда не видел ее сидящей, она всегда куда-то бежала. Старуха была настоящей бабой-ягой, страшилищем для всех детей. Все население аула избегало встреч с ней и боялось ссор. При встречах она бранилась. Вела свою отару через посевы и покосы, и ей ничего нельзя было сказать.

Все сыновья Айдын были страшно скупы. Скупились они и для себя: одевались, кое-как закрыв свое тело, ели что попало. У них пропадало сотни литров молока и кумыса, но они ни за что не давали другим. Их ненавидели, но общая собственность на землю и пастбища и боязнь ненормальной старухи лишали кого бы то ни было из жителей аула желания высказывать свое отношение к сыновьям Айдын.

Жители аула запугивали ниязовцев разными суевериями, приметами. Говорили старухе, что, мол, «луна покосилась» или «звезда не на том месте», или «туча не по тому пути пошла», и предсказывали, что случится беда с баранами, коровами и лошадьми. Испуганная старуха начинала расспрашивать, что ей делать, как предотвратить

беду. Тогда другой, подставной, из соседнего аула, говорил:

— Это случается из-за гнева покровителя земледелия. Нельзя травить посевы и сенокосы. А для того, чтобы рассеять гнев святого, нужно два удоя молока овец и коров, которые побывали на посеве, отдать людям.

Старуха не соглашалась. Тогда придумывали еще какой-нибудь способ, чтобы убедить ее. На следующий день старуха носилась вокруг стада, оберегая посевы от скота, но через два-три дня обо всем забывала, и все шло по-старому.

Одному аульному шутнику Жамаку захотелось отведать свежей баранины. Но откуда ее взять? Он сделал маску из тыквы, проколол отверстия для глаз, носа и рта, надел эту маску и вывороченную наизнанку шубу, нацепил несколько колокольчиков на шею и стал поджидать на кладбище. Время было послеобеденное. Сын Айдын Даутбай ехал на верблюде, возвращаясь с мельницы. Когда он поравнялся с кладбищем, Жамак, гремя колокольчиками, в маске и вывернутой шубе с ревом выскочил из-за могилы. Даутбай оцепенел от страха и, потеряв сознание, упал с верблюда. Жамак несколько раз приводил его в чувство и кричал:

— Я один из твоих предков! Вы перестали нас поминать, мы голодаем. Смотри, вон луна горит, буря будет... Я возьму твою душу, возьму души твоих братьев и весь ваш скот предам бедствию! Как придешь домой, скажи своим, чтобы немедля зарезали пять баранов, читали Коран по нас и угостили весь аул, а то пошлем мы на вас новые бедствия...

Жамак исчез, а смертельно бледный Даутбай под вечер едва приплелся домой и рассказал, что видел привидение. Суеверные старухи кое-что добавили от себя и подлили масла в огонь. Начали резать баранов в жертву духу предков. В числе гостей, конечно, был и Жамак...

Вот в этой семье после смерти отца и матери проживали и бедствовали сыновья Жарылкапа. С ними и со старухой Айдын связано одно из моих самых страшных воспоминаний раннего детства. Младшего мальчика по имени Жарылкасын, который пас ягнят, видимо, кормили от случая к случаю. Насколько я помню, мы видели его всегда идущим за ягнятами почти голым, босым, обожженным горячим дыханием солнца. На черном от загара лице его поблескивали большие серые глаза, редко встре-

чающиеся у казахов и белые зубы. От недоедания он вечно жевал траву, и углы губ его были зелеными.

Однажды мы, дети, стали свидетелями сцены, потрясшей нас всех. Старуха Айдын, держа на руках отставшего ягненка, с ругательствами неслась по степи, догоняя стадо Жарылкасына; лохмотья и седые волосы развевались по ветру. Подбежав к Жарылкасыну, она начала избивать его палкой.

— Почему ты, сын греха, бросил ягненка?— ругалась она.

Мальчик безуспешно пытался вырваться, а она продолжала осыпать его бранью и бить по бритой головенке. Казалось, что после каждого удара на голове ребенка вскакивают сине-красные шишки. Жарылкасын вертелся волчком, кричал, просил пощады:

— Апа! Апатай! Ой, больно!

Охваченная бешенством старуха поволокла его к старому колодцу.

— Вот я тебя брошу на съедение змеям.

Задыхаясь, визжал Жарылкасын, а она, схватив мальчика за ногу, опустила его головой в колодец. Мы подбежали. Жарылкасын хрипел, пытался цепляться за щебеночные стены колодца, но тогда старуха еще ниже опускала его, потом поднимала и опускала снова. Падали вниз мелкие камешки, хрипел теряющий сознание ребенок, а она все грозила, что бросит его вниз. Мы не выдержали и заплакали, закричали. Старуха не обращала на нас внимания. Только когда обессилевший Жарылкасын потерял сознание и безжизненно повис вниз головой, старуха вытащила его и, сама устав, бросила на землю, присев рядом с ним, как хищная птица у жертвы. Когда бедный Жарылкасын очнулся, она потащила его в аул. Мы, потрясенные этой сценой, молча глядели им вслед. Играть нам не хотелось — перед глазами все время стояло обескровленное лицо Жарылкасына.

Вечером мы рассказали об этом случае отцу. Он поднялся и пошел в юрту Ниязовых. Он нашел Жарылкасына во дворе. Мальчик был в бреду. Отец взял Жарылкасына на руки и принес к нам в юрту, пытался напоить его молоком, говорил ласковые слова, но мальчик ни на что не реагировал. Тогда отец положил его на постель у края юрты и приподнял кошму, чтобы мальчика овевал свежий ветер. Нам он велел не беспокоить маленького мученика и вышел из юрты.

Жарылкасын лежал неподвижно, дышал тяжело, губы

его побелели. Изредка он что-то невнятно бормотал и вскрикивал. Это все было так ужасно, что мы, затаив дыхание, не могли оторвать глаз от постели.

Отец вернулся, неся в подоле халата собранную им целебную траву. Отварив в котле растения, он отлил настойку в пиалку, поставил в холодную воду и, когда питье остыло, постарался влить его в рот мальчику. Сестрам велел положить примочки на голову. У мальчика был жар, платки быстро высыхали, и их часто приходилось менять.

В тревоге и суете вокруг Жарылкасына прошла бессонная ночь. Под утро, когда стало прохладнее, Жарылкасын открыл глаза и, придя в себе, оглянулся. Не понимая, где он находится, закричал и заплакал. Отец ласково его успокаивал:

— Не бойся, не бойся!— и, отворачиваясь, гневно проклинал злую старуху:— Ох, будь она проклята, сумасшедшая Айдын!

Потом он взял Жарылкасына на руки. Сестра принесла отвар, и отец заставил Жарылкасына выпить всю пиалу, а потом выкупал его. Жарылкасына начала трясти лихорадка. Тогда его напоили молоком и, укутав, снова положили в постель.

Уже рассветало. Жарылкасын уснул, мы тоже пошли спать. Так он пролежал у нас больше недели, пока не поправился. По примеру отца и мы старались окружить его вниманием и нежностью.

Суеверная Айдын признавала в ауле только моего отца. По-видимому, это было связано с воспоминанием молодости. Когда она была привезена в аул в жены к троюродному брату моего отца, уважение аула к молодому Момышу передалось и ей. Она и в старости звала его не по имени, а «грамотным юношей», и, видимо, его авторитет заставлял Айдын обходить нашу юрту, где нашел пристанище Жарылкасын. Через некоторое время ее сын Сайлаубай заявил свои права на Жарылкасына. Я помню строгое лицо отца и гневные его слова:

— Его отец,— он показал на Жарылкасына,— был не менее состоятелен, чем ты, был человеком не хуже, а лучше тебя. Почему ты уверен, что твоих сыновей не постигнет такая судьба, как этих сирот? А что, если бы из-за этой безумной старухи умер мальчик, и род Шегиров приехал бы сюда требовать кун[1] за убитого? Подумай об этом,

[1] Кун — плата, штраф за увечье, за убийство.

Сайлаубай, что бы с тобой стало?— Он еще долго читал нравоучения и закончил словами:— С твоей матерью я сам поговорю.

Несчастный Жарылкасын, когда его уводил Сайлаубай, долго оглядывался на нас, будто его вели на казнь.

Старуха Айдын после разговора с отцом ненадолго притихла, но потом все началось сначала.

Так вот, моя сестра Убианна была помолвлена с братом Жарылкасына и впервые в ауле увидела своего будущего жениха, поближе познакомилась с ним. И тут-то началось «несогласие их сердец». Отец долго стоял на своем и не хотел нарушать данного слова. Упорствовал отец года три, пока бабушка как-то не посочувствовала горю и не повелела расторгнуть помолвку. Об этом сообщили Мамыту и обещали ему вернуть полученную часть калыма.

Но судьба многих женщин в ауле сложилась не так, как судьба моей сестры. Мне не забыть появления в ауле красавицы Зейпы, дочери Нуртая, известного в роде Байтана, почтенного и состоятельного казаха. Вся его семья как на подбор: пятеро сыновей были рослыми, стройными джигитами-красавцами с немного выдающимися вперед крупными передними зубами. Это придавало им своеобразную надменность. Им было дано прозвище «куректистер», то есть «зубы-лопаты».

Единственная дочь Нуртая Зейпа была похожа на братьев. Я помню ее с первого дня приезда в наш аул, когда она в костюме молодой снохи слезла с коня и с гордо поднятой головой шла по аулу. Она стала женой уродливого пятого сына Нияза от Айдын, заикающегося Даутбая, у которого не так давно умерла первая жена. Как говорят казахи: «Хоть с кривым ртом, пусть байский сын речь держит», или «Длиннорукий (богатый) берет то, что ему нравится, короткорукий (бедняк) довольствуется тем, что ему достанется»...

Итак, этот неотесанный и недалекий умом уродливый коротышка протянул руки к красавице Зейпе, а скот и состояние, большой калым сделали возможной его женитьбу на ней. Может быть, в день этого печального и неравного брака какой-нибудь влюбленный удалец, убитый горем, сидя в юрте, гневно проклинал судьбу и закон, разлучивший его с любимой Зейпой.

Зейпа была стройной, высокой, с гордой осанкой. Ее продолговатое лицо с прямым носом напоминало лица армянок: страстные, огненные глаза, прямые длинные ресницы, большой, но красивый рот. Она ходила уверенно,

ступая по земле свободно, как ее хозяйка, пренебрегая всем окружающим. Такое независимое поведение вызвало в ауле толки об ее невоспитанности: по казахскому обычаю, молодая сноха должна быть тише воды, ниже травы. Зейпа смело нарушала аульный этикет: она не склонялась ни перед Айдын, ни перед старшими братьями мужа, ни перед их женами. В ее взгляде, голосе и поведении всегда чувствовалось презрение и к мужу, и к его родне. Попытки Айдын и ее отпрыска привести гордую женщину к покорности не увенчались успехом... Волевая и независимая, Зейпа одним уничтожающим взглядом заставляла их молчать. Даутбаю доставалось и от матери, и от братьев за то, что он, муж, не умеет держать в почтении жену свою. На все это и на свою судьбу Зейпа, казалось, смотрела с иронической издевкой, черной работой она не занималась, вела себя как аристократка и от своей свободы отказываться не собиралась.

С другими ниязовцами и с нашей семьей Зейпа была в достойно тактичных отношениях. Такой я помню ее в первые годы замужества. К нам она прибегала часто, видимо, желая вырваться из того мира. Я помню ее красиво сидящей на кошме, с откинутой головой, с белым жемчугом зубов, в белоснежном кимешеке и в необычайно красиво повязанном кундик-жаулыке[1]. Я всегда смотрел на нее не отрываясь: какие-то неясные движения чувств рождались в моей душе, неосознанное сочувствие и восхищение, наверное, были написаны на моем лице. Зейпа это замечала и была особенно ласкова со мною.

С наступлением осени ниязовцы откочевывали на зимние пастбища к Ак-кулю и проводили зиму невдалеке от аула Нуртая. К этому времени Зейпа родила дочь-первенца, точную копию Даутбая, и... ужаснулась. Угнетенная всем окружающим, своим горем, она выгнала мужа из юрты и ушла из аула к отцу. И никто не посмел ее остановить.

Начались переговоры о ее возвращении, Зейпа и Нуртай наотрез отказались. Тогда ниязовцы прислали вестника к моему отцу и ко всем нам, усеновцам, с просьбой приехать к ним на помощь, чтобы ответить на обиду, которую они терпят на чужбине, говоря, что уход жены является не частным делом мужа, а целым событием, налагающим пятно на честь рода. И хотя усеновцы ненавидели

---

[1] Кимешек, кундик-жаулык — женские головные уборы.

ниязовцев, они обязаны были защищать честь рода, и около двадцати всадников во главе с моим отцом отправились на выручку ниязовцев. Этот конфликт был значительным событием в округе, по сравнению со всеми остальными семейными неурядицами. Нуртай был крепким и влиятельным человеком, и не так-то легко было его склонить. По бийским обычаям иногда уговаривали, иногда действовали угрозами. Переговоры длились почти целую зиму, а клубок все запутывался и запутывался. Некоторые из наших всадников возвращались обратно. Взамен их уезжали новые. Весь аул жил ходом этой борьбы. Приезжавшие рассказывали, где, в каком ауле шли переговоры, кто и как вел себя, кто что говорил... По рассказам вестников, мой отец, как старший из усеновцев, вел себя как настоящий глава делегации, проявлял дипломатический такт и ораторский талант в бийских спорах. Но Нуртай был неумолим, он не хотел возвращать дочь и предлагал за нее крупный выкуп. На это не соглашались наши.

В то время заботы у казахов были ограничены. Подготовка к весеннему севу из-за малой обрабатываемой площади не представляла собою ничего серьезного. Примитивный сельскохозяйственный инвентарь можно было привести в порядок за два-три дня. Поэтому зимний период мог смело считаться периодом безделья, во время которого мужчины тратили вечера на распивание бузы, дни — на посещение дальних родственников, разъезжали на конях по гостям. В это свободное время какой-нибудь конфликт был лучшим поводом для приезда в тот аул, где происходили события, а тут перетрусившие ниязовцы официально пригласили усеновцев на выручку и действительно нуждались в их помощи. Наш аул, по-видимому, с удовольствием откликнулся на их зов: во-первых, усеновцы были не прочь совершить эту веселую прогулку, а во-вторых, имея зуб на скупых ниязовцев, они хотели покормиться у них согумным мясом.

В зимний период скот не держался в теле из-за скудного корма, поэтому каждый казах старался в ноябре или в начале декабря, пока со скота не сошел жир, накопленный на обильных пастбищах в летний сезон, зарезать несколько баранов, двух-трех нагульных кобылиц. Запас мяса на всю зиму и весну и назывался согумом. Такой запас мяса в холодное время года не требовал особых забот для сохранения. Казахи по характеру и по традициям — народ весьма гостеприимный, а наличие такого запаса обязывало угощать гостя бесбармаком. Если хозяин

не делал этого, его все осуждали. Правда, в нашем районе резалось не столько скота, как в других районах, а гораздо меньше. У нас, земледельцев, рацион в будни был более ограниченный и не каждый день мясной. Мы довольствовались супами, употребляли большое количество хлеба и крупы. Хозяйка дома варила бесбармак лишь по какому-нибудь торжественному случаю в семье или в связи с приездом гостя, поэтому лучшие куски из нашего согума всегда сберегались для гостей. Бывали дома, где мяса было мало, его заранее делили на куски и берегли для желанных гостей, которые, по мнению хозяев, должны прибыть в эту зиму. В устной хозяйской «домашней книге» разные куски носили названия: доля такого-то... Поэтому мы, детвора, всегда радовались гостям и были приветливы с ними, так как знали, что в день их посещения будет обязательно бесбармак. Кстати, должен сказать об особенности бесбармака в наших краях, отличающей его от бесбармака степняков-скотоводов.

В нашем бесбармаке больше теста, чем мяса, а у степняков на целого барана шло не более килограмма муки,— то есть каждый щедр тем, чем богат. Недостаток в мясе заставил наших хозяев придумать новое блюдо и подавать своеобразное первое и второе, как у русских. У нас сначала поили гостей чаем, так как мы не могли поставить на стол полбарана, как степняки. Сперва блюдо наполняли тестом и подавались вместо закуски кости с мясом. Пока гости ели, обгладывали кости, готовилось второе блюдо с основным мясом. Второе блюдо называлось «нарын», или «тураган-ет»: мясо разрезалось на мельчайшие куски, тесто — так же, все это заливалось наваром — бульоном, и получалась своеобразная густая лапша. Однажды гостивший в наших краях степняк, привыкший набивать полный рот мясом, принимаясь за второе блюдо, со стоном схватился за челюсть. Сидевшие рядом встревожились, думали, что с гостем случилось несчастье. Тот, не смущаясь, сказал:

— Ой, ой! величиной с ноготок мясо на зуб мне попало.

Так скотоводы-степняки издевались над нами, землепашцами...

Так почему же нашим свободным усеновцам не наслаждаться вольной жизнью, числясь в гостях, для которых ниязовцы обязаны были расходовать свой согумный запас? Каждый день гостило человек по двадцать — тридцать, ведя бесконечные переговоры по конфликту. Устав

от этих дел, посредники давали враждующим сторонам два-три дня на обдумывание предложений, сделанных биями, а сами разъезжались на отдых, гостить у своих дальних родственников. Потом снова собирались, и эта своеобразная «межродовая ассамблея» длилась полтора — два месяца.

Нуртай стоял на своем, и Зейна не хотела ни за что возвращаться к нелюбимому мужу в нелюбимый аул. Видимо, в Нуртае заговорило отцовское чувство к своей единственной дочери, судьбу которой он так печально решил. Казалось, он хотел загладить свою вину.

Требования наших сделались настойчивыми и решительными. Нуртай, утомленный затянувшейся борьбой, предложил решить вопрос «войной». Его первым предложением было, чтобы зять, ненавистный ему Даутбай, назвал имя любого из его пятерых сыновей и пошел на поединок. Если победит Даутбай, то он возвращает ему дочь, если же победит сын, то Даутбай платит штраф и лишается прав претендовать на жену и возврат калыма.

Наши, взглянув на заикающегося, хлипкого, тщедушного Даутбая и предвидя верное поражение, не могли согласиться.

Тогда Нуртай предложил:

— У меня пятеро сыновей, я — шестой, здесь ниязовцев тоже шесть. Выйдем равными друг против друга.

От этого наши усеновцы отказаться уже не могли.

И вот все усеновцы, кроме ниязовцев и представителей такого же коленного родства — нуртаевцев, поднялись на сопку в роли зрителей у аула Нуртая. Шестеро нуртаевцев выстроились против шести ниязовцев. Стороны были вооружены плетками, чокпарами[1] и камнями, спрятанными за пазухой. По условному сигналу стороны галопом помчались друг на друга. Во время проскоков враги бросали друг в друга камни. При столкновении коней пускались в ход чокпары. Борющиеся проносились мимо друг друга, снова возвращались и снова налетали один на другого. В три захода нуртаевские сыновья ловкими ударами своих чокпаров уже свалили троих неуклюжих ниязовцев. Тут, подогретый победой, один из сыновей двоюродного брата Нуртая, стоящий среди зрителей, не выдержал, с гиком скатился с сопки и бросился на ниязовцев седьмым. Это было полным нарушением условия. Тогда мой дядя, горячий Момынкул, молниеносно соскочил со

[1] Чокпар — палица — боевое оружие старины, тяжелая дубинка с шарообразным утолщенным концом.

своего коня, подбежал к моему отцу, потребовал, чтобы тот сошел со своей гнедой кобылицы. Отец, растерянный, подчинился ему. Дядя взлетел на кобылицу, схватил лежавший длинный кол и помчался на нуртаевцев. Он носился по полю битвы, как когда-то на диком кашагане, догоняя и сбивая нуртаевцев, и мгновенно выровнял счет. В конце боя дядя свалил с коня самого Нуртая, и Нуртай, потеряв сознание, остался лежать на земле. Исход боя был решен. Оставшихся в седле нуртаевцев дядя преследовал до самого аула. Мой отец бросился к Нуртаю и приподнял его голову. Нуртай, придя в себя, спросил:

— Это ты, Момыш?

— Ты же сам хотел этого, Нуртай, ты же не хотел по-мирному,— ответил отец.

Старик Нуртай, махнув рукой, слабым голосом сказал:

— Будь ты сам бием — судьей. Ах, как жаль, что тот дурак вмешался!

Отец дал знак прекратить бой, сойти с коней и на два дня разойтись и подумать.

На третий день Нуртай прислал гонца. Наши приехали в аул к Нуртаю.

Отец присудил небольшой штраф Нуртаю, как нарушителю пути, протоптанного дедами и отцами. А Зейпе пришлось вернуться в ненавистный дом.

Дядя всю жизнь любил хвастаться своей победой, считал себя спасителем чести не только Даутбая, ниязовцев, но и нашего маленького рода усеновцев.

Отцу это не нравилось, поэтому он всегда укорял своего брата за неблагодарный удар, нанесенный старику Нуртаю.

— А что тебе, сыновей его было мало?— говорил он.

Мне пришлось увидеть Зейпу через полтора-два года.

От той женской удали и независимости в ее характере не осталось и следа. Она, видимо, не следила за собой, опустилась. Былой белоснежный головной убор ее потемнел, в ее движениях уже не было той грации, и глаза ее не смотрели так вызывающе и гордо, они потускнели. Говорили, что она покорно переносит теперь жужжание безумной Айдын, а уродливый муж даже покрикивает на нее, проявляя мужскую власть.

Так феодальный обычай, жестокий закон родового устройства и темная сила калыма по-своему укротили строптивую Зейпу, убили в ней гордую человеческую душу и большие чувства. Она стала покорна своей женской судьбе.

...В 1944 году, когда я заехал в аул, чтобы выразить соболезнование семье моего умершего дяди, в числе запоздавших вошла в дом сутулая женщина с неряшливо опущенным на глаза платком. Я, не узнав еще кто это, поднялся, чтобы приветствовать. Женщина с искренним движением души и ласковыми словами старшей обняла меня. Когда мы уселись на кошме, она начала расспрашивать, как мое здоровье в это «неровное время войны», и принесла извинение за свое опоздание. Тут, при свете керосиновой лампы, что была подвешена посреди комнаты, я узнал Зейпу. Она сидела изможденная. Тусклый свет подчеркивал темные линии морщин; беззубый рот ввалился. Я не удержался от возгласа:

— Почему вы так быстро постарели?

Зейпа кивнула головой и сказала:

— Как же не постареть? Ведь я восемь щенков твоему родичу принесла!— Это было сказано с горечью.

Старик Ошакбай покачал головой и неодобрительно бросил:

— Из всех женщин аула ты, Зейпа, самая счастливая. В дверь твоего дома не постучала война: и муж с тобой, и дети при тебе.

— Все, кто носит мужскую шапку, оказались годными и пошли решать судьбу народа, защищать его честь,— ответила с вызовом Зейпа.— А Даутбая, видно, мать родила лишь для того, чтобы сторожить меня.

В ее словах я услышал то великое презрение к насилию, которое в глубине души Зейпы — жертвы калыма — до сих пор еще не умерло.

Вернемся к замужеству моей сестры. После расторжения отношений с Мамытом, когда об этом стало известно, к нам стали наезжать из других родов искатели невест или их посредники — сваты.

— Пусть выберет сама, коль не захотела выйти замуж за Мамыта,— решила бабушка.

Сестра подросла. Ее освободили от черной работы, стали лучше одевать и посадили за рукоделие. Она выучилась искусству вышивки, изучила все узоры казахского орнамента, научилась ткацкому делу, стала носить множество серебряных украшений на шее и на груди, в косах, на всех пальцах рук и на шапочке с перьями. Она пела песни, участвовала в айтысах, повеселела от своей свободной жизни и на все предложения давала уклончивые ответы. Сестра и не заметила, как пошел ей двадцатый год. Ее

даже стали упрекать, говорить, что она скоро станет старой девой.

Однажды к нам приехали двое верховых, один из них был Балтабай — из рода батырбековцев, а другой, с редкими пробивающимися усиками,— неизвестный джигит лет двадцати. Отца дома не было. Гостей потчевали чаем. Молодой, когда пил чай, все время сидел молча, смущенно тянул чай из пиалы. Он проронил несколько неловких фраз, обращаясь к сестре.

После отъезда гостей мы с младшей сестрой начали их копировать. Старшая сестра сначала смеялась, а потом почему-то рассердилась. Нас это забавляло, и мы до того громко смеялись, что оба получили по тумаку. Вечером приехал отец. Мы воспользовались отсутствием Убианны и, перебивая друг друга, рассказали отцу о гостях, карикатурно воспроизводя их жесты и мимику, а младшая сестра сказала: «Наверное, Убианне понравился джигит, потому что она рассердилась и побила нас за то, что мы показали, как они пили чай». Отец нас выслушал, посмеялся и велел об этом забыть.

Он нам рассказал анекдот о неловком джигите. Был один бай, живший с достатком во всем, и у него рос балованный сын. Этот сын объездил всю округу, осмотрел всех красавиц, но он был до того надменен, любил только самого себя и считал себя умнее всех, что ни одна девушка не устраивала его: одна казалась ему некрасивой, другая неумной, он хотел найти себе только умную и красивую. Но ни одна из встреченных девушек, по его мнению, не сочетала красоту и ум. Так он долго не мог подыскать себе невесты. Однажды он отпросился у отца в еще более дальний путь. Отец дал разрешение, и поехал джигит в дальние края, побывал в сотнях аулов, глазел на всех девушек, и опять ему ни одна не понравилась... Остановился он в один из дней у белой юрты. К нему навстречу вышла красивая девушка, предложила путнику сойти с коня. Он слез с коня, вошел в юрту, сел и залюбовался красотою девушки, которая спокойно приготовляла кушанье для гостя. Чай закипел. Девушка ловко и грациозно накрыла дастархан и стала угащать путника.

Джигит думал: красота ее мне подойдет, а умна ли она — дай-ка я ее испытаю.

В дверь юрты на дворе видны были несколько пней разного размера, лежащие на земле.

— Девушка, скажите мне, пожалуйста, сколько вот та-

ких пней сможет поднять лошадь? — важно задал он ей вопрос.

— Хороший конь — один, а плохой и два подымет,— ответила спокойно девушка.

Джигит подумал: «Вот так дура! Плохой — два, а хороший — один. Нет, не подходит она мне». И, разочарованный, холодно попрощавшись с девушкой, уехал.

Приехал домой и рассказал отцу.

— Объехал я аулы и за семь дней нигде не встретил достойной мне невесты. Повстречал я одну красавицу, но она оказалась до того глупой, что на мой вопрос ответила, что хороший конь поднимет один пень, а плохой два потянет.

Тут его прервал рассерженный отец:

— Дурак! Ты, значит, не понял ее слов! Она сказала, что ты по два баурсака тянул с дастархана. Не она, а ты глупец.— И он поколотил немножко своего неумного сына.

Этот рассказ отца рассмешил нас до слез. Мы с младшей сестрой прямо покатывались от смеха и в последующем разыгрывали встречу байского сына с остроумной красавицей для всех аульных ребят. Это было веселое представление.

Через две недели снова приехал Балтабай, на этот раз один. Поговорив о чем-то с отцом, он уехал. Нас, малышей, не вводили в курс этих разговоров и отсылали играть.

Как-то мы с отцом были в районе зимовки. Отец косил клевер. Под вечер мы собрались возвратиться в аул. Вдруг приехал Балтабай. Отец отослал меня поискать брусок, которым точат косу. Я искал, искал и никак не мог найти.

Вдруг я увидел джигита. Держа коня за поводья, стоял молодой человек, знакомый нам: он приезжал в аул вместе с Балтабаем. Молодой человек подозвал меня, спросил, как зовут, и подарил мне несколько конфет. Хвалил меня, говорил, что я хороший мальчик, и делал все, чтобы польстить мне. Я почуял что-то неладное и начал осматривать его с любопытством. Он был крупного телосложения, грубоватый, узколобый, с припухшими веками, большим носом, загорелый. Пальцы его рук казались непомерно большими, и, когда он давал конфеты, я обратил внимание на его огрубевшие, мозолистые ладони. На этот раз он крутил самокрутку с махоркой. Одет он был неплохо, но чувствовалось, что эта одежда для него непривычна

и оттого сидит неловко. Когда я вернулся к отцу, Балтабай уже прощался с ним.

— Парень незнатный, простой и честный труженик, недавно вернулся из армии.

— Хорошо, Балтабай, мы подумаем. Дай нам время с сердцем согласовать,— ответил отец.

В сватании первые посредники при переговорах назывались жаушами. Жауши подыскивали подходящих девушек по просьбе жениха. Под каким-либо предлогом они приезжали в аул к девушке вместе с будущим женихом, чтобы молодые могли увидеть друг друга, не объявляя пока никому об истинной цели своего приезда. Если джигиту нравилась девушка, он повторял свой визит. Жауши рекомендовал жениха и добивался согласия родителей на переговоры о калыме.

Балтабай в этой роли приезжал еще несколько раз и через полгода добился согласия на переговоры. Кажется, за это время сестра и Аюбай имели несколько «случайных» встреч на тоях, вечеринках и других торжественных сборах соседнего аула. Когда сестру спрашивали, как она относится к этому кандидату на ее руку, она, потупив глаза, отвечала, что, мол, она — теленок на привязи у родителей, что воля бабушки и отца для нее — священный закон. Даже я тогда понимал, что это означает «да».

Недели через две Балтабай привел человек семь верховых из родни Аюбая с официальным визитом. Приехали свататься. Начались переговоры о калыме. Установленный в наших земледельческих краях калым — шестнадцать кобылиц (в скотоводческих областях сорок одна) — обсуждению не подвергался. Возможны были эквивалентные замены: так, одна кобылица равнялась двадцати баранам или двум-трем коровам. Весь ход переговоров мне не был понятен, но я знал, что отец настаивал на тое и проводах девушки не раньше, чем через полтора-два года. Сваты не соглашались.

Теперь, вспоминая все детали разногласий между сторонами, я думаю, что отец настаивал на этих сроках подкалымного периода, желая иметь достаточный резерв времени для свадебных приготовлений и подготовки достойного приданого, ибо он не был настолько богат, чтобы сразу закупить необходимое. Возможно, он настаивал еще и потому, что эти годы до замужества были периодом игры в подкалымную, что в настоящем смысле этого слова означало «ходить в невестах», когда молодые встречались на началах равенства. От старших женщин я часто слышал:

«Я в невестах ходила два года и только на третьем году замуж вышла». Этот период женщина вспоминала с гордостью как трогательную девичью пору. Возможно, отец хотел, чтобы у Убианны была именно такая пора. Но сваты стремились закончить все побыстрее: они не доверяли отцу, расторгшему уже одно данное обещание, и невесте, которая «вдруг возьмет, да и уйдет за это время к другому, по новому порядку, а потом — разбирайся». Все это усугублялось тем, что такие случаи уже были после официальной отмены калыма, и обычно родители «изменницы» не хотели и говорить о возвращении полученного скота или же возвращали ничтожную долю. Официально предъявлять иск было рискованно, потому что калым был объявлен вне закона. Вот почему сторона жениха, чтобы не остаться в дураках, старалась получить невесту немедленно после уплаты калыма. Бывали даже такие случаи: сначала под честное слово брали невесту, а потом платили калым. Но честное слово тоже бывало неустойчивым. Как всякое беззаконие, калымные переговоры совершались долго. Договаривающиеся с трудом преодолевали взаимное недоверие, потому что бывало и так: какой-нибудь прохвост свою дочь или сестру «закладывал» по нескольку раз, получая аванс от разных лиц в счет калыма, а после ничего не признавал.

Бывало, что получивший калым нарушил слово. Тогда обиженный находил в ауле обидчика какую-нибудь свою родственницу, которая была замужем за родственником обидчика, заманивал ее к себе в аул в гости, и тогда бедную женщину всем аулом уговаривали не возвращаться домой, остаться в заложницах, пока обидчик не удовлетворит иск. Из-за сочувствия к обиженному, борясь за честь своего девичьего рода и за то, чтобы «не унижать свою кость», та соглашалась. Эта своеобразная барымта[1] женщинами была одним из средств заставить получившего калым сдержать слово или оплатить неустойку.

Попадались девушки и женщины, которые смело пользовались своими новыми правами, бросая вызов феодализму, разрушая установленные вековые законы. Несколько позднее я был свидетелем женских «забастовок и бунтов», что в свое время изложу в дальнейших записях. А пока я хочу сказать, что казашкам и казахам очень трудно было порвать гнетущую традицию, несмотря на то, что калым был запрещен после Октября.

Однажды после базарного дня к нам в аул приехало

[1] Барымта — насильственный угон скота.

десятка два верховых из аула Аюбая во главе с их почетным старцем Онгарбаем, двоюродным дядей Аюбая. Угощение было более щедрым, чем в первый раз, делались взаимные подарки. Переговоры закончились соглашением. Сваты уезжали в хорошем настроении, пожелав счастливого исполнения всего, о чем было договорено. Через неделю нас пригласили в аул Аюбая за получением первой части калыма. Отец не поехал сам, поехал дядя в сопровождении десятка верховых из нашего аула. Через день они пригнали пять лошадей, пару волов, тридцать баранов. Кроме того, были сделаны подарки — в ответ на наши, преподнесенные при последнем визите.

Убианна ходила грустная. Я не знаю, но, возможно, она переживала свое новое положение «подкалымной» (помолвленной), налагающее ряд ограничений. Может быть, она была огорчена и потому, что ее собираются выдать замуж. Я внимательно следил за ней, вначале с братским сочувствием к ее грусти, потом с любопытством, но когда заметил, что все это притворство, я был очень огорчен, болезненно переживал первое столкновение с этой чертой женского характера. Моему разочарованию не было предела, потому что сестру я очень любил; она была мне не только сестрой, но и заменяла мать. Никто в нашей семье так не переживал ее ухода из дому, как я. Мой детский эгоизм и детский разум, видимо, полагали, что она вечно будет со мной.

Полученный калым был немедленно продан. Дядя стал привозить с базара разные украшения и материалы для сестры. Убианна стала одеваться чище, наряднее и продолжала заниматься рукоделием. Наша юрта превратилась в своеобразную мастерскую, наполнилась узорными тканями, вышивками, ювелирными изделиями. Бабушкино «обязательное» — «на новое место приедешь со всем жилищем, постелью и домашней утварью» — я понимал как приданое.

Через шесть месяцев Аюбай со своим товарищем Ондасом в сумерках приехали для первой встречи с невестой. Жених остался невдалеке от аула в укрытой балке, а его товарищ с двумя сумками подарков пришел в аул с сообщил о цели их приезда: о первом свидании невесты с женихом наедине на всю ночь. С этого обычно начиналась игра с подкалымной невестой.

Увидев подарки, молодые женщины нашего аула поспешили достойно встретить жениха. Неожиданно сестра энергично запротестовала и отказалась встретиться с женихом. Все ее уговаривали, но тщетно. Она, бледная, задыхаясь, с гневом в голосе сказала:

— Как ему не стыдно! Почему он так спешит? Ведь впереди еще целый год! Передайте ему, что за такую поспешность я стану только презирать его! Как же так?— спрашивала она с возмущением.— Как же без моего согласия, без всякого предупреждения он смел приехать?!

— Что ты, милая! Таков обычай наших предков, да покоятся их души в раю... Он ведь твой жених!— начала было увещевать одна из родственниц.

— Пока я в доме отца, я ему не жена!— бледнея, кричала Убианна.— Если он повторит еще раз свой визит, я ему не невеста!— отрезала она.— Так и передайте ему.

Я был поражен, я никогда не думал, что наша Убианна, всегда такая спокойная и уравновешенная, вдруг может бунтовать, требовать таким не терпящим возражения тоном. Я как-то по-новому посмотрел на свою сестру, как будто увидел ее впервые. Она стояла, опираясь рукой о сундук, словно кто-то мог ее схватить и увести силой. Ее продолговатое лицо с прямым, тонким носом и нервными ноздрями побледнело еще больше. Тонкие губы дрожали, взгляд в гневном протесте перебегал с лица одной женщины на лицо другой. Ее худая рука с тонкими пальцами перебирала конец длинной косы с шолпами, как будто она хотела ею замахнуться. Гладкие темные волосы, зачесанные на пробор, подчеркивали строгость ее лица. За высокий рост и тонкую талию она получила прозвище Талшибык — гибкая, как тальниковый прут. Эта гибкость и плавность в движениях придавали ей необыкновенную женственность и обаяние.

Получив отказ, жених, напрасно прождав часа три в балке, уехал со своим товарищем. Ондас хотел оставить сумки с подарками, но Убианна категорически запротестовала:

— Нет, нет. Не надо! Ради бога, умоляю вас, не оставляйте!

Поступок Убианны вызвал тревогу в ауле Аюбая. Оттуда начали засылать своих разведчиков — женщин, чтобы узнать о настроении невесты. Видимо, там раздумывали, следует ли платить оставшуюся долю калыма. Под разными предлогами женщины гостили у нас, говорили с нашими женщинами, с Убианной. Я к ним доступа не имел.

Женский мир наших аулов оживился: вступили в свои права уговаривающие, рекомендатели, устные почтальоны... Так прошло еще шесть месяцев. В нашем ауле продолжалась усиленная работа: катались кошмы, расшивались ткани, вышивались украшения... Приходили мастери-

цы, художницы по орнаменту, советчицы-старухи. Все готовые вещи вынимались и разворачивались перед ними, получалась целая выставка. Спрашивалось их мнение, женщины делали свои замечания, некоторые оставались помогать. Скот у нас все убавлялся и убавлялся, каждый базарный день что-нибудь да продавали и на полученные деньги покупали для сестры приданое.

Видимо, Аюбай через своих послов получил от Убианны согласие на въезд в наш аул. Как-то вечером снова появился Ондас с сумками. На этот раз все были с ним приветливы и вежливы, шутили, кокетничали, намекая на предстоящее свидание. На отлете от аула поставили юрту, Ондаса с сумками увели туда. Отау[1], где впервые должны были встретиться жених и невеста, была обставлена торжественно, туда пригласили Аюбая. Он и его товарищ сидели на почетном месте. Собралась аульная молодежь. Девушки и молодые женщины приоделись по-праздничному и пришли с визитом вежливости — знакомиться с женихом; каждая из них старалась блеснуть красноречием, остроумием или просто кокетством; они звонко смеялись, но держались тактично, чтобы не показаться невоспитанными.

Некоторые задавали Аюбаю хитроумные вопросы, облеченные в форму загадок, вроде: «Откуда сегодня взойдет луна?» Неловкий Аюбай отвечал: «Кажется, давно взошла луна, ведь стемнело!» Его простодушный ответ и прямое понимание образного намека на невесту вызывали общий смех. «С какой стороны от вас звезда Шолпан и луна?» Аюбай отвечал, что не знает, так как он сидит в юрте. Женщины опять смеялись, Аюбай беспомощно смотрел на своего товарища, как бы жалобно прося: «Спасай, тону!»

— Не родня ли вам созвездие Большой Медведицы? — не унималась одна из женщин, явно издеваясь над тупостью Аюбая. Она намекала на легенду об этом созвездии — об украденной невесте и женихе, несущимся по небесам, — и с деланной тревогой вопрошала: — Быть может, с вами опасно знакомить светлую звезду?

Окончательно сбитый с толку, Аюбай неуверенно бормотал, что эти созвездия он не знает и что он никогда не был вором. Последние слова он произнес с ноткой обиды, что тоже вызвало смех.

---

[1] Отау — юрта молодых или жилище отделявшейся от родителей новой семьи.

— Вы когда ожидаете полнолуние?— спросила одна из женщин.

Аюбай ответил, что он не звездочет и поэтому не знает, и что в их ауле тоже нет звездочета, у которого он мог бы это спросить. Взрыв смеха потряс юрту и окончательно сконфузил Аюбая. Тут вмешался его товарищ Ондас. Теперь с ним началась пикировка. Но Ондас из стреляных птиц...

Подали чай, затем ужин. Аюбай, сконфуженный и смущенный, терялся все больше. Пот лил градом с его лица. Жених вытирался то кушаком, то платком. После ужина Аюбая окончательно загнали в тупик в айтысе. Ондасу пришлось солировать. Аюбай только следовал за ним и подпевал. У него оказался грубый бас, и, несмотря на все старания, Аюбай с первой же ноты расходился со своим напарником, слов песни он тоже толком не знал.

Время приближалось к полуночи, и старшая тетка, управлявшая вечеринкой, дала нам команду — по домам, разрешив остаться только нескольким женщинам — подругам и взрослым девушкам.

Меня больше не выпустили из дома. О последующих в эту ночь событиях я узнал от других спустя много времени.

Убианна, сидевшая в другой юрте, имела своих агентов и от них каждые пять — десять минут получала точные донесения из гостевой юрты. Когда подруги пришли за ней, чтобы повести ее к жениху и представить ему, она наотрез отказалась от свидания, и женщинам аула стоило много труда уговорить ее. Они сказали, что, мол, это нехорошо, так как жених и его товарищи приехали с ее согласия как гости и теперь сидят и ждут свидания с ней. Долго шли уговоры, мольбы, приводили доводы и, наконец, под самое утро, перед рассветом, ее уговорили и повели. Утомленные долгим ожиданием, гости и в особенности Аюбай, которому порядком досталось на вечеринке, сидели подавленные и сонные. Когда ввели Убианну, они не встали с места, как этого требовали вежливость и такт. Убианна же наговорила им всяких дерзостей и, не подав руки, заявила, что прежде чем в женихах ходить, нужно научиться отвечать на вопросы молодых женщин и девушек и уметь держать себя в обществе.

Резко повернувшись, Убианна ушла.

К этому времени уже начало светать, а по обычаю, жених должен был покинуть пределы аула до рассвета. Женщины пытались успокоить Аюбая, говорили, что они

сделали все возможное, что он сам тоже должен признать свою вину, скоро гнев невесты пройдет, и она остепенится. Жених после обнадеживающих разговоров вынужден был выехать до рассвета, а его товарищ Ондас попросил женщин не рассказывать обо всем происшедшем.

На следующий день Убианна швыряла все, что ей попадалось под руку, забросила работу над приданым и стала такой грустной, что мы все старались ее не раздражать. Спустя несколько дней она заявила, что не пойдет за Аюбая, но отец дал ей понять, что второй раз свое обещание он не собирается нарушать.

Аюбай в это время проходил в своем ауле «школу». И через два месяца повторил свой визит, чтобы выдержать экзамен. На этот раз женщины и девушки прикусили свои язычки, так что усиленная подготовка к новой встрече ему даже не пригодилась.

Время шло. Жених приезжал почти каждую неделю. Убианна, видимо, примирившись с тем, что «написанного на лбу не стереть», не бунтовала, как прежде. Приданого все прибавлялось и прибавлялось, а скот у нас убавлялся.

Свадьба была уж не за горами. Ее приурочили к середине сентября, к самому концу уборки урожая.

Свадебные приготовления не прошли гладко. Аульные и волостные власти вызывали отца на допрос о калыме или же сами приезжали к нам, угрожая разоблачением, пугали и другими способами — приводили уполномоченных. Отец, видимо, знал, что кое у кого из них, пробравшихся нечестным путем в органы милиции, тоже рыльце в пуху, знал их психологию и понимал, что все это делается, чтобы получить взятку. Он говорил:

— Не я один в округе так поступаю, а если одному из вас дать кусочек, то завтра за такими кусочками явятся еще люди, подобные вам, а у меня не хватит состояния, чтобы угодить всем бездельникам. Всех бояться я не могу. Идите и доложите большому начальнику, а перед ним я готов держать ответ.

Спустя некоторое время привезли большого начальника (видимо, начальника участка милиции, куда входила и наша волость). И что же? Он с первого взгляда влюбился в Убианну и вместо допроса начал уговаривать отца выдать дочь замуж за него, обещая большой калым. Он был уже женат и хотел взять Убианну второй женой. Отец не мог пойти на это. Начальник старался уговорить, но, убедившись в непреклонности отца, впал в другую крайность — стал угрожать.

Скоро этого «блюстителя порядка» и самодура перевели с нашего участка на соседний, расположенный на территории Киргизии, а потом, как мы позднее узнали, опозоренный начальник был отослан высшими властями к себе в аул без права занимать какие-либо должности. Отец мне ничего не рассказывал, но я подозревал, что дело не обошлось без его рук...

Вскоре отец открыто объявил, что он выдает замуж дочь Убианну за Аюбая в такой-то день сентября и устраивает по этому случаю той, на который приглашаются все желающие весело провести два-три дня.

Недели за две до тоя Убианна отправилась в сопровождении двух молодых джигитов и трех женщин из нашего аула прощаться со всеми дальними родственниками. Эта традиционная прогулка предусматривалась, по-видимому, для того, чтобы девушка в последние дни могла свободно подышать воздухом, повеселиться в окружении внимательных родственников как по женской, так и по мужской линии. У нас же, как и у других казахов, их был не один десяток: четыре сестры отца, два брата бабушки, мой родной дядя по матери, дядя и тетя по отцу, родня мачехи, родственники жен моих двоюродных и троюродных братьев. Короче, кровные связи и родовые корни были разбросаны в радиусе полутораста — двухсот километров от нашего аула.

Перед отправкой Убианны бабушка устроила своеобразную выставку приданого. День выдался ясный. Собрались все женщины нашего аула. Долго они советовались и наконец выбрали на отшибе близ аула зеленое поле и начали перетаскивать туда все приданое, раскладывать и разворачивать его на земле, как будто собирались сушить на солнце. Сначала развернули большой бабушкин ковер, который она подарила внучке к свадьбе. Цветистые узоры ковра яркими красками заиграли на солнце. Рядом с ним положили ковер поменьше, моей покойной матери, привезенный бабушкой в числе другого приданого. Женщины отдыхали и любовались красотой только что воздвигнутого громадного остова юрты, пересеченного квадратами клеток, опутанного множеством крашеных канатов, лент, кистей и бахромой. Потом накрыли юрту белыми кошмами, плотно подогнали их, укрепили веревками и петлями. Женщины приняли торжественные позы, и после маленькой паузы старшая из них обратилась к Убианне:

— Войди в свое жилище, светик мой! — пригласила она ее, указывая на дверь.

Сестра вошла первой, а за ней остальные... Усталые от работы, женщины присели на голую землю, и каждая по очереди начала выражать от всего сердца добрые пожелания счастливой жизни в этой юрте. Сестра, смущенная и, видимо, огорченная тем, что отделяется от родных, прослезилась. Женщины тоже вытирали слезы, вызванные воспоминаниями об их былой девичьей поре...

Отдохнув с полчаса, женщины вошли и внесли два больших сундука и другие вещи. Начали убирать, стелить, укладывать. Установили украшенную резьбой деревянную кровать, заправили ее, вытащили из сундуков свадебные одежды и развесили их над изголовьем кровати. В углу образовался своеобразный склад девичьего и женского платья. Женское платье было заготовлено, но сестра его еще не носила. Постелили на пол кошмы, ковры и, закончив внутреннее убранство новой юрты, все сели уже как гости. Внесли самовар, накрыли скатерть, рассыпали баурсаки[1], урюк. Началось чаепитие. От мужского пола представителями были только мы, мальчуганы.

За чаем женщины вели деловую беседу, обсуждали, что еще желательно было бы добавить к приданому, что подправить. К концу чаепития тети начали дарить Убианне разные вещи, говоря: «Мое присоедините на память». Одни дарили чашку, другие — пиалу или чайник, миску, нож или ножницы, или еще что-нибудь, необходимое в домашнем обиходе.

— Вот и дом готов! — говорили женщины. — Со своей юртой, со своим хозяйством приедешь. Ни от кого не будешь зависеть, а одежда и постель у тебя есть на двоих. Будь благодарна бабушке и отцу. Не всем такая удача навстречу идет.

Начали расходиться. Я увлекшись баурсаками, урюком и разговорами, оказывается, так долго сидел в новой юрте, что проглядел то, что делалось за это время на улице.

— Апа! Сопровождающие прибыли! — крикнул дядя стоявший снаружи юрты.

Я пулей вылетел в дверь.

Нарядные молодые женщины и девушки лет семнадцати, двое юношей, одетых прилично, но не парадно, были уже готовы к отъезду.

Женщины в ослепительных кимешеках и жаулыках, расшитых кораллами — маржанами. Под подбородками у них висели тумарша (серебряные треугольники, вышитые

---

[1] Баурсаки — шарики из теста, жаренные в масле.

узорами), на шпильках которых были нанизаны красные кораллы с круглой подвеской или монетой. Кундык-жаулык наматывается из десяти-пятнадцати метров материи, с кокардой-вышивкой в центре. Намотать кундык — это целое искусство; материю наматывали так складно, что вечером кундык снимался, как корона, и не терял формы. Длинный хвост кимешека сзади висел, как фата. На одной из женщин было пальто из черного бархата, подбитое спереди коричневым мехом и окаймленное серебристо-белым галуном. Из-под пальто видна была белая с оборкой длинная юбка, пояс из красной материи с серебряной пряжкой перехватывал в талии черный бархат. Другая была разодета тоже по-праздничному, только чапан у нее был из зеленого бархата, перетянутый расшитым многоцветным поясом с бахромой. Женщина была в высокой меховой шапке с голубым бархатным верхом, расшитым кораллами. На шее в несколько рядов висели коралловые бусы. Бешмет с серебряной застежкой у пояса подчеркивал тонкость талии и складками разбегался к низу. Бархат по обеим сторонам был обшит серебряными украшениями. Эта женщина тоже была в светлой с тремя оборками юбке, такой широкой, что если бы она взялась за концы ее и закинула руки над головой, веер юбки не открыл бы ног. Она была в красных сафьяновых сапожках на каблучках.

По приглашению бабушки женщины вошли в юрту. Одна из них горячо поздравила Убианну и сказала, что они будут сопровождать ее в «счастливую поездку». Джигиты же стояли у входа, так как им не положено было входить в юрту невесты. После взаимного приветствия приступили к одеванию Убианны. Светло-розовое со множеством широких оборок платье в тяжелых сборках, синий бархатный бешмет сидели на ней хорошо. Совиные перья качались на меховой шапке. В косах, еще более удлиняя их, серебряными каплями звенели шолпы. Убианна обулась в расшитые сапожки на высоких каблуках. На шее было столько бус, что, казалось, их нельзя сосчитать. Грудь была покрыта множеством серебряных украшений разного размера и узора. На всех пальцах было по нескольку колец, браслеты сжимали запястья рук. Тут я впервые заметил, что ногти сестры покрашены красной хной. Для казахов этот обычай не был типичным, и только наш район перенял его от узбеков.

Бабушка вручила невесте отделанную серебром и медью камчу и пожелала счастливого пути. Все вышли из юрты,

Дядя подвел оседланного вороного иноходца. Сбруя коня Убианны отличалась от других более богатым убранством и блеском. Украшения Убианны, парадная сбруя для лошади делались и чеканились руками моего отца, ему помогал дядя и даже я.

Дядя и джигиты помогли женщинам взобраться на коней. Подошел отец, по его знаку все молитвенно сложили руки и, выслушав пожелания счастливого пути, двинулись.

После отъезда сестры в ауле шли завершающие приготовления к тою. Дядя разъезжал по базарам, продавал скот и возвращался с наполненными сумками. Некоторые джигиты аула по просьбе отца отвозили зерно на помол. Отец взялся за ювелирные работы. Я был у него подручным и с удовольствием выполнял свои обязанности. Помогать отцу было вершиной моих детских желаний.

Сначала из глины делалась чаша нужной формы с продолговатой выемкой, туда клали серебряные монеты. Над чашей складывался маленький шатер из наколотой щепы, его поджигали, и я смотрел, как вспыхивала щепа и краснела чаша. Отец щипцами перекладывал угольки. Я помогал ему раздувать ручной домашний мех, сделанный из козьей шкуры. Потом над чашей появлялось синее пламя, внутри начинала блестеть, как ртуть, расплавленная масса металла. Потом отец давал ей немного затвердеть и затем опускал серебро в чашу с холодной водой. Вода шипела, и пар поднимался над чашей. Отец ковал маленькими молоточками на наковальне, точил маленькими, разной формы, напильниками, выбивал выпуклости на кольцах или браслетах, потом рисовал карандашом узор и тонкими лезвиями набирал насечку на серебро. В эти минуты в юрте наступала тишина. Я следил затаив дыхание, боясь пошевелиться и помешать этой тонкой работе.

Но вот изящный рисунок ложился на серебро, и тогда отец начинал шлифовать его песком, протирать шерстью, припаивал застежки и потом, посыпав белым порошком, который он называл «мусятыр» (по-видимому, нашатырь), подносил к огню. Когда порошок вспыхивал, браслет или кольцо он протирал о колено, и очищенное серебро блестело. Быть может, в силу этого своего ювелирного таланта, отец в своих рассказах всегда особо останавливался на описании женских украшений и чеканке сбруи.

Слава об искусстве отца распространилась и за пределы нашего аула.

Вспоминается мне еще одна из работ отца — самодель-

ный пистолет, который он начал делать, найдя где-то небольшой кусок стальной трубки. Я помню, как отец приделывал курок, украшал оружие, но, когда все было закончено, пистолет не выстрелил. Это было большим огорчением для отца. Позже он разрядил несколько найденных патронов, набил их порохом и специально для нас, детей, сделал целый взрыв. Так закончилась судьба этого самодельного револьвера.

Убианна вернулась через две недели вместе со своими спутниками, а сопровождавшие ее джигиты вели нагруженного верблюда и четырех лошадей-двухлеток. К моему удивлению, они проехали мимо наших юрт и остановились у стоящей на отлете юрты невесты и там сняли вьюки. Снова собрались женщины. Они приветствовали спутниц с благополучным возвращением и расспрашивали, весело ли те провели время, хорошо ли были приняты родственниками.

В юрту внесли непременный самовар. Основным «докладчиком» за чаепитием была Катшагуль, подруга Убианны, рассказавшая все по порядку, с последовательностью и со всеми подробностями: когда у кого гостили, какие вечеринки проводились и в каком ауле, кто и что пожелал Убианне, чем одарили ее, как устраивались проводы. Свой рассказ она пересыпала удачными запомнившимися ей шутками, песнями, услышанными на этих вечерах. Хвалила одних родственников за хороший прием и внимание, неодобрительно острила по адресу других за их недостаточное усердие и холодноватый прием и проводы.

Женщины слушали с напряженным вниманием, смеялись, удивлялись, одобряли, поддакивали, умилялись не только словами, но и мимикой, кивками и одобрительными жестами выражая свое отношение. Свой трехчасовой рассказ Катшагуль завершила показом привезенных подарков, которые вызвали новые восторги, возгласы, жесты и ужимки.

Оказывается, Серкебай подарил верблюда, а его брат Кульджабай — коня-двухлетку; одна из их жен — тускииз — накроватную кошму, отделанную цветной материей, другая подарила перину с бархатным чехлом; сестра отца — маленький коврик и кожаный чехол для пиал; вторая сестра отца — парчовый халат и серебряный поднос.

Привезенные вещи были присоединены к приданому. Наговорившись и насмотревшись, женщины ушли, а Уби-

анна, переодевшись в обычное свое платье, пришла к отцу с приветом. Отец встретил ее очень ласково, погладил по голове. Растроганная нежной встречей отца, взрослая Убианна заплакала и бросилась, как ребенок, к нему в объятия. Отец, сдерживая свое волнение, взял Убианну на руки, сел на кровать и начал укачивать ее, как маленькую, приговаривая успокаивающие ласковые слова. Младшая сестра Алиманна с торчащими в стороны косичками стояла у изголовья кровати, и по лицу ее тоже катились слезы. Я, никогда еще не видевший проявления столь нежных чувств у отца к дочерям, пораженный слабостью всегда собранной и серьезной Убианны, замер на месте. Наверное, у меня был очень глупый вид, потому что Алиманна подбежала ко мне и стукнула меня кулачком:

— Что ты не плачешь, бессердечный?!

Я тоже ее стукнул, но все же выполнил ее волю и тоже прослезился... Отец засмеялся и всех нас троих, плачущих, заключил в свои объятия.

— На следующий день вокруг невестиной юрты стали устанавливать еще около десятка других юрт, выделенных нашим аулом для гостей, прибывающих на предстоящий свадебный той. К вечеру рядом с нашим аулом вырос другой аул с новой юртой Убианны в центре.

Через день нас, детей, приодели, и весь аул начал готовиться к приему гостей. К вечеру приехал Аюбай в сопровождении семи джигитов. Он остановился в отведенной для него юрте. Юрта, где сидела Убианна, стала называться теперь юртой девушки-невесты, а юрта Аюбая — юртой зятя жениха.

В юртах уже слышался оживленный, беззаботный говор. Каждый настраивал себя к веселью, доносился смех, звонкие голоса. Ржали на привязи кони гостей.

Я понимал, что той уже начался. Покинутый старшими, оставшись без их внимания, я чуствовал себя не лучше, чем кони гостей... Мы бродили в темноте, стараясь где-нибудь увидеть или услышать что-то особенное, но у каждой юрты человек, дежуривший у самовара, нас отгонял:

— Эй, дети, чего вам тут делать?

Те, которые были подобрее, шепотом нас убеждали:

— Вы зачем тут, дети? Сюда маленьким нельзя! От кунаков стыдно будет.— И тоже вежливо прогоняли нас:— Идите! Ступайте! Идите же!

Женщины почти не разговаривали с нами, куда-то торопились и спешили отвязаться от нас, сунув нам в руки баурсаки или какие-нибудь сласти. Было обидно. Мы не

уходили. Пытались потребовать к себе внимания. Но, кроме баурсаков, ничего не получали. Между собою мы говорили шепотом.

Увидев человека, однажды прогнавшего нас, бросались в разные стороны, но потом снова подкрадывались. Так, изрядно набегавшись и устав от своих неудач, поздно ночью мы вернулись в старый аул, молчаливые от злости на свой возраст, не дававший нам права присутствовать на тое.

Настало утро. Солнце поднявшись над горизонтом, положило косые лучи на белизну юрт... Дымились очаги и самовары. Спавший аул начинал постепенно пробуждаться.

Гости просыпаются, идут один за другим к роднику, умываются, потягиваются после сна, лениво и важно возвращаются к юртам. Часов в двенадцать начинают пить чай. Пьют лениво и долго, важно обмениваются фразами, затем подают кумыс, который они пьют тоже долго и лениво. Никто не торопится: спешить некуда. Солнце медленно поднимается к зениту. Нет вчерашнего веселого говора. Все стали серьезными, кого-то ждут. Кого? Ждут назначенного часа, ждут новых гостей. Скатерть убрана. Гости, устав от скуки, отдыхают. Становится жарко. Поднимаются боковые кошмы у юрт, и сквозь клетки остова юрты мы видим издали всех гостей. Они отдыхают, лежа на расстеленных одеялах и подушках... Солнце скатывается к западу. Снова дымятся очаги и самовары. Гостям подают чай. Они долго и медленно пьют. Затем подают бесбармак. Гости, не торопясь, едят, ведут беседы... Все это надоедает нам и мучительно медленно убивает наше любопытство...

Время бежит. Зной идет на убыль. Лучи солнца становятся снова косыми, но на этот раз они ложатся на другую сторону аула...

И вот наконец на горизонте показались люди. Идут разряженные женщины и девушки из соседнего аула, едут мужчины... Вот и с другой стороны показались всадники, вот вдали еще и еще люди — верховые, пешие, женщины, группами и цепью рассыпанные во всю ширину степи. Они окружают дальние подступы к аулу, постепенно приближаются, сужая круг. Скука покидает нас, мы глядим вдаль, рассматриваем приближающихся. Аульные люди стоят в почтительных позах, готовясь к встрече. Вот женщины встречаются с женщинами, приветливо кланяются, чуть припадая на одну ногу. Мы слышим их голоса и улавливаем отдельные слова:



— Да пройдет той счастливо!

И слышим ответ:

— Да будет это совместно с вами!

Смех, звон шолпы, шелест платьев, плавные движения женских фигур. Нам кажется, что женщины не говорят между собой, а выводят какие-то напевы, воркуют, щебечут, что они не идут, а плывут по степи.

Их проводят к юрте невесты. Они поздравляют ее с торжественным днем: «Да будут все дни твоей жизни яркими, как этот день! Да не сойдут с тебя во всю жизнь твои украшения! Да будет всегда твоя юрта, как сегодня, наполнена гостями и радостью!»

Невеста благодарит их за добрые пожелания: «Приятные слова пленяют слух, окрыляют душу, успокаивают сердце, резвят надежды, ваши лица ласкают мой взор. Да сбудутся ваши слова. Я буду обязана вам навеки!»

Женщины с нескрываемым любопытством осматривают убранство юрты, вещи и невесту.

Оглянувшись назад, мы, дети, понимаем, что излишне увлеклись звонкими переливами певучих голосов и грациозными движениями женщин и девушек: показалась толпа конных джигитов, повязавших головы платками. Мы замерли в безмолвном восхищении. Незнакомые лица джигитов, поджарые кони, перетянутые подпруги, врезавшиеся в грудь лошадям... Число джигитов все множится. Стараемся определить их количество, но, умея считать только до двадцати, трудно определить, сколько всадников. Увидев отдельную группу всадников на окраине аула, я говорю про себя: «Здесь будет два раза двадцать». Переношу взор на другую группу. «Нет, здесь будет больше, чем два раза двадцать»,— поправляю себя, и пока высчитываю, сколько «двадцать» в этой группе, с двумя первыми группами сливается третья или показывается четвертая. Джигиты не стоят на месте, и невозможно толком подсчитать их. Увидев еще одну приближающуюся группу, я окончательно сбиваюсь со счета, но все же упорно считаю, уточняю, округляю, отбрасывая «мелочи» в пять-шесть всадников в наконец подвожу итог: «Много»...

Итак, их было, поверьте, много. Я и сейчас говорю много, хотя, быть может, их было две сотни, три сотни, а может быть, просто скромная сотня. Пусть будет последнее, если вас не устраивает мое самое точное «много».

Джигиты не сходили с коней, как это обычно делали приезжавшие гости, а если сходили, то не у юрт, а немного поодаль от них. Я искал знакомые лица, но все джигиты,

перевязанные косынками, казались одинаковыми. Вдруг в проезжавшем мимо всаднике с засученными рукавами я узнал всегда дружившего со мной племянника моей матери по женской линии, моего крестного отца — черноусого Тиняли из наших батырбековцев, другой ветви Усена. Я радостно закричал: «Тате!»[1]. Он обернулся, не останавливая своего коня, затем, узнав меня, повернул в мою сторону и, хитро улыбаясь, слегка придержал коня, на ходу поднял меня и усадил впереди себя.

— А, мурза! Той кутты болсын! Праздник пусть будет счастливым! — И своими блестящими усами пощекотал мне щеку и шею.

Он начал расспрашивать, как я живу, наговорил мне много лестных слов, что, мол, я вырос и стал настоящим джигитом. Из его слов я узнал, что будет кокпар и что они ждут прибытия атамана кокпара — старика Аккулы-ата, сверстника моего отца.

Тиняли, мой крестный отец, считался после Аккулы вторым наездником, поэтому его и называли почтительно — шабандоз Тиняли, то есть лихой наездник Тиняли, а красивые усы принесли ему другую лестную кличку — Жезмурт, что значит — джигит с усами, сверкающими, как начищенная медь.

Конная толпа зашевелилась, раздались возгласы: «Аккулы едет! Аккулы едет!»

Тиняли при этой вести быстро ссадил меня на землю и помчался навстречу атаману. Всадники без команды встали в торжественные позы, как настоящие солдаты, ожидающие вне строя своего грозного, но любимого командира.

Имя Аккулы было волшебной силой, пресекавшей малейшую развязность. Каждый начал приводить себя в порядок.

Аккулы ехал крупным шагом на поджаром сухоголовом и короткогривом сером коне, на своем «сером горном козле», как называли у нас его коня. Его сопровождали старший сын Асылбай, тридцатилетний крупный мужчина, и мой крестный Тиняли. Когда Аккулы приблизился, толпа расступилась, давая ему дорогу. Все приняли почтительные позы, но он не удостоил никого даже взглядом своих серых глаз. Лоб его был туго перетянут белым платком, рукава бешмета засучены и обнажали загорелые жилистые руки. Длинная редкая борода закрывала его грудь. Он был туго подпоясан старомодным кожаным поясом. Сидел Ак-

---

[1] Тате — уважительное обращение к старшему.

кулы в седле свободно и глубоко, чуть подав непринужденно вперед корпус. Ноги его, обутые в бескаблучные сапоги, держались в серебряных стременах свободно, и казалось, что это собранные крылья его коня. Он прямо проехал к моему отцу, стоявшему в середине аула в окружении гостей. Аккулы легким движением кисти руки осадил коня. Разгоряченный бегом, по инерции устремленный еще вперед, конь с навостренными ушами, большими черными глазами и чуть раздувающимися ноздрями застыл. Казалось, что серый конь в наборной серебряной сбруе и седой Аккулы были чем-то единым, слитым, напоминая неподвижно застывшую скульптуру.

— Будь в теле, Момыш!— приветствовал Аккулы своего сверстника.

— Да будь в живых, Аккулы!— ответил ему отец.

После поздравлений с началом тоя Аккулы попросил извинить, что заставил себя ждать. Потом, повернувшись к конной толпе и взмахнув в ее сторону сложенной вдвое камчой, он пренебрежительно произнес:

Этой бестолочи пусть в самую жару, но только давай кокпар... Знают только одно — гонять по полю, скачут без толку друг за другом... Никаких правил, только загонять коней мастера. Хлещут бедное животное плеткой, колотят в бока ногами, поводья дергают. Да от такой езды не только лошадь, даже слон свалится! Нет благородного уважения к коню, потому и не понимают и знать не хотят, как обходиться с этим нежным существом, более хрупким, чем девушка!

Аккулы сердито посмотрел в сторону молодежи и поучительным тоном добавил:

— Нет того, чтобы коня в теле без лишнего жира держать, лишний пот согнать, во время скачки прислушиваться к его дыханию и цокоту копыт, управлять конем и самим собой: то придержать, то облегчить, приподняться чуточку при прыжке, поддержать, легонько при повороте... Сидят, словно набитые мешки, несутся как угорелые, коня калечат и сами падают. Хороший наездник коню — его крылья, не тяжелый груз. Бывало, почую — участилось дыхание коня, сам не дышу, а ему вздохнуть дам; копытце не так стучит по святой земле — приподниму, поддержу... А они только о прыти думают... Нет, Момыш, нынче не та молодежь пошла, им только на быках да на ишаках ездить, а не на добрых карабаирах... А седла! Седла-то какие у них, ты только посмотри!

Тиняли сделал умоляющий жест, прося моего отца пре-

кратить старческую болтовню славного наездника, и отец прервал длинную речь Аккулы, своего приятеля и одногодка, сказав:

— Ну что ж, Аккулы, новое время — новые люди. Заман по праву принадлежит им, пусть веселятся и резвятся, как умеют. Научатся — у них все впереди...

Аккулы хотел еще что-то сказать, но тут, по знаку Тиняли, дядя внезапным возгласом: «Ла аумын, Ака!» — в позе просителя баты — благословения — обратил его внимание на темно-серого козла, предназначенного для кокпара, которого он удерживал между ногами.

Аккулы, сложив ладони и погладив бороду, произнес:

— Во имя всевышнего.

Дядя тут же проворно свалил козла, прижал его коленом и ножом отсек ему голову.

— Ты сегодня попридержи себя, Аккулы, дай молодежи позабавиться! — сказал отец.

— Сила отца не признает,— гордо ответил Аккулы.— Схватится, вцепится, сам не может вырвать добычи и другому не дает. А нет того, чтобы ловко, с рывка,— он показал руками этот рывок,— этаким способом,— его корпус плавно и грациозно наклонился в сторону воображаемой добычи.— Упираясь на сильный хребет коня, придерживая его вот так,— он показал, его носок чуть подался внутрь, в правое стремя.— Из десятка рук вырвать козла и, как острием клинка, рассечь толпу и вылететь пулей из окружения...

Дядино «Готово, Ака!» опять оборвало затянувшуюся болтовню Аккулы. Увидев подготовленного для кокпара козла, он забыл окончить недосказанную мысль, весь изменился и, как одержимый, покрикивая на дядю: «Чего медлишь, Момынкул? Давай живей!» — сорвался с места.

Дядя, волоча по земле тушу козла, побежал рядом с конем Аккулы. Всадники зашумели, оживились, тронули своих коней, некоторые из них про себя упрекали самолюбивого старика, однако старались, чтобы Аккулы услышал их льстивые комплименты. Женщины высыпали из юрт посмотреть на начало кокпара.

Всадники отъехали от аула метров двести, стали широким полукругом, не загораживая сторону, обращенную к аулу. Дядя отбежал от Аккулы шагов на десять-пятнадцать и, высоко подняв, тушу над головой, швырнул ее в сторону Аккулы. Тот, сжавшись со своим конем в один комок, стремительно бросился вперед, навстречу еще летевшей по воздуху туше козла и на лету поймал ее. Толпа одобрительно загудела...

Аккулы носился по кругу, искусно ведя коня галопом, изображал мнимую погоню за собой: перебрасывал козла с одной стороны на другую, увертывался от настигшего его опасного противника, который вот-вот вырвет у него добычу, валился набок и вдруг вставал на стремена, рывком выхватывал добычу и ловким крутым поворотом уходил от преследовавшего его воображаемого соперника.

Толпа восхищалась искусством старика. В воздухе стоял гул голосов, а Аккулы продолжал показывать свое мастерство наездника, резко осаживая коня, и настигавшие его противники по инерции пролетали мимо. В тот миг Аккулы круто поворачивал коня и стремительно уходил от воображаемой погони.

Мастерство наездника пленило не только мой детский ум, но и вызвало восторг, искреннюю похвалу и гордость за лихого старика у моего дяди Момынкула, который стоял рядом со мной, топал ногами, взмахивая руками, издавал бессмысленные возгласы. Отец посматривал сердито на своего брата и только качал головой. Дядя весь жил искусной ездой Аккулы.

Аккулы сделал еще один круг, потом подъехал к центру полукруга всадников, возгласами восторга встретивших его, поднялся на стременах и взмахнув над головой тушей козла, с легкостью бросил ее вверх.

Всадники ринулись к этому месту, а Аккулы и след простыл. Началась кокпаровская кутерьма. Конная масса то копошилась в одном конце поля, то трогалась с места плотными рядами, то снова задерживалась, как на ледоходе во время распутья.

Аккулы подъехал к нам, на ходу с ловкостью циркача спрыгнул с коня и, подходя к отцу, сказал:

— Вот видишь, Момыш, послушай, как я дышу и как мой Кокшолак дышит?

Действительно, они были только немного возбуждены и дышали легко и ровно. У Кокшолака было горячее тело, но он не был потным. Когда его подвели к нам, он своими раздувшимися ноздрями начал обнюхивать нас. Аккулы похлопал его по шее, погладил по морде, разговаривая с ним, как с человеком.

— Погоди немножко, мы с тобой еще покажем этим неуклюжим кислякам, как надо одолевать бестолковых, рассеивать их по полю, словно зерна по вспаханной земле...

Кокшолак отошел в сторону и начал переступать медленным шагом, словно его вел в поводу хозяин.

Дядя, смотревший восхищенными глазами на Аккулы, начал восторгаться, говоря, что он — пир, духовный наставник джигитов. Это, видимо, подлило масла в огонь. Старого Аккулы, фанатика кокпара, задело равнодушное молчание отца, его самолюбие не могло с этим примириться.

Аккулы презрительно посмотрел на конную толпу и окликнул несущегося наперерез толпе молодого наездника. Тот незамедлительно повернул коня и перед самым носом Аккулы, в двух шагах, осадил доброго гнедого жеребца. Мы невольно отшатнулись, а Аккулы не тронулся с места. Разгоряченный конь взвился на дыбы.

— За ноги кокпара держался?— строго спросил Аккулы юношу.

Запыхавшийся от быстрой езды, растерянный юноша искренне ответил:

— Я только что... еще нет.

Аккулы процедил:

— У самого сердце вот-вот выскочит, а конь весь в мыле. Пока ты добычи коснешься, вы оба ноги протянете, а потом вас вместо козла можно будет драть!— крикнул он на юношу. Тот растерянно улыбнулся. Аккулы гневно скомандовал: «Езжай!», и юноша покорно повернул коня и поскакал.

— От неуклюжего верблюда никогда еще не рождался резвый тулпар!— бросил он вслед юноше, намекая на рыхлость его отца.

Дядя не мог удержаться от выражения восторга бессмысленным возгласом: «Уаеа!» Отец снова строго посмотрел на своего брата, не сводившего глаз с Аккулы, и начал убеждать старика в несправедливости его отношения к юноше, на что Аккулы ответил надменно:

— Вот ты сколько ни старался, не научился с Кораном так свободно обращаться, как я с конем.— Он, видимо, сводил какие-то счеты с отцом за обиду в ранней юности, когда мулла колотил его за неуспеваемость.— Я не глупый мулла! «Не умеешь ездить — слезай с коня, не мучай животное»,— говорю я прямо. У меня две крайности: познай до конца и живи этим, или совсем не знай! Вот тебе и справедливость!

Отец засмеялся и сказал, что Аккулы рано поседел, а сейчас он переживает во второй раз свой юношеский возраст.

— Да, ребенком, юнцом хочу умереть!— отрубил Аккулы.

...Солнце садилось. Я не заметил, как с нами не стало дяди.

Кокпар продолжался, и всадники то удалялись, то приближались к аулу. Сухая земля взлетала из-под копыт коней. Сотни скачущих коней оставляли длинный хвост серой пыли.

Вот закружилась, завертелась на одном месте конная толпа, рывком тронулась из круга. Из толпы вырывались отдельные всадники, за ними — другие, они, устремившись вперед, опережали оторвавшихся, задерживали их, сливались с ними, и снова возникал конный круг, вертелся и кружился громадным темным волчком на одном месте. Вдруг из толпы, рассекая ее, вырвался всадник, держа кокпар под путалищем.

— Вот так сила руки, вот так силища!— восторгался Аккулы.

Я думал, что старик полон самомнения и не способен кого-нибудь хвалить, ведь для него все были «набитыми мешками», а не всадниками. А его справедливость — возглас, непосредственно вырвавшийся в силу спортивной страсти, меня немного удивил, и с этого момента что-то изменилось в моем отношении к Аккулы, и моя обида за отца, которого он «отбрил», быстро прошла. Всадник, вырвавшийся из толпы, носился по полю, восхищал всех своей удалью. За ним неотступно гнались наездники, иногда настигая его... Но как только самый передовой из преследователей приближался, всадник ловко поворачивал и уходил в сторону. Казалось, он дразнит толпу скачущих.

Все это время Аккулы был в движении. Из его уст я сотню раз слышал одобрительные возгласы: «Молодчина!»

Всадник еще раз повел толпу за собой по кругу, сделав несколько зигзагов из стороны в сторону, окончательно рассеял преследователей по всему полю и, оглянувшись по сторонам, помчался, направив своего коня прямо к нам. Мгновение — и вот он перед нами. На полном скаку, подняв над головой кокпар, он швырнул его в сторону Аккулы.

— Вот вам, Ака!

Тут я узнал по голосу дядю. Он был черный от пыли. Потный конь «торы ат»— гнедой мерин сделался вороным. Гнавшиеся за дядей всадники чуть было не наехали на нас, пеших, промчавшись так близко, что я в страхе прижался к отцу, закрыв глаз. Когда я открыл глаза, мы стояли окутанные густым облаком серой пыли. Гул удалялся, все затихли, отчетливо стал слышаться людской говор.

Когда пыль рассеялась, я увидел Аккулы, который держал избитый, грязный, растерзанный труп бедного серого козла, несколько часов тому назад мирно щипавшего на лужайке траву и с громким жалобным «ме-а-а!» потрясавшего своей длинной бородой и торчавшими на макушке загнутыми назад рогами.

Всадники рысью подъезжали со всех сторон.

Аккулы им дал знать: кокпар закончен!

Усталые и разочарованные, они неохотно разъезжались шагом.

...Сумерки. Пыль от кокпара давно уже осела, серой пудрой покрыв траву и юрты нашего аула. Вечерняя прохлада опустилась на жаркую землю.

У юрт невесты и жениха боковые кошмы, поднятые вверх по кругу и свернутые валиками, как толстые скатки, были прикреплены к самой вершине. Сквозь сетку хорошо была видна внутренность юрт.

Убианна, одетая во все праздничное, сидела посреди своей юрты в окружении девушек — подруг и гостей.

Аюбая в его юрте окружили сопровождавшие его джигиты и прибывшие на кокпар сородичи-байтанынцы.

Народу собралось много. Посредине аула группа мужчин о чем-то спорила. Я подошел к ним. Оказалось, байтанынцы и наши усеновцы оспаривали право начинать той. Каждый приводил свои доводы, но никто не хотел уступать. Наконец кто-то предложил бросить жребий, на что и согласились стороны.

Тиняли, прикрыв траву полой бешмета, вырвал ее и начал «обрабатывать» в рукаве, никому не показывая, что это за трава и что он с ней делает. То же самое сделал представитель Байтаны — Онал. Дядя снял шапку и, держа ее верхом вниз, подошел к сборищу. Мужчины, прикрыв концом рукава свои руки, бросили в шапку траву. Тогда хозяин шапки, прикрыв ее полой своего бешмета, помешал рукой, несколько раз потряс шапкой и, увидев меня, стоящего среди взрослых, подозвал к себе и предложил вытащить с закрытыми глазами одну травинку. Я закрыл глаза, сунул руку в шапку, ощупью разыскал стебелек и вытащил его. Все присутствующие, как на всякой жеребьевке, затаив дыхание ожидали результатов. Высоко подняв перекрученный в двух местах зеленый стебелек осоки, хозяин шапки спросил:

— Чья это?

— Моя!— с радостью откликнулся Онал из рода Байтаны.

Толпа загудела. Онал, сопровождаемый всеми, направился к юрте невесты и, сев напротив Убианны, открыл той.

Обращаясь к Убианне, Онал запел о том, что он белый ястреб, который год тому назад услышал о предстоящем тое красавицы Убианны. Эта весть не давала ему ни покоя, ни сна, и он шесть месяцев тому назад тронулся в путь и, пролетев через просторы бескрайних степей и синеву морей, пересек хребты высоких гор и все несся на своих крыльях, чтобы вовремя поспеть к этому тою.

Мужчины, женщины и девушки, облепившие юрту плотной толпою, смеялись над воображением Онала, превратившего пятикилометровое расстояние между нашими аулами в шестимесячный путь для быстролетной птицы.

Убианна поблагодарила Онала за внимание, честь и пропела ему ответ, что она тронута этим поступком благородного ястреба, и в свою очередь спросила, благополучно ли он пролетел такое далекое расстояние, не устали ли его крылья, целы ли его когти,— словом, выражала традиционное «добро пожаловать».

Онал в ответ затянул: все в порядке. На пути его встречались враги, но он взмахами своих мощных крыльев, ударами своих сильных сжатых кулаков, острием своих восьми пик побеждал всех. И тут, а ауле красавицы, он увидел врага (тонкий намек на своего спорщика Тиняли), но и его победил в жестоких сражениях. Теперь враг валяется где-то невдалеке отсюда, сбитый им наземь, и бьется, запутавшись крыльями в траве...

Толпа снова загудела от восторга.

Далее Онал воспевал красоту Убианны, выражая свое удовлетворение, восхищался ее речами и гостеприимством, говорил, что он видит перед собою играющую перламутровыми отсветами перьев райскую птицу, что столь дальний путь его даром не пропал, и один взгляд ее очей и сладкий звук ее голоса — полное вознаграждение за все страдания, которые он перенес в пути...

Убианна снова благодарила его, просила быть почетным и желанным гостем и осчастливить своим присутствием день крутого поворота в ее жизни, который она собирается совершить по заветам предков. Она подарила Оналу шелковый платок и завернула в него несколько колец и браслетов. Но пока платок передавался в руки Онала, кольца были разделены между присутствующими.

Онал важно вытер лицо полученным платком и песенно открыл той, призывая присутствующих весело его провести,

вознаградить друг друга приятными словами, шутками, звучными песнями. Когда он, размахивая платком, кончил куплет и встал со своего места, все закричали: «Той начался, той начался!»

Откуда ни возьмись на голову посыпались баурсаки и урюк, их на лету хватал каждый и тут же отправлял себе в рот, говоря: «Тояныш» (с торжественного стола).

Оказывается, этот традиционный дождь из баурсаков и урюка означал своего рода первый торжественный тост, их рассыпали расставленные среди толпы мужчины и женщины нашего аула.

Той начался! Началось угощение, состязание в песнях. До поздней ночи во всех юртах звучали песни. Все шутили и веселились. Юрты виновников торжества были в центре внимания. В эту ночь нас, малышей, не отгоняли, как в прошлую. Мы бегали свободно по новому аулу, ныряя из одной юрты в другую, путаясь под ногами, мешая взрослым, но нас по-прежнему не удостаивали даже намеком на внимание... Это невнимание несколько ущемляло наше самолюбие, но мы были довольны и тем, что никто нам не говорил оскорбительного: «Идите! Нечего вам тут делать!» Состязание певцов постепенно затихло лишь перед самым рассветом.

Я был разбужен Алиманной в десятом часу утра. В ауле снова было много народу. Началась борьба силачей. Народ стоял и сидел, образуя большой полукруг. Борцы выходили на арену, схватывали друг друга за пояса, сгибались и, упершись плечом к плечу, ходили по кругу широко расставленными ногами, выбирая удобный момент, чтобы свалить партнера. Вдруг один из них сжал бока противнику, а потом оторвал его от земли, поднял и завертелся по кругу. Он наклонял корпус, чтобы сбросить поднятого на воздух противника, но тот ловко успевал встать на ноги и не давал свалить себя на землю. И борцы снова, схватившись за пояса, ходили по кругу, широко расставляя ноги. Наконец одному из них удавалось одержать победу, и толпа гудела, болельщики спорили между собой, а победитель получал приз — одежду или платок, деньги или скот.

Следом выходила новая пара борцов. Состязание завершилось борьбой десяти-двенадцатилетних мальчуганов. Они во всем старались подражать старшим, но мало что у них выходили по-настоящему. Борющиеся мальчуганы походили скорей на дерущихся маленьких петушков и

смешили всех. Победившему мальчику тоже полагался приз — расшитая тюбетейка или лисья шапочка.

Солнцепек заставил людей укрыться в тени юрт... Снова, как вчера, наступила скучная пора ожидания, пока солнце не сойдет с зенита и косые лучи его не смягчат жара земли...

После обеда проходили конные скачки. Назначалось три приза — конь, корова и теленок... В байге — скачках принимали участие до тридцати лошадей, кунанов, то есть трехлеток — по обычаю тоев, коней старше трех лет не выпускали. Победители получали свои призы, после чего снова начиналось козлодрание — кокпар, как и вчера.

Вечер и ночь прошли в айтысах.

На другой день утром из юрты невесты донесся плач Убианны, взволновавший мое сердце. Это женщины снимали с нее девичьи одеяния, которые она носила.

Убианна песенно тянула свой плач по девичьей свободе.

В новом одеянии вышла она из своей юрты. Женщины поддерживали ее, приговаривая:

— Путь, протоптанный предками, дорогая! Ничего не поделаешь, девичье одеяние не вечно носится.

Уже начали разбирать ее юрту, а джигиты подвели коня для Убианны и верблюдов для приданого.

Отец, издали молча смотревший на эту картину, прослезился, а Убианна все выла и выла тонким голосом. Мы с Алиманной стояли рядом с отцом. Я еле сдерживал слезы.

Но вот уже все погружено, поданы оседланные кони. Убианна затянула на еще более высоких нотах свой плач, аульные по очереди подходили к ней, обнимали ее, причитали, скороговоркой шептали свои лучшие пожелания.

Отец подошел последним, обнял дочь, сказал ей ласковые слова дрожащим от волнения голосом и, скрывая слезы, отошел в сторону.

Убианну схватили двое джигитов из семи сопровождающих Аюбая, посадили на подведенного коня и, придерживая с двух сторон ее, качающуюся в седле, тронули коня с места.

Алиманна, увидев, что увозят сестру, заплакала. Какая-то женщина набросила на голову Убианны большую шелковую шаль. На вороном коне белым шатром покачивалась фигура невесты.

Бабушка, я и не перестававшая изливать свое горе Убианна в сопровождении семи аюбаевских джигитов, ко-

торые вели в поводу двух верблюдов, нагруженных приданым, тронулись в путь на новое место Убианны, в аул Аюбая.

Через два-три километра пути Убианна перестала плакать.

Мы проезжали мимо одного аула. Увидев издали свадебный поезд, на дороге нас уже встречали группы женщин и девушек. Они предложили нам принесенный в бурдюках кумыс, и, пока мы утоляли жажду, осматривали Убианну и справлялись о приданом.

Когда мы подъезжали к аулу жениха, несколько десятков девушек и женщин вышло навстречу. Убианна сошла со своего коня. Сопровождавшие джигиты и мы с бабушкой отделились от окружавшей невесту толпы женщин и поехали прямо в аул, где нас поджидало мужское население во главе с высоким черным старцем в бараньей шапке и халате из верблюжьей шерсти, накинутом на плечи. Дед был немного согнут временем и опирался на палку. Под ноздрями усы были выщипаны, у губ подстрижены, а подбородок был окаймлен редкой белизны, чистой, как снег, длинной бородой, которую старик постоянно поглаживал большими жилистыми руками. Когда аксакал говорил, его борода по старчески тряслась, но пожелтевшие крупные зубы напоминали о том, что у деда «стены во рту еще целы»... Контраст между чернотой кожи и белизной бороды был разительный. Все звали старика «ата». Он оказался отцом Аюбая — Майлибаем.

Нас ввели в большую юрту. Майлибай и бабушка сели на почетном месте. Меня посадили по левую сторону от бабушки. Остальные родственники сели по старшинству... Все притихли, Майлибай хрипловатым басом обратился к бабушке с приветственными словами. Когда он заговорил, мне показалось, что в его горле булькает саба[1] с кумысом. Бабушка, в свою очередь, отвечала ему положенными приветственными словами. Потом старик представил своих сыновей: старшего, уже с проседью в бороде, второго, с очень редкой черной бородой. Третий и четвертый были помоложе, но тоже с бородами. Затем он представил по очереди своих родичей. Пили кумыс. Все время говорили дед Майлибай и бабушка, а остальные слушали в почтительных позах.

— Ата! — обратился его предпоследний сын.— Говорят, все готово.

[1] Саба — большой кожаный мешок (бурдюк) для квашения кумыса.

Старик дал знак выходить из юрты. Он поднимался тяжело. Мы все вышли наружу. Невдалеке была установлена юрта молодоженов. Старик и его сыновья вошли в отау, как теперь называлась юрта Убианны, и, осмотрев убранство, вышли обратно. Старик выразил бабушке благодарность за «уютное и разукрашенное гнездо» молодых. Поминал он также имя моего отца и передавал ему благодарность за то, что он «в такое время» осчастливил его старость, предоставив его глазам, как яйцо, отау с «красным жасау». Бородатые сыновья поддакивали старику.

Убианна, до этого сидевшая в окружении девушек и женщин, встретивших ее в лощине на окраине аула, после осмотра отау была приведена в свою юрту... Когда мы вернулись в большую юрту, мужчины в ней больше не появлялись, а стали приходить пожилые женщины. Майлибай каждую из них представлял бабушке, объясняя, кем она приходится ему. Все приветствовали бабушку.

— Ну, кара-джигит!— обратилась бойкая старуха к Майлибаю, называя его так по старой памяти, когда он еще был юным.— Младшего сына женишь — последнюю, быть может, в жизни радость переживаешь. Не жалей ничего, наполняй котлы, разливай жир с молоком!

— Да, женеше[1], у нас с тобой это, наверное, последнее, что видим...— со старческой грустью ответил Майлибай.

— Нет, нет! Ты один можешь отправиться туда пока, а я еще несколько таких свадеб хочу посмотреть,— шутя зачастила старуха.

— Пять сыновей да двенадцать внуков!— подхватила вторая старуха.— Конечно, тебе идти первым, а то, говорят, твой отец и мать давно тебя поджидают там и скучают по тебе.

— Слава аллаху!— ответил Майлибай.— Слава аллаху! Он меня не обидел. То, что положено прожить,— прожил, то, что надо было поесть,— поел, но дайте мне еще от дочери Момыша хотя бы одного внучонка поцеловать,— просил он у старух, как будто его смерть зависела от них.

— Ладно! Уж так и быть,— сказала первая старуха,— живи, целуй не одного, а еще трех внуков от младшей снохи!

...Когда Отечественная война перешла уже на третий год, я часто слышал на фронте среди бывалых солдат шутки, похожие на эти.

---

[1] Ж е н е ш е — уважительное обращение к жене старшего брата.

— Хоть бы тебя, черта, первым убило!— обращался гвардеец к земляку.

— Ну что же, ты и хоронить будешь!— отвечал тот на шутку шуткой.

— Дай табачку на папироску, а то не похороню!

Тот, отсыпая табак из кисета, просил:

— Дай до Берлина дойти, хоть посмотреть на это дьяволово логово!

Заворачивая самокрутку из газетного обрывка, собеседник отвечал, небрежно махнув рукой:

— Ладно! Так и быть, разрешаю...

Когда смерть близка и становится обычной по условиям времени, обстоятельств и возрасту, человеку, видимо, доставляет какое-то внутреннее удовлетворение шутить над нею. И это хорошо, что он смеется над смертью!..

Юрта Майлибая была восьмистворчатая. Почерневшие от времени деревянный остов и кошмы, оборванные веревки и потрепанные ленты говорили о том, что эта юрта служит жилищем далеко не первый год, а заплаты, грубо нашитые на кошмы, свидетельствовали о том, что хозяйка ее не очень-то искусно владеет большой иглой. Как все старые юрты, и эта особых украшений не имела, а те, что были при ее сооружении, поблекли от времени, и только слабо различимые узоры напоминали о былой красоте...

Юрта была просторной и вмещала много народу. Под вечер она уже была переполнена. Кто помоложе — стоял, а старшие важно сидели по старшинству на расстеленных кошмах.

Во дворе была суета не меньше, чем в нашем ауле, когда мы готовились к приему гостей. Варилось в котлах мясо, кипела в самоварах вода. Все готовились к церемонии «открытию лица невесты» и венчанию новобрачных.

Рядом с Майлибаем, между ним и бабушкой, восседал рыжебородый, в белой чалме, ходжа[1] с накрашенными сурьмой ресницами. К нему обращались не иначе, как «таксыр»[2]. Он называл всех мужчин «муртым»[3]. Я смотрел на его подстриженные рыжие усы и не понимал, почему все мужчины — его усы... Оказывается, он был пиром — духовным наставником, а все прихожане его мечети, куда ходили спасать душу,— поддуховными.

Но вот в юрту вошел среднего роста плотный мужчина

---

[1] Ходжа — духовное лицо, мнимый потомок Магомета.
[2] Таксыр — господин.
[3] Муртым — буквально: «усы мои», искаженное арабское мурид (прихожанин).

лет сорока, с густой черной бородой на расплывшемся добром лице. Звали его Утеп. Появление Утепа вызвало общее оживление. Он приветствовал всех широкой улыбкой. Его посадили отдельно, на большую подушку, впереди всех. Широкая спина Утепа загородила от меня все, и я вынужден был встать чтобы, опираясь на плечо бабушки, видеть происходящее в юрте.

Одна из женщин внесла сковородку, наполненную горящими углями, и поставила перед Утепом. Утеп, засучив рукава, сделал движение над сковородкой, как будто согревая на огне руки. Потом он протянул правую руку в сторону, и ему вручили длинную скалку толщиной пальца в два, которой обычно раскатывают тесто.

По знаку Утепа открылась дверь, и две молодые женщины ввели покрытую белой шелковой шалью Убианну. Сопровождавшие ее женщины сделали поклоны во все стороны.

— Шагните вперед, милая сноха. Вы вошли в юрту свекра!— сказала одна из старух, нарушая торжественное молчание.

Убианна сделала два шага и стала перед Утепом. Их разделяла сковорода, угли на которой подернулись серым пеплом.

— Э-э-э-эй!— начал запев Утеп, размахивая своей палкой и требуя внимания гостей.

Сноха пришла, проходите!
За то, что увидите, подарок мне дадите.
Вы снохи прекрасное лицо увидите
После принесенного мне подарка...

— Дадим! Дадим!— раздались возгласы.

— Ты скорей показывай ее!

Утеп отвечал стихами, что он словам не верит, и, пока не посеребрят его руки, не прочистят ему горло маслом, он не откроет лица прекрасной невесты...

Майлибай бросил к ногам Утепа несколько серебряных полтинников. Женщина поставила перед ним пиалу, наполненую желтым растопленным жиром. Другие, в свою очередь, бросали монеты: кто гривенник, кто двугривенный, и на кошме перед Утепом вырастала горка серебряных монет.

Но Утеп пел, что того ему мало, требовал больше! пока перед ним не вырастет серебряная копна в рост снохи, он не откроет ее лица. Гости выражали деланный гнев, а Утеп пугал их, распевая, что вот улетит райская

птица счастья, по его же волшебному жесту вспорхнет и улетит через открытый купол шанрака.

Тогда все разыгрывали испуг, уговаривали его не делать этого и снова бросали монеты. Утеп опять указывал на разницу между кучкой монет и ростом Убианны.

И опять женщины бросали кольца, браслеты, серебряные или перламутровые пуговицы. Одна, видимо, по ошибке, бросила черную пуговицу. Утеп рассердился и отшвырнул ее в сторону. Присутствующие выразили свое негодование неряхе, бедная женщина, чтобы смыть с себя позор и смягчить ошибку, сгорая от стыда, попросила у всех прощения, и взамен злосчастной черной пуговицы, сняв с руки два массивных серебряных браслета, бросила их в общую кучу. Этот жест убедил общество в ее искренности, и она была прощена.

Раздавался запев Утепа. Он начинал петь об Убианне, о нашем роде в хвалебном, эпическом тоне, рассказывал о нашей родословной, хвалил бабушку, и представлял ее обществу как орлицу — мать славных орлят, в гнезде которой воспитывалась и росла сноха.

И бабушка под общее одобрение подарила Утепу золотое колечко.

Затем Утеп перешел к достоинствам Убианны: воспевал ее красоту, мягкий характер, доброе сердце, ее искусство в рукоделии, говорил, что скоро этот аул наполнится и приукрасится не только ее красотой, но и художественными изделиями и узорами ее вышивок. Убианна из-под шали кивком головы благодарила певца.

Вдохновленный, Утеп начал еще больше разжигать любопытство присутствующих, описывая стоящую перед ними под шелковым покрывалом сноху, лицо которой светлее луны, с бездонно-черными глазами и жемчугом зубов. Он пел о гибкой талии, соперничающей с самым тонким тростником, о белизне тела, не уступающей нежному шелку, и требовал еще добавить ему серебра и золота.

Гости возмущались его ненасытностью, а Утеп заставлял их молчать своими новыми и новыми угрозами. Он распевал их в страстном боевом темпе, дирижируя своей палкой.

— Э-э-э-эй!— снова затягивал Утеп, призывая к вниманию.

О сидящий здесь на почетном месте
Восьмидесятилетний Майлибай...

Он перешел к исполнению песен-скороговорок, распеваемых в стремительном темпе. Запел хвалебную песню

о Майлибае и потребовал от Убианны низкого поклона свекру. Убианна покорно склонилась перед стариком. Каждый свой куплет он оканчивал словами: «Такому-то поклон».

Затем Утеп перешел к представлению своих сверстников из майлибаевской родни, но представлял их уже в комедийном плане. Его эпиграммы на бедных ата, кайнага, абисын[1] имели такой успех, что юрта сотрясалась от громового хохота. Некоторые смеялись до слез. Особенно досталось от Утепа одному из сыновей Майлибая — сорокалетнему Жартыбаю, человеку с бледным лицом, вздернутым носом и жиденькой бороденкой, что, как кисть, торчала пучком на самом кончике подбородка. Утеп, издеваясь, сравнивал его блеклое лицо с пылающей розой на щеках молодой девушки; вздернутый короткий нос с круглыми, как блюдце, ноздрями он именовал орлиным; десяток тонких волосков, торчащих по углам рта, он сравнивал с густыми, лихо закрученными усами, доходящими до самых ушей, жиденькую метелочку на подбородке — с атласной густой бородой, покрывающей всю грудь до самого пояса.

Это вызвало новый взрыв смеха. Жартыбай бледнел, краснел и неловко теребил бороду...

Убианна все еще стояла под своим покрывалом, а поддерживающие ее две молодые женщины едва сдерживали приступы смеха.

Наконец Утеп произнес:

— Жартыбаю один поклон.

Убианна поклонилась, а у бедного Жартыбая из груди вырвался облегченный вздох, отчего все снова засмеялись.

Утеп спокойно и с достоинством приступил к новой песне, в которой давал Убианне наставления, как обращаться с мужем, с людьми, как вести себя на новом месте, что следует молодухе делать и чего следует избегать, давал советы, учил ее...

Потом Утеп приподнял «жезлом» конец покрывала и сбросил его с головы Убианны наземь.

Народ зашумел, впился глазами в невесту.

Смущенная Убианна вылила на сковороду поданное Утепом масло из чаши. Оно зашипело, создавая дымовую завесу вокруг молодой. Люди, задыхаясь от едкого дыма и запаха, кричали: «Благослови!»

Этим древнейшим обычаем, дошедшим до нас, по-види-

---

[1] Ата, кайнага, абисын — самая близкая родня жениха.

мому, со времен огнепоклонников, завершалась церемония открытия лица невесты.

Утеп собрал все серебро, что было сложено перед ним, поднял белую шаль и вышел из юрты. Часть гостей бросилась за ним следом. Со двора донеслось:

— Мне! Мне!

Видно, певцу-импровизатору пришлось откупаться серебром от своих преследователей.

Майлибай пригласил Убианну занять приготовленное ей место. Она села с краю юрты, по правую сторону, где сидели женщины. Левую сторону юрты занимали мужчины.

Внесли самовар.

Ходжа все время сидел молча, коротко отвечал на вопросы, обращаясь к говорящему со словами «да, муртым» с чисто узбекским акцентом. Он относился ко всему с равнодушием, ибо на своем веку много раз был свидетелем подобных церемоний...

Когда за беседой чаепитие пришло к концу, у ходжи спросили разрешения начинать венчание.

Принесли деревянную чашу, наполненную чистой водой, и поставили перед Майлибаем. Майлибай, опустив в воду серебряный полтинник, передал чашу ходже. Ходжа накрыл ее белым платком и, зажмурив глаза, прочел молитву, потом подул на чашу с водой. В это время два взрослых джигита ввели в юрту Аюбая. Он сел напротив Убианны на отведенное ему место. Ходжа подозвал сопровождавших Аюбая джигитов и велел спросить имена бракосочетающихся. Джигиты подошли к жениху и невесте и задали им этот вопрос. Вернувшись, они встали перед ходжой и, сложив крест накрест руки, доложили ему:

— Жених — джигит Аюбай, законный сын от брака Майлибая с Зулихой, двадцати пяти лет от роду, правоверный мусульманин.

— Невеста — девица Убианна, законнорожденная от брака Момыша с Разией, двадцати одного года от роду, правоверная.

Ходжа спросил джигитов, готовы ли они быть свидетелями бракосочетания здесь, перед народом, и там, перед богом, совершили ли они омовение перед приходом сюда, перед тем как выполнить эту высокую обязанность?

Джигиты отвечали утвердительно и поклялись в правдивости своих слов.

Тогда ходжа велел спросить невесту и жениха, совершается ли их брак по доброй воле и согласию сердец.

Джигиты взяли в руки концы данного им белого полотенца и, медленно покачиваясь, пошли в сторону Убианны, читая нараспев:

Свидетели, мы — свидетели,
Мы ходим в свидетелях,
Сегодня перед народом,
На заре перед богом
Мы будем свидетелями.

Расстояние до Убианны они шли такими мелкими шажками, что успели пропеть все свое «свидетельство». Не доходя на шаг, они остановились перед ней и спросили об ее согласии на бракосочетание. Убианна молчала.

С теми же словами они подошли к Аюбаю и спросили его о согласии на брак. И так три раза повторяли те же слова и задавали те же вопросы. Наконец, получив от молодых согласие, они вернулись к ходже и засвидетельствовали, что брак совершается по доброй воле и с согласия сердец, чему они и есть свидетели.

Ходжа прочел молитву, снял с чаши платок и передал чашу с водой джигитам-свидетелям. Те понесли ее к Убианне. Убианна пригубила воду. Потом преподнесли чашу Аюбаю, который тоже отпил глоток. И сами свидетели пригубили воду... Далее чаша пошла по рядам, ее передавали из рук в руки, а монету, лежавшую на дне чаши, взял тот, кому досталась последняя капля воды.

После этого ходжа торжественно объявил, что бракосочетание совершилось.

Майлибай положил перед ходжой пачку денег, которую тот поспешно засунул за пазуху.

Вскоре в юрту внесли блюдо с бесбармаком, и началось угощение.

На следующее утро за чаем и кумысом старик Майлибай благодарил бабушку, просил не осуждать, если вышло что-либо не так, передал моему отцу просьбу удостоить в скором времени его юрту посещением, потому что он стар, чтобы самому совершать далекие поездки.

Бабушке был подарен старомодный парчовый халат, отрез на платье, а мне подарили двухлетнего жеребенка и отделанную серебром камчу.

Затем мы пошли из большой юрты прощаться с Убианной. Бабушка заголосила на весь аул, обняла плачущую внучку. Пожелав Убианне счастья на новом месте, мы выехали из нового гнезда Убианны. Аюбай провожал нас до самого нашего аула. Он впервые был принят отцом в

нашей юрте, заночевал у нас и на следующий день уехал к себе.

Последующие детали жизни нашей семьи интересны мне самому, когда я их вспоминаю, но во всех подробностях они, пожалуй, будут скучны для читателя. Поэтому я намерен в дальнейшем не придерживаться хронологической последовательности и излагать лишь главное.

Замужество Убианны и расплата с ее первым женихом — Мамытом, которому наш отец вернул полученную ранее часть калыма, разорили нас основательно, и до моих зрелых лет наша семья не могла восстановить своего хозяйства. Особенно болезненно эту бедность переживала не слишком скупая на слова наша мачеха. Она укоряла отца, что у нее пищей не наполнен котел, что одеждой не укрыто тело, и нет ничего, что удерживало бы ее в этом доме.

Разница в годах между отцом и мачехой была в двадцать пять лет. Отец, услышав слова мачехи, пригласил к нам в аул ее мать и дядю, объявил им, что он желает развестись с мачехой, и предложил на следующий же день увезти ее. Те встревожились. Старуха принесла извинение отцу за непочтительное обхождение с ним ее дочери и обрушилась на нее. Мачеха сидела потупившись, сначала молчала, а потом начала оправдываться, говоря, что эти слова она произнесла нечаянно.

Отец сказал, что он оставляет их одних для семейных искренних разговоров, и увел меня с Алиманной в бабушкину юрту.

Вся эта история очень расстроила бабушку. Она гневалась на сноху, вспоминала мою мать, начинала по ней плакать, как будто она умерла только сегодня, упрекала отца за то, что не избил мачеху, как только та открыла рот, чтобы произнести «плохие слова», и не проучил ее на всю жизнь.

— Ах, почему аллах не призвал меня тогда вместо кроткой, обходительной Разии!— говорила она, все более и более расстраиваясь.— Каково мне все это слышать и видеть?

— Апа!— строго прервал ее отец.— Оставьте в покое аллаха!

В ответ бабушка, задыхаясь от гнева, обрушилась на отца:

— Ты что, мать учить собираешься? А? Я тебя научу, как пререкаться со мной! Я тебя выпорю! Я тебя за уши отдеру!

Отец посмеивался.

Пожалуйста, апа, только вспомните, что мне давным-давно пошел шестой десяток.

А из соседней юрты доносился гневный крик другой старухи—матери нашей мачехи.

Этот семейный скандал закончился на следующий день. Мачеха принесла извинения за свои нечаянно пророненные слова, а гостья, наказав отцу бить жену, когда она сидит,—по голове, а когда стоит,—по ногам, отбыла восвояси... Но я не помню, чтобы отец исполнял наказы старухи.

Я часто посещал Убианну, а Аюбай нередко ездил к нам. Он оставался у нас на день, иногда—на два, помогал пахать, сеять хлеб, убирать, молотить. Своим родным он объяснял: «Шурин еще мал, а тесть—пожилой, я у него за старшего сына, помогать надо».

Через год заболела бабушка. На третий день болезни вызвала к себе отца. Она лежала на спине, дыхание ее было учащенным и тяжелым, щеки раскраснелись, глаза поблескивали. На подушке, сливаясь с белизной наволочки, лежали ее серебристые косы. Под подбородком мешочками висела морщинистая, старческая кожа. Держалась бабушка спокойно, не стонала, не жаловалась. В ее поведении, как мне показалось, была какая-то торжественность...

— Момыш!—обратилась она к сыну.—Пошли гонцов к дочерям моим и внучке, пусть приезжают попрощаться со мной.

— Что вы, что вы, апа!—начал было отец.

— Ты сначала выслушай меня,—властно прервала его бабушка,—за лекарем посылать не надо. Муллу тоже не приглашай пока, вот когда у вас с Момынтаем будет свободное время, подойдите ко мне и поочередно кладите в мое ухо слова святого Корана.— Бабушка немного задумалась.—Серкебая не приглашай, он на всех кричать будет. Но если он сам приедет, пусть тогда Момынкул его не раздражает...

Отец хотел было что-то сказать...

— Иди, иди, делай, как я говорю,—спокойно и повелительно остановила его бабушка.

Время было зимнее. Мы все ходили на цыпочках. Отец и дядя поочередно дежурили у бабушки. Нас в ее комнату не пускали. Стирали бабушкино белье и платье,

объясняя, что старуха требует все чистое, штопали и чинили ее одежду.

Через трое суток все были в сборе: две дочери бабушки и Убианна.

Однажды бабушка потребовала нас всех к себе. Когда мы вошли, она полулежала на постели.

— Ну, дети, мне скоро пора,— и, чуть улыбаясь, сказала:—Покажите мне мое «приданое» и мое «свадебное платье».

Тут старшая тетка Пияш начала всхлипывать.

— Не плакать!—приказала бабушка.

Сначала отец развернул перед ней отрез белой материи на саван—«свадебное платье», белую, тонко скатанную кошму, затем коврик, которым она впоследствии была покрыта, далее—все ее платья и одежду.

После осмотра бабушка подозвала к себе дядю и попросила его вслух почитать строки Корана.

Мы очень растревожились, думая, что она сейчас умрет. Дядя, тоже взволнованный, дрожащими руками открыл книгу и начал читать Коран.

— Эй, мальчик мой, куда же ты задевал «Во имя аллаха милосердного»?—прервала его бабушка.

— Хвала аллаху, господину вселенной,..—сконфузившись, начал читать дядя нараспев традиционный эпиграф Корана.

— Хорошо,—сказала бабушка.—Теперь читай.

Дядя прочел краткую главу, а бабушка, лежа, внимательно слушала. Окинув нас взором, она сказала:

— Теперь идите, дети, отдыхать, я сама позову вас еще раз.

Мы ушли в другую комнату. Через некоторое время пришел отец, которого сменил на дежурстве дядя.

Вдруг раздался крик:

— Плохо с апа! Плохо с апа!

Мы все вскочили с постели, разбуженные голосом дяди.

Отец побежал, одеваясь на ходу.

Когда мы с Алиманной перебегали расстояние, отделявшее наш дом от бабушкиного, предутренний рассвет прорезал женский крик, доносившийся из дальней хаты нашего соседа Айнабека.

Мы вошли, держась за руки, и увидели: отец сидит у изголовья бабушки и громко читает Коран. Бабушка лежит с закрытыми глазами. Вокруг нее стоят все молча,

встревоженные. Дядя хотел что-то сказать дрожащим от слез голосом:

— Апа! Апа!

— Не мешай ей слушать слова Корана,— прикрикнул на дядю отец и продолжал чтение...

Бабушка чуть-чуть приоткрыла рот, слегка дернулся ее подбородок, и она застыла навсегда.

Отец произнес:

— Прощай! Прости, мать!—Он закрыл ее лицо белым платком и встал со своего места.

Дядя и тетки мои заплакали.

Вошел Айнабек и выразил соболезнование. Когда все несколько притихли, он сказал:

— Сегодняшним утром аллах призвал одну из нашего аула к себе, а другую прислал к нам!

Из этих слов мы поняли, что его жена родила девочку. Впоследствии ей дали имя бабушки, и девочка считалась ее дочерью. Пришедшие соседи расчистили двор от снега, затем установили юрту, туда вынесли бабушкино тело.

В нашем оседлом районе в зимнее время покойники последние сутки «гостили» в юрте. Не знаю, с чем связан этот обычай: с желанием ли предков наших—в последний путь отправиться из юрты—любимого жилища кочевника, или с желанием живых—держать тело покойника в холоде. Но как бы то ни было, в нашем районе появление юрты у какой-нибудь зимовки служило сигналом, что в этом ауле кто-то отошел в вечность.

Бабушку положили по правую сторону юрты, и тело ее загородили ширмой из плетеного тонкого тростника. В юрте сидели пришедшие из ближних аулов старухи. Я и дядя, опираясь на палки, стояли около юрты. Отец был занят распоряжениями по подготовке к похоронам.

Со всех концов начали стекаться люди в наш аул, чтобы попрощаться с бабушкой. Они шли из соседнего аула группами и, приблизившись к нашему аулу, бежали с возгласом: «Бабушка моя! Бабушка моя!»

Подходившие к нам делали вид, что они тоже плачут, обнимались с нами, заходили в юрту, обнимались с женщинами, затем выходили оттуда. Плач прекращался, и тогда кто-нибудь из пришедших старших от имени своего аула выражал нам соболезнование и поминал добрым словом бабушку.

Приходила следующая группа, за нею еще, так до самого вечера. Вечером мы с дядей сошли со своего поста

«скорбящих часовых». По обычаю, в доме, в котором покойник, не варится пища, и наши соседи принесли нам еду и чай в своей посуде.

На следующее утро начали прибывать из дальних аулов верховые, чтобы присутствовать на панихиде. Мулла, седой старец в чалме и белом халате, прочел молитву. Старухи обмыли бабушку, одели в саван и, положив на белую кошму, завернули в нее тело. Отец роздал присутствующим жиртыс—отрезы материи и деньги. Затем он подозвал нас всех и дал по горсточке серебряных монет.

Отец с дядей пошли в юрту и на своих плечах вынесли табыт—покрытые ковром носилки с телом бабушки. Все присутствующие окружили их. Дети бросали горсточки монет на табыт. Люди подхватывали их на лету или просто брали с ковра.

Табыт установили на земле метрах в ста от юрты. Дядя подвел к табыту коня, шилбыр (веревочный чембур) передал в руки муллы. Мулла и все присутствующие отошли от табыта шагов на сорок. Мулла, ведя коня за повод, вернулся шагов на десять и сел на землю. К мулле подошел пожилой киикбаевец Эстеулет и сел против него. Мулла прочел молитву и отдал конец шилбыра Эстеулету и, не выпуская из рук шилбыра, начал ему «передавать грехи бабушки».

— Ты раб божий,—говорил он Эстеулету,—принимаешь ли на себя грехи покойницы?

Мулла перечислял грехи, виденные глазами, услышанные ушами, произнесенные устами, совершенные в мыслях и телом.

На каждый вопрос Эстеулет отвечал: «Принимаю».

После каждого «принимаю» мулла понемногу отпускал повод из своих рук. Когда же наконец все возможные грехи покойницы были взяты на себя Эстеулетом, мулла напомнил ему, что он обещал замолить перед создателем усердными молитвами все грехи, когда бы то ни было совершенные покойницей, и выпустил из рук шилбыр.

Эстеулет встал и увел коня к себе домой.

Мулла подошел к табыту и призвал народ к молитве. Все выстроились и вслед за муллой помолились за упокой души бабушки.

Тогда к табыту подошли отец и дядя и подняли его на плечи. Похоронная процессия двинулась на кладби-

ще. Шли только мужчины, женщины же остались в ауле. Шли молча, опустив головы.

Свежевырытая могила на холме была уже готова.

Нынче в городах и в некоторых аулах гроб начал входить в обиход, но наши предки считали великим грехом заколачивать тело покойника в сбитые доски, говоря: «Из земли сотворенный в землю должен быть возвращен, прах к праху присоединен».

Чтобы убедиться в исправности бабушкиной могилы, отец полез в нее, лег головой на запад, развернул руки в стороны, приподнялся, сел, осмотрел ее и вышел. Так как мой отец был маленького роста, щупленький старик, а бабушка была покрупнее его, он усомнился, видимо, в правильности своей «примерки» и потому дал знак дяде спуститься в могилу. Тот покорно проделал то же самое, что его старший брат, но чувствительный характер дяди не выдержал этой процедуры, и он начал всхлипывать, на что отец рассерженно прикрикнул:

— Тейт![1] Не пачкай землю слезами! Вылезай живо!

Так оба сына сначала сами побывали в бабушкиной «комнате», прежде чем она сама вселилась туда навечно.

Завернутая в белую кошму, на руках своих сыновей бабушка плавно опустилась в свой покой. Развернули кошму развязали узлы савана у головы и ног, открыли лицо, поправили голову, лежащую на запад. Отверстие ниши заделали кирпичом и начали засыпать «коридор». Каждый из присутствующих бросал землю, произнося прощальные слова и приговаривая: «Иманын жолдас болсын» (да сопутствует тебе добрый дух), «Жатқан жерін торқа болсын» (да будет твое место, где лежишь, мягким, как пух)...

Дядя, рыдая, опустился наземь и, ухватившись за голову, бормотал: «Ах! Там темно стало!»

— Перестань выть! Встань! — крикнул на него отец. Дядя приподнялся и, все еще всхлипывая, лопатой стал бросать землю, произнося положенные прощальные слова.

Вырос надмогильный холмик. Все опустились на колени вокруг могилы. Мулла сел у западного края могилы и прочел молитву. Все сидели молча еще минут пять после того, как мулла кончил молитву. Потом все встали и пош-

---

[1] Тейт! — Не смей!

ли. Отойдя шагов на сорок, все внезапно повернули назад и, подойдя к могиле, начали громко говорить добрые, слова о бабушке: правоверная магометанка, она была честной женщиной, никого не обижала ее добрая душа. Потом отошли снова и более не возвращались.

Считалось, что, когда люди отходят на сорок шагов, в это время в могилу входит архангел Жебраил для допроса покойника, и люди возвращаются «на выручку», чтобы, в случае, если покойник растерялся и невнятно отвечает на вопросы божьего следователя, засвидетельствовать всем миром и убедить Жебраила, что умерший на земле был вполне добропорядочным человеком. Жебраил, поверив живым, прекращает допрос, покидает покойника и улетает, чтобы доложить создателю о том, что прибыла еще одна праведная душа, покинувшая его грешное стадо на лживом месте.

Все вернулись в аул. Женщины встречали нас с плачем. Подали чай, после него бесбармак, приготовленный уже нашим домом. Ели и читали молитвы по бабушке, говоря: «Тие берсін» (да дойдет до нее). В конце «бабушкиного ужина» отец положил перед муллой пачку денег и от имени всех выразил ему благодарность за отправление молитвы по покойной.

Вещи и украшения бабушки положили в сундук и заперли.

Родня погостила еще три дня в траурной обстановке и разъехалась. Тетки мои и Убианна поплакали на прощание по бабушке и просили нас не забывать, что объединяющий всех нас узел, каким была бабушка, развязан и что теперь настала пора укреплять и поддерживать братские и сестринские чувства. В свою очередь наши ответили с должной вежливостью, что память бабушки налагает на нас еще большую ответственность в поддержании дружественных и родственных связей и их укреплении.

Каждую пятницу зажигались сальные свечи и читались молитвы.

Хотя казахи в шутку считают, что смерть старух — «торжественный акт», но все же мы кончину бабушки переживали глубоко, и нас всех, начиная от отца и кончая самым младшим в семье — мною, долгое время не покидало чувство осиротелости.

Бабушкина смерть была первой смертью, которую я видел, и ее похороны — первыми похоронами с соблюдением всех казахских церемониалов, в которых я участвовал.

После смерти бабушки наш дом долго хранил траур. Все грустили, всем чего-то не хватало. Домочадцы хмуро перекидывались между собой словами только по самым неотложным домашним делам. Все были молчаливы, как будто бабушка унесла с собою веселье, спор, драки и галдеж детворы, семейную суету, праздничность обедов и вечеров за ужином. Женщины молча варили пищу, разливали и подавали нам, а мы молча ели свои порции.

Особенно чувствительный дядя ежеминутно печалил нас всех тяжелыми вздохами. Когда дядя ложился прямо на пол и, уставившись неподвижным взглядом на потолок, глубоко вздыхал, отец исподлобья посматривал на него. Мы все, глядя на дядю, сидели в тяжелом молчании.

— Момынтай!— обращался тогда отец к своему брату.— Встань, иди за скотом посмотри!

Дядя вставал и медленными шагами выходил из дома. На дворе он отвязывал лошадей и коров, выпускал баранов и коз. Те устремлялись к ручейку. Затем дядя брал из стога охапку сена и разбрасывал ее за изгородью. Скот бросался к корму, а он сидел на корточках и грустно смотрел на животных.

— Пойдем домой,— приглашал его отец. Дядя вставал и покорно шел за ним.

Нам всем не хватало бабушкиной власти, ее внушительного окрика, повелительных жестов, одобрительного смеха, доброй ласки, жесткой строгости и хороших минут, когда она рассказывала нам сказки, а в морщинах вокруг ее глаз прятались легкие и хитрые усмешки.

Как в бою внезапная потеря командира вносит растерянность в ряды, так и в обыденной жизни, у очага, где все мы родились, росли, воспитывались и привыкли к строго установленному бабушкиному распорядку, произошла заминка, растерянность, и никто из старших пока не осмелился взять на себя роль бабушки и заменить ее. Как будто мы ждали ее, казалось, вот-вот она вернется, разбудит семью от тяжелого летаргического сна, даст живительный толчок. Но, увы, с каждым днем мы убеждались, что она ушла от нас навсегда.

Дедовская почерневшая от времени кровать из массивного дерева, с резьбой и облезшими, поблеклшими красками, стояла на старом месте в левой стороне комнаты. Она выполнила свой последний долг перед хозяйкой — послужила ей смертным одром. Скромная постель бабушки была аккуратно заправлена. По обычаю, занимать кровать никому не полагалось.

По ночам мы больше не слышали ни старческого кряхтения, ни глубокого кашля, ни мирного сопения бабушки, и нас никто больше ласково не заманивал.

Через две недели после смерти бабушки были зарезаны два жирных барана, приготовлен бесбармак, наварены баурсаки и приглашен весь наш аул. Старухи, обмывавшие бабушку, сидели на почетном месте, остальные — в порядке старшинства. Были прочитаны молитвы из Корана по бабушке, и все пришедшие, пожелав ей царства небесного, приступили к еде. За едой все молчали, но когда был подан чай, отец встал со своего места и прошел к центру полукруга среди сидевших гостей. Дядя стал рядом с ним. Сложив руки на животе, отец обратился к смуглой, в глубоких морщинах старушке в белом жаулыке, наверченном огромным воздушным пирогом на маленькой головке.

— Почтенная апа,— сказал отец,— вы со своими почтенными товарками,— он с уважением перечислил имена рядом сидевших с нею старух,— оказали нашей любимой матери и нам, вскормленным ее священным молоком, услугу, которую в состоянии оценить один бог...

— Все мы смертны, сын мой! Мы выполнили только свой долг,—прошамкала старуха дрожащим голосом. Ей поддакнули такие же, как и она сама, древние подруги.

— Мы в неоплатном долгу перед вами, апа,— продолжал отец, а дядя, почему-то сутулясь, кивал головой, как бы повторяя слова своего брата.— Примите, почтенная апа, от всей души нашу благодарность!

Дядя и отец трижды глубоко поклонились старухам.

— Принимаем, принимаем,—пробормотала седая женщина в белом жаулыке.— Уважаем вас за то, что вы выполняете перед матерью свой сыновний долг.

— Вы, Момыш и Момынкул, в неоплатном долгу не перед нами,—зычным голосом перебила ее другая, бойкая старуха,— а перед своей матерью.

— Спасибо вам, дети. Вы хорошо устроили ее похороны,— в свою очередь добавила третья.— Дай бог и нам так окончить свою грешную жизнь, как ваша мать.

— Нет. Они еще недостаточно сделали!— снова прокричала бойкая старуха.— Разве дети могут оправдать хотя бы сотую долю материнского труда, когда она вынашивала их под сердцем, выхаживала, не зная ни сна, ни покоя. Нет, вы такими не родились, это мать поставила вас на ноги,— закончила она.

— Ну да, ну да, вы правы, апа,—ответил отец, а дядя, расчувствовавшись, начал всхлипывать.

Домочадцы принесли бабушкины вещи и горой положили перед старейшей. Тогда та, что-то нашептывая беззубым ртом, начала раздавать вещи старухам. Когда вещи были розданы и остались только украшения, старуха сделала паузу, осмотрелась и, сказав несколько слов, раздала их более молодым женщинам: одной серьги, другой кольцо, остальным браслеты, коралловые бусы, говоря: «Носи на память».

Когда все разошлись, двое мужчин вынесли из дома бабушкину кровать, поставили на крышу дома, где ее долго прожигало солнце и обвевал ветер.

После этого в доме не осталось ничего из вещей, что напоминало бы нам о бабушке.

«В неоплатном долгу перед матерью...» — эти слова бойкой старухи глубоко врезались в мою память. Я понял, сколь многим — жизнью и существованием своим — мы были обязаны бабушке. Особенно это подчеркивалось неутешным горем дяди, который больше всех нас был потрясен смертью бабушки. Ведь бабушка при жизни больше всего покрикивала именно на своего младшего сына, и мне стало стыдно за себя, что я ее смерть переживаю не столь сильно, как дядя.

И я стал ходить следом за дядей, с детской искренностью подражая ему во всем, тем самым желая исправить свою ошибку, свой проступок, допущенный в отношении памяти бабушки. Я знал наизусть несколько молитв, которым научил меня отец, и, ложась спать, произносил их про себя, в душе посвящая их бабушке.

Через несколько дней отец, видимо, освободился от дел и хлопот, связанных с ее смертью. Все реже стали посещать наш дом соболезнующие нам, которые, не здороваясь, входили и без приглашения садились на почетное место, шептали слова молитвы, выражали сочувствие нашему горю: «Такова судьба человеческая!», «Да произрастают ее ветви!», «Благоденствуйте, живущие!».

Обычно гостя поили чаем, и отец или дядя провожали его, помогая ему влезть на коня.

Обычай запрещал появление кого-либо из членов нашей семьи в общественном месте, чтобы избежать встреч со знакомыми, еще не побывавшими у нас, не выполнившими долга выражения соболезнования.

«Только недавно похоронили родного человека, а уже разъезжают!» — так осуждали в народе тех, кому не терпелось сбросить траур.

«Ты до сих пор не посетил дом, который навсегда поки-

нул человек, оставив в горе своих ближних»,— укорял народ тех, кто запаздывал с выражением соболезнования.

Мы стали домоседами, а люди, оказавшиеся поблизости от аула, спешили в наш дом, чтобы выполнить долг.

Выражение соболезнования по умершему делится на две категории: «Конил айту» (говорить успокоительные слова) распространяется на всех знакомых и близких покойника. Те из знакомых, которые не были на похоронах, выражают свое сочувствие, заехав в аул или при случайных встречах на базарах. Каждый вошедший в дом впервые после похорон свой визит начинает с чтения молитвы, выражения соболезнования и не разрешает себе никаких деловых разговоров или веселья. Дело, если оно имеется, откладывается до следующей встречи. Второй вид: «Бата оку»— чтение молитвы по покойнику. Это форма выражения соболезнования соблюдается всеми, имеющими какое-либо родственное отношение, и «тамырами»— задушевными друзьями.

Обыкновенно приезжали все взрослые из семьи соболезнующего в сопровождении трех-четырех человек из своих аульных друзей. Они привозили в коржуне зарезанного барана, баурсаки, чай, сахар и «бата окырлык» для чтения молитвы (скот или деньги).

Читались молитвы за упокой души умершего, устраивались угощения — поминки. Многие семьи тут же возвращали «бата окырлык», прибавляя от себя «жыртыс», который раздавался сопровождающим. Каждая из сторон старалась делать широкие жесты, подчеркивая, что они ничего не жалеют для упокоения души ближнего — что на этом ложном свете богатство не имеет никакого значения, и надо делать все, чтобы выполнить свой долг перед покойным, воздать должное его душе.

Поминальные церемонии по бабушке продолжались вплоть до годовщины ее смерти. Приезжали к нам все наши родственники от всех ветвей — как мне помнится, их было двадцать две семьи. На каждый месяц приходилось по два поминальных наезда. Эти визиты дали мне возможность познакомиться со всеми нашими родственниками из далеких районов. Среди них были и зажиточные, и середняки, и бедняки. Для бедняков этот акт обходился недешево — они привозили свое последнее. Отец и дядя к ним были особенно внимательны. Я помню, как приехал наш племянник Арыстан из-за Буруддаев в сопровождении двоих таких же оборвышей, как он сам. Привезли они несколько фунтов мяса, купленного, по-видимому, на базаре, пачку

чая и фунт сахара. Положили на скатерть несколько пятерок и с виноватым видом сказали:

— У бедного руки коротки, но от чистого сердца бабушке ставим.

Они нами были приняты с почетом, пятерки им вернули обратно и прибавили вдвойне. Арыстан простодушно тут же разделил деньги поровну и роздал своим товарищам.

— Хорошо, что бедняку не сопутствует мерзкая скупость,— говаривал впоследствии отец, вспоминая скромность Арыстана и скупость богатого Кырыкбая и его правило: «Состояние накапливается из копеек». Да, действительно, как и у всех народов, наши бедняки пренебрегали правилами Кырыкбая и не были копеечниками.

Кырыкбай был богатым человеком, моя тетя Пияш была его второй женой. В семье Кырыкбая она не находилась на втором положении, но все же вынуждена была считаться с мужем.

Однажды дядя повез меня к ним в гости. Кырыкбай жил скупо и неряшливо. Посреди юрты сидел болезненный старик и вмешивался во все дела домашней кулинарии. «Сварите десятка два баурсаков», «Положите щепоточку чая в чайник, чтобы не получилось густо, как прошлый раз», «Положите в котел вот эти куски мяса», «Побольше лейте воды в котел, чтобы всем домашним хватило сурпы», «Месите тесто в два кулака, для гостей это будет достаточно», «Зачем так много чистого кизяка принесли?», «Куда столько соли кладете? Она же не валяется, как камни Каратау», «Накормите батраков болтушкой». Так покрикивал он, и выкрики эти заполняли весь вечер. Все домашние покорно выполняли все его приказы. Этот сварливый старик не давал ничего спокойно делать, все сопровождая своими замечаниями. Его жены, снохи и сыновья не возражали ему, на их лицах была ненависть, а в глазах можно было прочесть: «Когда же ты помрешь? Скоро все уши будут продырявлены твоими упреками».

Когда подали чай и рассыпали десятка два баурсаков на дастархане, Кырыкбай велел подать три куска сахару, сам расколол два на мелкие кусочки и рассыпал по скатерти, а третий вернул обратно, велел положить в сундук и справился, сколько еще кусков сахару осталось.

— Должно быть, двадцать,— ответила Пияш.

— Как двадцать? Утром было двадцать семь,— заволновался Кырыкбай.

— Да ведь дом не без гостей,— оправдывалась Пияш.— Сегодня из соседнего аула гостили.

— А зачем соседок приучать к чаю с сахаром?!— возмутился Кырыкбай.

Слушая этот странный, непривычный для меня семейный разговор, я не заметил, как по знаку Кырыкбая убрали дастархан.

Когда бесбармак сварился, Кырыкбай снова начал: «В эту тарелку вот этот кусок положить, в эту тесто положить, а этот остаток разрезать на мелкие кусочки и с остатком теста раздать остальным».

Нам подали чашу на троих. Кырыкбай, засучив рукава, начал разрезать мясо на куски. Когда все было готово, он пригласил нас приступить к еде. Я попробовал — тесто было непомерно толстое и соленое. Видимо, сноха, месившая тесто, соль не рассчитала на «два кулака». Мясо было недоброго качества и чуть припахивало. Я во второй раз не полез в чашу. Дядя делал вид, что кушает, поднося пустую руку от чаши ко рту, а Кырыкбай, как голодный волк, уплетал бесбармак. Его многочисленная семья копошилась вокруг казана, протягивая руки и украдкой отправляя в рот полученные кусочки.

Кырыкбай очистил чашу до дна, вытер руки о голенища, выпил поданную сурпу и погладил бороду.

— Бап бопты! Бап бопты!— сказал он довольным от сытости голосом:— Как раз, как раз что надо вышло. Зачем напрасно лишнее готовить? Всегда делайте так!— поучал он недоумевающих жен и снох, а полуголодная семья, понурив головы, смотрела вниз.

В полночь я проснулся.

— Ты чего не спишь?— спросил дядя.

— Есть охота.

— Тише! Стыдно будет, потерпи немного, а утром поедем к Келимбету, там тебя хорошо накормят.

Рано утром дядя поспешил под каким-то предлогом покинуть аул Кырыкбая. Уехали мы голодными.

Келимбет был свекром младшей моей тетки Убикуль. Он жил верстах в двадцати от аула Кырыкбая в Каратау, в ущелье Бор-Казган, что значит известковое ущелье. Он также был многосемейным, но считался бедняком, вернее, маломощным середняком. У них в ауле было чисто и аккуратно. Вся семья встретила нас радушно. Нас искренне приветствовали и расспрашивали о здоровье.

Первым делом дядя заявил, что мы голодны. Тут, пока вскипел самовар, добрая худощавая смуглая старуха, свекровь тети, быстро подала нам хлеб, курт, масло, сливки, молоко.

Наевшись досыта, я посмотрел на дядю и сказал, подражая Кырыкбаю:

— Бап бопты! Бап бопты! Как раз что надо вышло.

Дядя расхохотался и рассказал за чаем о вчерашнем вечере, проведенном у Кырыкбая. Вся семья Келимбета, дружно и запросто сидевшая за дастарханом, покатывалась от смеха...

Но я немного отклонился от темы. Итак, за год, прошедший после смерти бабушки, у нас побывали все родственники по всем линиям и ветвям. Приезд Серкебая был пышным и подчеркнуто эффектным. Серкебай привез щедро наполненные поминальные коржуны. На этот раз он был молчалив, не кричал на дядю. Он сходил на могилу к бабушке, часто вздыхал и охал, говоря, что теперь он один остался из старшего поколения нашей семьи, называл себя одиноким. Видимо, старик переживал, что настает теперь его черед по возрасту покинуть этот ложный свет. Он не пропускал времени намаза (молитвы), чего я раньше не замечал за ним. Теперь он не требовал, не приказывал, а просил дядю регулярно читать Коран за упокой души предков. Он даже раза два ласково назвал дядю уменьшительным Момынтай, как иногда в добром настроении звала его бабушка. Смерть бабушки и одиночество укротили пылкий характер Серкебая, но ненадолго...

Поминки по бабушке прошли почтительно.

Да, казахи умели радоваться появлению новорожденных, счастью новобрачных, осыпая их поздравлениями; и умели чтить память умерших. Это входило в нормы поведения, это был общественный долг, обязательный для всех.

Когда хлопоты в связи с поминками улеглись и были совершены визиты всеми ближними, отец начал читать по вечерам в свободное время Коран об упокоении души бабушки. Эти своеобразные панихиды совершались им серьезно и торжественно, и в них была вовлечена вся семья.

Чтению Корана, как и молитве, предшествовало омовение. Из сундука отец доставал большую пожелтевшую книгу в кожаном переплете. Он нес ее осторожно и садился посредине разостланной чистой кошмы — текемета, отделанного орнаментом. Отец прикладывал Коран ко лбу, к бороде и, принимая молитвенно-торжественную позу, начинал читать. Мы полукругом усаживались возле него и внимательно слушали. Он читал медленно и нараспев, почти по слогам непонятные нам арабские слова, делая особенно протяжный запев на последнем слове каждой строки.

Нас увлекала поразительная певучесть рифм, ритм не-

понятного, но благозвучного языка пророка, любимца бога, как нам с малых лет внушали о Мухаммеде — пророке правоверных мусульман.

Несмотря на то, что слова нам были непонятны так же, как и содержание читаемого, серьзная сосредоточенная поза отца во время чтения, его взволнованный, дрожащий голос покоряли нас, и нам казалось, что действительно он через эту книгу, лежащую перед ним на большой подушке, разговаривает с богом. Мы не разрешали себе во время чтения ни одной детской шалости.

Чтение Корана продолжалось час, иногда два. Отец отрывал руки от раскрытой книги, которую он перелистывал, и, закрыв глаза, наизусть произносил начало суры Корана, подымая раскрытые ладони рук. Мы тоже вытягивали перед собой свои ручонки, слушая заключительные слова отца, которые он говорил по-казахски на родном понятном нам языке:

— О всемилостивейший в всемогущий создатель восемнадцати тысяч тварей, летающих в небесах, двигающихся по земле и плавающих в воде! О творец вселенной, священного солнца, серебристой луны, мерцающих звезд, неба и земли! О мудрый создатель света того и другого, твердыни земной и бескрайней синевы океанов и морей, бурных рек и покрытых узорами цветов степных просторов, величественных гор и гранитных скал зубчатых! Мы, потомки твоей рабыни, одноутробные братья и сестры, внуки и внучки, склоняем перед тобой свои головы и обращаемся к тебе с молитвою от чистого сердца об упокоении души родительницы нашей, покойной матери нашей... Да прости ты ей не по заслугам, а по милости твоей все ее земные грехи и прими ее душу в светлые края твоего небесного царства. Аминь! Да дойдет наша молитва до твоих ушей и да будет принята тобою!

Произнося это, отец троекратно гладил свою длинную бороду с проседью, а мы — свои детские личики.

Я вспоминаю теперь, что заключительные слова отца производили особое впечатление на мой детский ум, и мое детское воображение устремлялось в дальние, далекие пути.

Когда он говорил о «его всемогуществе», мне представлялся великан громадным молотом, дробивший огромные глыбы камней. Отец произносил: «О всемилостивейший», и в моем воображении великан останавливался и расплывался в широкой доброй улыбке. «Создатель восемнадцати тысяч тварей», провозглашал отец, и перед моими глаза-

ми мелькали птицы, жуки, жеребята, ягнята, козлята, верблюжата... «Творец морей и рек, суши, просторов степей и гор». При этих словах по мановению руки великана в степи возникали громадные водоемы. Вода, хлынув, разливалась в моря и реки. Огромной лопатой великан черпал землю, делал запруду, и эта куча земли превращалась в гору.

«Сыновья и внуки твоей рабыни...» Это меня оскорбляло, я не хотел быть внуком рабыни. В моем воображении образ моей властной бабушки никак не мирился с понятием рабыни. Я не хотел ее представлять себе униженной и оборванной.

«В светлом уголке твоего небесного царства...» Я вспоминал крик дяди «Ой, темно!», когда засыпали могилу бабушки при ее погребении. Мне было тогда страшно и было жалко бабушку; искренне глотая слезы, я произносил с отцом: «Предоставь ей светлый уголок в твоем небесном царстве».

Еще мне врезалось в память: когда умер мой двоюродный брат Аруан, единственный сын моей тетки Айсы, старуха, бледная, обливаясь слезами и задыхаясь от гнева, рвала в клочья все на себе и, распустив седые волосы, в приступе неутешного горя проклинала аллаха, называя его из ума выжившим старцем. Я был потрясен, и до сих пор еще остается в моей памяти как выражение беспредельного материнского горя этот протест против смерти, обрывающей молодую жизнь.

Всеобщая покорность старших аллаху, с одной стороны, и проклятия тетки, с другой, не умещались в моем детском сознании. Я иногда уходил из дома к роднику, и там представлял в своем воображении аллаха. Мне хотелось найти его, увидеть.

И вот, как бы идя навстречу моему воображению, в центре небосвода вставало большое белое облако в форме громадной сидящей фигуры. Вот он! Я, не отрываясь, всматривался в облако и лепил в своем воображении могучего старца в просторном белом халате, с лохматыми седыми вьющимися волосами и длинной бородой. Облако растягивалось, и я как бы видел в профиль его белые брови и длинные ресницы. Вот он поворачивается, и мне казалось, что он следит за всеми...

...Приехала погостить Убианна. Она помнила лучше всех нашу маму и попросила отца читать Коран и по ней. Отец исполнил ее просьбу. Теперь читался Коран не только по бабушке, но и по всем умершим предкам, с упомина-

нием их имен и непременным повторением слов: «твоего раба», «твоей рабыни». О многих наших предках мы слышали впервые, и отец, ощутив наше равнодушие к их именам, после окончания чтения рассказывал, кем они приходятся нам, как провели свою жизнь, какие они были, и какой был у них характер. Мы с удовольствием слушали воспоминания отца. Он умел рассказывать интересно, и вечера стали не только молитвенными, но и в определенной мере литературно-художественными. Все мои воспоминания о нашей родне и некоторые предания о наших родичах почерпнуты из этой «вечерней школы» отца.

В это время отцу исполнилось шестьдесят лет. С момента, когда я начал помнить себя, отец уже был с проседью в бороде, но при жизни бабушки мне не приходило в голову, что он — пожилой, стареющий человек, так как он для бабушки, живой матери, всегда оставался ребенком, над которым она проявляла родительскую власть. При жизни бабушки он был в семье лишь старшим из детей. Когда есть в доме старик или старуха, все кажутся при них молодыми. Отец для нас теперь перестал быть молодым.

— Мы — семья, мы — народ,— говорил отец.— В семье старики умирают, молодые рождаются и живут, но народ не знает смерти. От матери нас в живых два брата, шесть сестер, а внуков у нее по всем линиям, слава богу, в живых двадцать три. Всего она оставила тридцать один корень. И у вас, дети мои, будут корни,— так он обычно кончал свои рассказы.

Весной наша семья ортачила вместе с русским мужиком Кузьмой Гончаровым, рыжебородым, с красными веками, морщинистым стариком. Он был многосемейным. Старшего сына мы звали Сашке, другого — Некоди, третьего — Тишко, четвертого — Керилля, моего сверстника — Василь, старуху — Матьке, а двух снох — Саньке и Маньке.

Казахи никогда не произносили имена и фамилии русских правильно, всегда их перекраивали по-своему и давали им клички по внешним данным или характеру: Кызыл Жагор — красный (рыжий) Григорий, Дмитрий — Метрей, Лука — Илуукэ.

С Кузьмой мы ортачили на таких условиях: земля наша, семена поровну, тягловая сила его. От нас во время сева и уборки работал дядя. Остальное нерaвен-

ство во вкладах и в труде Гончаровы компенсировали молоком и мясом.

Гончаров приехал к нам в аул со всей семьей на двух бричках, с железными плугами и боронами. Они с отцом обмерили саженями землю, дядя помогал и учился собирать плуг, «амуничивать» коней хомутами, шлеями и постромками.

Начали пахать: два плуга один за другим волнами разбрасывали землю и прокладывали глубокие борозды. Нам, привыкшим царапать землю омачами, казалось, что плуги прямо разворачивают землю «до дна». Я долго бегал, наблюдал, как плуги режут жирную землю и отбрасывают ее своими крыльями, оставляя глубокую прямую борозду. Четыре добрых рыжих коня тянули плуги. Мы с Василием ездили за плугами, волоча за собой борону.

Если при пахоте омачом оставались между бороздами прорехи, и пахота пестрела ими, и кое-как проборозденная дышлом земля лежала комьями, то теперь тяжелые железные бороны разбивали комья, и за нашим следом мелкими волнистыми рядами лежала ровная пахота. Я смотрел часто назад и любовался черными волнами земли.

Гончариха варила в чугунах пищу. Наши женщины с любопытством наблюдали за нею и дивились множеству овощей.

Более подробно о семье Гончаровых и нашей дружбе с ними я расскажу несколько позже.

Кончились зимние вечера.

Пришла весна. В том году месяц науруз, первый день которого считается новым годом по самсатскому календарю, пришелся на самый разгар доброй весны, когда она начинала раскрываться во всей красе.

Стояли мягкие, ясные солнечные дни... Зелень иглами пробивалась сквозь толстый покров земли. На ветвях деревьев, посаженных дедом, набухали почки. Ледяные вершины Алатау ослепительно сверкали, отражая лучи солнца. Земля отдавала легким паром, со скотных дворов доносился прелый запах навоза. Уже появились и птички-певуньи и на все лады закричали и защебетали. Высоко в небе пролетали вереницы журавлей.

Коровы телились, овцы ягнились... Все радовались, суетились, повсюду принимали новорожденных. Коровы перед отелом становились какими-то особенными: их глаза блестели, раздувались ноздри. Как бы к чему-то прислу-

шиваясь, они, навострив уши, рвались на волю... По этим признакам, которые казахи называют «бошалау», мы знали, что корова с часу на час должна отелиться, и следили за ней.

...Дядя, приняв рыже-красного теленка, тут же подул ему в лоснящиеся ноздри и осторожно положил его на солому. Корова, мыча и угрожая нам рогами, подходила к младенцу и шершавым языком лизала его мокрую короткую шерсть. Теленок пытался встать на свои длинные тонкие ножки с прозрачными хрящиками копытец и... падал; делал еще попытку и снова падал, все дальше уползая от соломенной подстилки. Мать оберегала его и не подпускала нас к нему. Но вот, наконец, теленок, шатаясь на тонких, как прутики, ножках, сделал первые два шага и, тыча мордочкой в брюхо матери, стал искать сосок вымени, но, не находя его, снова падал... Тогда дядя подходил к корове, строгим окриком прекращая ее ревнивый протест, пальцем оттягивал соски, чтобы прочистить их, и подносил теленка к вымени. Ощутив, что теленок сосет, мать успокаивалась и отдавалась блаженству первого кормления своего детеныша.

Все эти сценки вызывали умиление и восторг домочадцев.

Но вот стремглав несется к нам с криком радости сестра Алиманна. Шлепая босыми ножками, она несет новорожденного — черного кудрявого ягненка, за ней бежит жалобно блеющая овца...

Исхудавшие за зиму, еще не перелинявшие жеребята паслись, пощипывая зеленую траву. Они резвились так забавно в своих, казалось, навыворот надетых, рваных шубенках.

Тяжелые воспоминания о зиме были быстро забыты в общей радости животных и людей, которую принесла весна.

Дядя стучал топором, приводя в порядок примитивный сельхозинвентарь, готовясь к севу.

Женщины парили зерно пшеницы и колотили его в ступе, чтобы очистить от шелухи, ставили большие казаны и варили новогодний перловый суп, заправляя его молоком.

Начиналась встреча нового года — весны.

Из аула в аул ходили люди поздравить с весной соседей и откушать «наурыз коже». Каждый мог зайти в дом, поздравить с наурузом и получить от хозяйки миску супа. Гость садился и, приступая к еде, приговаривал:

— Благодарим судьбу за то, что встречаем в своей жизни еще один новый год.

Суп полагалось хвалить и съедать весь.

Попадались женщины, которые, отличаясь коварством и пристрастием к злым шуткам, специально хранили большую деревянную миску и, когда входил тот, на кого они имели «зуб», до краев наполняли ее супом и преподносили своей жертве. Тот суеверно, не смея отказаться, садился в угол и, не справляясь с такой солидной порцией «божьего пайка», ел его целый день до позднего вечера. Когда же он, обессиленный, останавливался, чтобы передохнуть, его торопила хозяйка:

— Ешь, ешь, мой мужественный герой, я желаю тебе в этом году столько счастья, сколько зернышек в твоей миске!

— Спасибо, дорогая, я же ем,— бурчал в ответ гость.

— Ешь, ешь, незабвенный, ешь, пока горячо, не давай своему счастью остыть!

— Ешь, дорогой, пусть чаша твоих желаний будет такой же полной,— ехидно поддакивал хозяйке другой гость.

И пока первый мучился над огромной миской, остальные рассказывали анекдоты, острили, шутили, пели и читали стихи в честь весны. Это были своеобразные торжественные тосты...

Как весенней порою шумят тополя,
Ходит ветер, цветочною пылью пыля,
Все живое обласкано солнцем степным,
Пестроцветным ковром зацветает земля.
Верблюжонка верблюдица громко зовет,
Блеют овцы, в кустах птичий гомон встает.
Мотыльки над травой и в ветвях тополей,
Заглядевшихся в светлое зеркало вод.
Сколько птицы! В любом приозерном пруду
Тронь осоку — и птица пойдет в высоту.
Скачешь — смотришь, как спущенный сокол ручной
Из-под облака бьет гуся на лету...

Кто лучше тебя, Абай, сказал о нашей казахской весне! Я впервые той весной услыхал твое имя. Отец за обедом рассказал, что далеко, «за семью реками», живет Абай, из рода Тобыкты, что он болыс— волостной управитель, что он самый умный из рода Тобыкты, и что он не только болыс, но и сочиняет хорошие стихи, что он большой акын, и песни его поет вся степь.

Когда весеннее солнце пряталось за край земли, мигая косыми лучами, люди расходились, желая друг другу полного счастья в новом году...

Почтовая станция, где дядя в трудный год служил ямщиком, стояла на тракте Ташкент — Фрунзе. Этот тракт был прозван «Черной дорогой», по-видимому, потому, что она среди засеянных полей действительно прорезала черной лентой наши поля.

«Черная дорога» проходила по возвышенной местности, откуда берет свое начало «Тысяча родников». Насколько я помню, дорога эта на всем своем протяжении ни разу не пересекает ни один из этих ручейков, пробивших свой путь в многочисленных балках. Она служила для нас границей двух угодий: посевного и пастбищного. Возвышенная местность идет на юг от этой дороги, к Алатау. Почва здесь усыпана мелким щебнем, поэтому ее не пахали, а пасли на ней скот.

Весной наш аул, чтобы не травить скотом посевы и сенокос, всегда откочевывал на летовку и проводил все лето в нескольких верстах от дороги, заселяя возвышенность белыми грибами юрт.

Земледельцы, у которых было немного скота, не уходили к далеким подножиям Алатау, потому что и здесь было достаточно корма. Они были привязаны к своим посевам и лугам — лето у них было трудовое. Обычно к Алатау откочевывали более зажиточные.

Там, на небольшом клочке земли, радиусом не более пятнадцати-двадцати километров, на каждом отрезке, приближающемся к горам, весна запаздывала на несколько дней и недель, климат и растительность отличались ступенчатостью: чем выше, тем холоднее.

Эту особенность нашего края шутник нашего аула Токмырза приписывал рассеянности аллаха при сотворении мира.

— Сотворил аллах мир этот грешный,— рассказывал шутник одному из гостивших у нас степняков,— устал старец после трудов тяжелых и задремал. Очнулся, смотрит: забыл создать наш район. Нахмурился он, рассердился на себя. Сердясь, оторвал кусок ледника с Гималаев и швырнул сюда,— Токмырза показывал на Алатау.— Пока бог оглядывался по сторонам, ледник начал таять, и потекли тысячи ручейков. Тогда он оторвал кусок от южных гор и влепил его сюда,— он показывал на Каратау,— чтобы запрудить эти ручьи. Делалось им это торопливо, впопыхах, и получилось, как видите: ручьи уперлись в Алатау. Куда же им было деваться?.. И потекли они тогда по склону, с запада на восток. Вот поэтому та речонка и называется Терис, что значит — обратная. Вот, уважаемые, поче-

му у нас один клочок земли непохож на другой. А для того чтобы в людях разнообразие было, привел он сперва из жарких иранских сторон в халате нараспашку узбека, потом с берега Енисея — пухловеких киргизов, а вот совсем недавно — белобрысых русских. Это не то, что у вас, в степи, которая разостлана, как скатерть, на ровном месте, и лежит себе под солнцем, и живут там лишь одни казахи. А у нас, друг, все разнообразно: хочешь горы — вот тебе горы, хочешь воды — вот она, хочешь хлеба — вот тебе хлеб, хочешь фруктов разных — на тебе их, хочешь базар —вот он тебе каждый день, а не то что у вас: степь, скот, мясо, и... все.

Уже несколько лет почтовая станция Бекет, единственное кирпичное здание в волости, стала местом больших собраний. Туда съезжалось со всей волости на сходку несколько сотен верховых.

Приезд Садыка Абланова совпал на этот раз с Первым мая. Аблановых было трое. Старшего народ знал под именем Избасар и о нем отзывался как о необузданном самодуре, занимавшем в уезде какой-то пост, на котором он недолго удержался. Когда стало известно о его провале, многие не удержались от возгласов: «Так ему и надо!»

О Садыке Абланове народ отзывался как о степенном, прямом, неподкупно честном человеке. Говорили, что он знающий, обходительный, умный.

Первого боялись, но не уважали, второго— не боялись, но уважали. Народ определял свое отношение к братьям, особо подчеркивая их имена — Избасар Абланов, Садык Абланов.

Избасар приезжал с шумом, громом. На собрание он никого, кроме «депутатов», не допускал. Участников собрания он, как говорится, тер в песок, оскорбляя, называл шантрапой, ослами, верблюдами и не стеснялся «приукрашивать» речи свои уличной бранью. Часто угрожал зачислением в «черные списки» и ссылкой в Сибирь. Все возвращались после собрания словно избитые и, когда Избасар уезжал, смеялись над ним, карикатурно изображая его походку, интонацию и жесты.

Собрания с Садыком отличались многолюдностью и скорее напоминали митинг. К нему спешили старые и малые, и даже женщины. В народе говорили, что Садыка украшают вежливость и скромность.

Стоял ясный день. Накануне было объявлено, что завтра приедет в Бекет Садык и что он просил желающих

из народа прийти послушать его. «Он сочтет для себя честью поделиться новостями с братьями и сестрами».

Отец и дядя решили забрать и меня с собой. Я быстро оделся и, радостный, поехал на коне, сидя позади дяди. По дороге мы догнали группу всадников, среди которых на своем Кокшолаке ехал Аккулы. Он поздоровался с отцом своим обычным:

— Будь здоров, Момыш!

— Будь жив, Аккулы.

— Садыка слушать едешь?

— Да, Аккулы.

Аккулы, увидев меня позади дяди, воскликнул:

— А, молодой джигит... Ты куда?

Заметив, что я растерялся, дядя, почтительно приподнявшись на седле, ответил за меня:

— Садыка послушать, Ака.

— Да...— протянул старик.— Хорошее слово услышать— это полсчастья!

Тут Аккулы заметил, что один из его молодых спутников, когда кони перепрыгивали через канаву, качнулся в седле. Аккулы с гневом обрушился на него:

— Ты что коня мучаешь? Это тебе не качели! Коня послал, а сам на месте остался! Ведь ты мог благородному животному хребет переломить!

— Он ведь нечаянно, Аккулы!— примирительно вмешался мой отец.

— Ах, оставь, Момыш! Оставь, ради аллаха! Ездок не только себе, но и коню случайности позволять не должен!— ответил Аккулы и еще раз гневно взглянул на покрасневшего до ушей юношу.— Какая нынче молодежь пошла, Момыш! Прямо, мешок да мешок, да еще какой мешок!.. Ах, как печально видеть под таким бедного коня.

Так почти до самого Бекета старик болтал, всякий раз подчеркивая свое превосходство над всеми в верховой езде. Все почтительно слушали его, старались ехать как можно ровнее, дабы не получить язвительных и колких замечаний.

У меня испортилось настроение еще в тот момент, когда мы выехали из дому: я злился на дядю, который не разрешил мне оседлать коня. И теперь, сидя сзади него на крупе лошади, я глядел на широкую спину дяди и презирал его, но речи строгого и придирчивого Аккулы примирили меня с моей несамостоятельностью.

Мы въехали в Бекет. Все пространство вокруг стан-

ции было окружено сотнями забутованных коней. Люди собрались у холма и, подстелив полы халатов под себя, рассаживались. Народу было много: седобородые старики, мужчины, джигиты, юноши, а в стороне скучилась группа женщин из ближних аулов.

Все в ожидании смотрели на здание станции.

— Идет! Идет!— раздался шепот в рядах.

В сопровождении почтового начальника в форменном картузе старого покроя и нескольких казахов из волостного управления шел мужчина среднего роста, в серой шинели нараспашку и без шапки. Я, как только его увидел, так же, как и другие, впился в него глазами. Он шел, спокойно переговариваясь с одним из сопровождавших. Лицо у него было бледно-желтое, нездоровое, широкий лоб, лысеющая круглая голова, коротко подстриженные черные усы, усталые, с легкой припухлостью глаза.

Садык поднялся на холмик и за руку поздоровался со стариками, потом, приложив руку к груди, поклонился обществу.

— Привет вам приношу, общество,— сказал он гортанным голосом.— Как поживаете, почтенные аксакалы, как ваше здоровье?— обратился он к старикам.

— Благодарим тебя, Садык. Как ты сам поживаешь?

— Как твое здоровье, Садык?

— Как дети твои растут?— расспрашивали его старики.

— Спасибо,— показывая в улыбке белые зубы, отвечал Садык.—Пока здоров... Как ваш Кокшолак, Ака?— обратился он к известному наезднику.

— От твоих милиционеров прячу,— язвительно отвечал старик под общий хохот.

Садык Абланов улыбнулся.

— Пусть никто не трогает вашего Кокшолака, Ака. Скажите, что я так велел,— спокойно ответил Садык.

— Благодарность тебе, Садык... А то от них и русским подводам и нашим коням — покоя нет... Все несутся как угорелые, загонять только коней мастера...

— Садык сказал уже свое слово,— прервал Аккулы мой отец.— Дай теперь мы его послушаем.

Аккулы зло посмотрел на отца, но промолчал. Садык склонился, как бы извиняясь перед Аккулы, и поднялся на самую вершину холма. Оглядевшись вокруг, спокойно и уверенно начал:

— Почтенные аксакалы, если вы разрешите, я хочу сказать слово,— обратился он к старикам.

— Говори, Садык, говори!— хором ответили те.

— Почтенные аксакалы, сверстники мои, и вы, молодые джигиты, и вы, дорогие женщины,— обратился он тепло.— Именно в этот день, когда обновляется природа, тридцать три года тому назад рабочие и все, кто трудится, на весь мир объявили, что этот день навечно будет праздником труда, свободы, дружбы и братства людей...

Потом он очень просто и доходчиво рассказал о празднике трудового народа— Первое мая. Кратко, но доступно обрисовал, что делается внутри страны и во всем мире, и, почтительно называя имя Ленина, рассказал нам, почему Ленин — великий вождь трудящихся всего мира. Он говорил о равенстве и братстве народов, о том, что несет революция трудовым казахам...

— Счастлив тот, кто свободен! Этого хотят большевики для всех людей!— так закончил он свою речь.

Все слушали его с огромным вниманием, не пропуская ни одного слова. После паузы раздались одобрительные возгласы:

— Правильно сказал Садык!

— Хорошее время выбрали для праздника!

— Умно решили!

Садык еще раз оглядел собравшихся. Насколько мне помнится, он вместо слова «товарищи» говорил «родичи мои».

— Родичи мои! Я ваш! Я вам не враг, а родня и брат. Я один из тех казахов, которые вступили в партию коммунистов. Я, как вы, люблю своих соотечественников и желаю им всяких благ. Хороший сын русского народа (а русский народ по численности намного больше нас, казахов), товарищ Ленин, учит нас, большевиков, служить верно и честно своему народу. Товарищ Ленин провозгласил свободу, равенство и дружбу между народами. Ни один человек не должен притеснять другого, никто не должен отбирать плоды трудов у других. Все люди должны трудиться так, чтобы в конце концов согнать с лица земли бедность, голод и страдания. Законы должны быть справедливыми. Вот почему я и мои товарищи пошли за Лениным, вступили в партию коммунистов... Все, о чем мы мечтаем и за что боремся, сбудется в скором времени. Мы убеждены в том, что, если мы правильно поставим дело и массы пойдут за нами,— достигнем намеченной цели. Мы убеждены, что наше завтра будет лучше, чем сегодня. Если не мы, то, во всяком случае, наши дети будут жить лучше нас, а внуки еще лучше.

Кто же, кроме злодея, может желать плохого детям и внукам своим?

Вы знаете нашу поговорку о том, что «под тенью раскидистого дерева, когда-то посаженного дедом, прохлаждаются внуки». Мы, большевики, хотим, чтобы люди хорошо трудились, чтобы плоды труда принесли им хорошую и счастливую жизнь... Надо сажать новое дерево, надо его выхаживать, как мать выхаживает младенца... Пусть наступит животворная весна и радостное лето и в жизни казахов!

Я к вам по важному делу приехал, но об этом после. А сегодня давайте праздновать Первое мая.

— Козла будем драть!—крикнул Аккулы.

— Кокпар! Кокпар!— загудела молодежь.

Садык широко улыбнулся и махнул рукой. Все притихли.

— Кокпар!— восторженно пронеслось по толпе.

Присутствие Садыка призывало всех к вежливости. Даже наши местные грубияны и надменно-язвительный «абсолютный чемпион по конному спорту» Аккулы, казалось, «на вершок присели» и старались быть вежливыми.

Кокпар был многолюдным и назывался «Май кокпары», то есть кокпар в честь майского праздника. Аккулы, как всегда, верховодил. Его присутствие держало игру в рамках строгих правил. Как вихрь, масса всадников носилась по ровному полю за тушею козла. Старики все, кроме Аккулы, разумеется, и в том числе мой отец, окружили Садыка и представляли из себя судейскую коллегию из зрителей.

Садык ехал на вороном карабаире и с веселой улыбкой наблюдал за ходом игры.

— Мы, большевики, хотим, чтобы у всех было весело на душе. Мы хотим, чтобы молодость наших юношей и девушек была счастливой и задорной. Наши враги клевещут на нас, что мы хотим отобрать счастье у людей, да и в наших рядах, к сожалению, попадаются невежды, которые на руку врагам портят колею своими кривыми колесами! Нет, мы хотим, чтобы все благородное и хорошее, что есть в народе, невиданно расцвело...

Садык говорил как бы между прочим, следя внимательно за игрой на зеленом поле. Теперь я сидел уже на крупе коня позади отца, так как дяде нужно было вдоволь насладиться кокпаром. Приступ оскорбленного самолюбия не оставлял меня. Единственным утешением для

меня было то, что я, как ни говорите, а находился в обществе Садыка Абланова.

Вдруг, как будто клинок рассек густую конную массу, из гущи кокпарщиков вырвался Аккулы. Мы не успели и глазом моргнуть, как он осадил своего серого коня и, швырнув Садыку тушу козла, крикнул:

— На, Садык!

Затем, подняв на дыбы своего коня, он отскочил в сторону. Кокшолак, пружиня на тонких ногах, заплясал на месте, удерживаемый короткими поводьями. Конная толпа рассеклась надвое о нашу группу, как волна рассекается об утес. Я казался себе таким ничтожным, обида точила мое сердце, хотелось сразу стать взрослым и поскакать со всеми.

— Вы, Ака, — душа кокпара,— говорил Садык старику Аккулы.— Я не хочу, чтобы наступил тот день, когда ваше искусство стало бы легендой для молодежи!

— Я пока не собираюсь в те края,—произнес обиженно Аккулы.—Нет, извольте не торопить меня, Садык!

Все засмеялись. Садык протянул Аккулы красный шелковый платок:

— Это вам, как лучшему джигиту. Первомайский приз!

Аккулы, взволнованный, приподнялся на стременах и принял подарок Садыка. Кокшолак, как бы аплодируя своему седоку, стал ударять оземь копытом передней ноги.

— А теперь, Ака, побудьте со мной,—попросил Садык.—Пусть молодежь повеселится.

И Аккулы покорно до конца кокпара оставался в обществе Садыка.

Кокпар продолжался почти дотемна. Садык не отрывал глаз от носившихся по степи всадников. Казалось, он был увлечен кокпаром, но его спокойные и сдержанные слова говорили о том, что он вдумчиво искал ответа на тревожившие его вопросы о судьбе этой волнующейся в страстях кокпара конной толпы.

— Момеке,—обратился он к моему отцу.—Я хочу у вас найти покой на ночь.

— Я буду рад, если ты осчастливишь мой очаг своим приходом, Садык,—ответил отец.—Я приму это за честь, и ты найдешь покой под моим кровом.

Все с завистью посмотрели в нашу сторону, и я забыл, что сижу на крупе коня позади отца. Я гордился, что выбор Садыка пал на наш дом.

Отец знаком позвал дядю, и тот подлетел к нам в бешеном галопе на взмыленном коне. Он резко осадил потемневшего от пота и пыли гнедого.

— Садык у нас будет гостем,—сказал отец своему брату.

При последнем слове отца дядя круто повернул коня и поскакал в направлении нашего аула.

Кокпар закончился.

— Прошу вас отведать с Садыком соль и вкус[1] у моего очага,—обратился отец к окружающим.

— Ну, что вы, Момеке, много народу приглашаете...— сказал было Садык.

— Слава богу, и нас, бахтияровцев, немало, неподеленное у нас наследство,—перебил его отец.

Да, бахтияровцев было немало: три дома наших и дома двоюродных, троюродных братьев отца, четыре дома назаровцев, три дома тасырбаевцев, четыре дома ниязовцев,—всего четырнадцать юрт—очагов с населением в семьдесят человек. Мы могли принять гостей и «дать пищу гостям»—двадцати всадникам, сопровождавшим Садыка Абланова.

Он ехал в середине строя, по бокам двумя шеренгами—сопровождавшие его казахи.

Огромный красный шар солнца скрывался за горбами гор Кулантау. Степь постепенно покрывалась мягкой вуалью сумерек. Я, проведший целый день на крупе лошади, с трудом превозмогал усталость, и, когда конь, держась в строю, трусил мелкой рысью, я испытывал боль во всем теле.

От очагов вокруг домов нашего аула в этот безветренный вечер поднимался серыми столбами дым. На загоне копошился вернувшийся с пастбищ скот. По полю мчался вороной жеребец с развевающейся гривой, загонявший в табун непослушных кобылиц. От аула неслись запахи приготовляемой пищи: варили в жиру баурсаки, в котлах готовился бесбармак, дымились трубы самоваров.

Мужчины в почтительных позах стояли группами у наших юрт, поджидая гостей. Женщины суетливо мелькали между юртами.

Когда подъехали гости, люди нашего аула, как по команде, бросились к ним навстречу и, подхватив под уздцы коней, помогли им сойти, поддерживая под руки. Когда же гости соскакивали со стремян, уводили коней.

---

[1] *Соль и вкус* — эквивалентно русскому «хлеб-соль».

Усталые люди, чуть покачиваясь, делали медленные шаги, разминая ноги.

— Добро пожаловать, Садык, вот моя юрта!—указал отец на откинутый полог двери.

— Да будет благополучие в вашем гостеприимном доме, Момеке,—ответил Садык на приглашение и предложил войти первыми в юрту старшим по возрасту, говоря каждому: «Дорога вам, аксакал!»

Так, пропустив перед собой пять-шесть аксакалов, Садык перешагнул и сам порог нашей юрты.

Соблюдение Садыком этих тонкостей степного этикета произвело на всех благоприятное впечатление и расположило к нему каждого, кто при этом присутствовал.

Остальных гостей развели по другим юртам. Разумеется, я вбежал в нашу юрту последним и с изумлением остановился: мне показалось, что я попал в другой дом— так изменилась обстановка нашей юрты. Дядя цыкнул на меня:

— Эй, Бауржан, ступай в большую юрту.

— Он ваш наследник, Момеке?—спросил у отца Садык и с улыбкой посмотрел на меня.

— Да, мой сын, Садык,—ответил отец.

— Пусть остается с нами,—мягко остановил дядю Садык.—Было бы невежливо с моей стороны отказать в нашем обществе молодому человеку в его собственном доме, тем более, что он провел почти целый день вместе со мной.

Так Садык оградил меня от дядиного преследования. Я получил возможность спокойно начать осмотр поразившей меня новой обстановки нашей юрты. На полу, буквой «П», от самого порога были разостланы ковры, на коврах—атласные одеяла, по ним были разбросаны большие подушки, на стене юрты блестела развешенная посуда. В центре юрты была подвешена большая керосиновая лампа, которая ярко горела. По узорам, я узнавал, какие вещи кому принадлежат.

Честолюбивый дядя мобилизовал напрокат все лучшее в нашем ауле и так украсил и обставил юрту, что наш дом производил впечатление самого богатого во всей округе.

Гости расселись, подобрав под себя ноги.

Хвастливый дядя любовался созданным уютом и красотой и, поглядывая на своего брата, явно напрашивался на одобрение, как бы говоря: «Каково, а? Хорошо устроил?»

Дядя так расставил людей, что все шло как по расписанию: сначала разносили воду в кувшине, и гости мыли руки, потом была расстелена большая скатерть. Одни рассыпали баурсаки, другие принесли бурдюк с кумысом, третьи подавали пиалы, наполненные кумысом. Все исполняли свои обязанности, не мешая друг другу, и, сделав то, что от них требовалось, бесшумно уходили.

Ужин начался с утоления жажды. За прохладным кумысом шла беседа о майском кокпаре, своеобразном соревновании на ловкость в верховой езде. Садык Абланов с тактом и знанием дела вставлял свои замечания, предоставляя последнее слово главному судье—Аккулы. Старик был на седьмом небе и на этот раз мудро немногословен. Преклоняющийся перед Аккулы дядя невпопад пытался высказаться, но, заметив обращенный к нему укоризненный взгляд старшего брата, поспешно вышел из юрты. Он вернулся через полчаса и, держа между ногами блеющего белого барана с черной головой, молитвенно протянул руки вверх в позе просителя баты—благословения.

— Аумиин?—произнес он.

Все с нескрываемой тревогой посмотрели в сторону большевика Садыка, так как баты было связано с религией и, как все старое, запрещалось другими ранее гостившими представителями власти.

Садык, поняв этот безмолвный вопрос, мягко улыбнулся в свои короткие черные усы и протянул молитвенно руки.

— Ака, ваша дорога старше моей, доставьте нам удовольствие услышать ваше благословение гостеприимному дому.

Аккулы, озадаченный, на миг задумался, но не растерялся, поднял молитвенно руки и начал нараспев:

— О создатель! Я к тебе обращаюсь первому. Пусть вечно сияет солнце над нашей землей, как тебе это было угодно в этот день! Пусть народы процветают в счастье под этим солнцем и радуются жизни. Пусть юность ликует и резвится, и пусть старость пройдет в покое и довольствии, окруженная красотою жизни! Пусть будут равны перед тобою, как говорил сегодня Садык (при этих словах Садык смущенно глядел вниз), дети разных племен и народов из рода человеческого. Всели в их сердца доброту и братскую любовь друг к другу! Изничтожь бесов, сеющих дух вражды между людьми и народами! Наполни нашу степь сочными травами и жирными стадами! Дай

нам богатый урожай! «Озелени подолы наших жен» и наполни юрты наши шаловливыми детьми! Одари наших джигитов крылатыми скакунами!..

Под конец старик, чуть смутившись, остановился, видимо не зная, как завершить свое благословение.

Все рассмеялись, ибо он запнулся именно на скакунах. Тогда Аккулы рявкнул: «Во имя бога!» И барана увели.

Все знали, что Аккулы никогда не отправлял религиозных обрядов, и поэтому его благословение не было похоже на обычное.

Садык, желая подбодрить смущенного Аккулы, не успев погасить улыбки в углах губ, произнес:

— Хорошо сказали вы, Ака, самые лучшие пожелания, и мы, коммунисты, народу желаем того же самого, что сказано вами.

— А мы и не подозревали, Аккулы, за тобой такого поэтического таланта,—пошутил кто-то.

— Дух песни живет на седле, а не прячется в юбках,—отпарировал Аккулы, намекая, что пошутивший был известным бабником.

Все засмеялись.

— Но наш Ака мыслит не только как поэт, он у нас и политик,—сказал Садык и, как бы между прочим, добавил:—А ведь наша политика—это и есть сокровенные желания народа—братство и дружба между людьми при взаимном уважении друг друга. Вот, к примеру, взять русских. Простой мужик от зари до самой темноты трудится в поле, или возьмем рабочего, руками которого построена в нашем крае железная дорога. Они такие же люди, как и мы, на них никто не работает, свой хлеб и похлебку они зарабатывают своими руками.

— Твоя правда, Садык, русские любят и умеют работать...

— Дай же Садыку речь кончить.

— Русские—народ хороший, и если кто из них притеснял казахов, так это были царские чиновники. Теперь совсем другое стало: сами русские свалили с трона ненавистного царя.

— Значит, Ленин, выходит, правильный, прямой человек.

— Да,—сказал Садык,—наш Ленин очень правильный человек...

— Что он, Ленин, теперь самого царя заменяет? Рань-

ше был Николай, а теперь Ленин, да?—спросил кто-то, на что Садык, улыбнувшись, ответил:

— Да, теперь Ленин, но не царь, а вождь, он самый умный человек из всех правильных людей.

— Скажи, пожалуйста, Садык, вот твой брат Избасар, как приезжает, начинает с того, что «аллаха нет», «вы — темнота», «вы ничего не понимаете», и когда кто-нибудь, у кого он остановился, по нашему обычаю приводит барана и просит у него благословения, он махнет рукой и со злобой скажет: «Эх, темнота, уведите барана и режьте»... Царь царем, их много было, трон троном, а при чем же тут аллах—ведь он один. Зачем портить веру? Зачем портить обычай?

— Ты что развел здесь всякие неуместности? Избасар же родной брат Садыку,— прикрикнул Аккулы на вольнодумца.

Садык, широко улыбаясь, поднял правую руку, как бы оберегая говорившего от гнева Аккулы.

— Что вы, что вы, Ака! Зачем вы перебиваете правильную речь?

— А вот Ленин верует или не верует?— закончил свою речь вольнодумец.

— Я сам не встречался с Лениным, но те, кто знают его лучше меня, все говорят, что Ленин очень прямой и честный человек. Не знаю, верует ли он в бога, но он, как говорят все, очень верит в народ. Думаю, что поэтому за ним и пошли все.— Садык слегка улыбнулся и добавил:— В отношении брата я слов не имею, он мне приходится старшим. Но вы знаете, что Избасара осудили товарищи и сняли с работы...

Неловкую паузу нарушил Аккулы:

— Ай да молодец! Хорошо и правильно говоришь ты, Садык. Раз Ленин верует в народ — это самое главное.

— Раз Ленин в народ верит, то и народ его не подведет,— вставил вольнодумец. Им был тот самый наш аульный шутник и остряк Токмырза, веселый старик, постоянный тамада на вечеринках, однолошадный бедняк...

— Вы правильно говорите, Тока, вот я и приехал к вам, чтобы посоветоваться с вами, что и как делать, как нам следует жизнь направлять.

— Говори, Садык.

— Не знаю, годимся ли мы тебе в советники.

— Годитесь, я думаю, очень годитесь. Мы сегодня неплохо отпраздновали Первое мая — драли кокпар по вашему совету...

— Славный был праздник, Садык,— прервал его Аккулы,— теперь каждый год будем праздновать Первое мая!

— Ты что, Аккулы, каждый год хочешь получать майский приз?— пошутил Токмырза.

— Нет, я не такой жадный, как ты,— и, вынимая из-за пазухи красный шелковый платок, подаренный Садыком, Аккулы сказал:— Я буду беречь этот платок и в день Первого мая следующего года подарю его лучшему джигиту. Думаю, что ты к этому времени научишь своего сына не набивать спины коню,— отбрил он Токмырзу.

— Да что же вы сбиваете беседу с правильного пути! Дайте Садыку досказать свои слова. Он же у нас хотел совета просить,— вмешался отец.

— Да, я у вас, почтенные аксакалы, хочу совета просить... У вас за плечами много лет жизни, хочу, чтобы вы помогли мне лучше объяснить нашему народу новые порядки.

— А твои милиционеры почему зря губят лошадей?— вспыхнул Аккулы.— Несутся, как бешеные, хлещут бедное животное плетками. Если уж на твоего коня сел милиционер, не жди ничего доброго. Он обязательно должен только галопом скакать.

— Ну, Аккулы, тебе же насчет коней Садык еще днем ответ дал.

— Ты меня, Момыш, не учи, когда что говорить... Я бы на месте Садыка давным-давно повесил бы этих шалопаев...

Под общий смех Садык спокойно ответил Аккулы:

— Я, Ака, милиционеров вешать, конечно, не буду, потому что Советская власть и Ленин не разрешают этого делать. Но тех из них, кто дебоширит, видимо, придется отстранить от службы.

— Да, да, Садык,— взволновался Аккулы,— обязательно сними их с коня и вели им всю жизнь пешком ходить.

— Так и сделаю, Ака,— улыбаясь, ответил Садык.— Ака и все говорили правильно, хорошие мне советы дали. Первое: решено в дальнейшем праздновать день Первого мая как день весны и радости. Второе: раз наши милиционеры обижают народ, значит, надо их обуздать. Спасибо вам, аксакалы, что вы сегодня своими советами помогли мне правильно решить два вопроса...

— Говори, Садык, говори,— вырвалось у сконфуженного гордого Аккулы,— прости меня, старого болтуна, и нас всех, кто задерживал в твоих устах хорошие слова.

— Есть еще два вопроса,— медленно произнес Садык.— Два вопроса есть, которые мне без вашего совета решить трудно...

— Говори, Садык...

— Я моложе всех вас, почтенные аксакалы, и я вам не старшим братом прихожусь, а всего лишь младшим. Надо с русскими людьми уладить наши отношения. До сих пор некоторые из наших горячих людей по старинке недолюбливают русских. Как ни базар, так и драку затевают...

— Что, Садык, и теперь, в новое время, поклон за поклоном прикажешь? Снова казацкую нагайку по моей спине разрешишь?..— задыхался Аккулы.— Нет, уволь, раз твой Ленин сказал: «Все люди равны»,— я твоим русским шалопаям спуску не дам! Коль он не уважает мою седую бороду, ты, Садык, не держи мою плетку...

— А ты, Аккулы, сам старый казахский шалопай...— начал было отец.

— Ты в своем доме мне не учитель! Ты хочешь, чтобы я ушел...— крикнул отцу Аккулы.

— Ака, Ака!— умоляюще обратился Садык.— Если можете, уважьте мою просьбу. Раз мы хотим говорить серьезно, зачем же резкость и горячность?

— Аккулы, извини меня, я неуместное слово бросил. Давай послушаем Садыка,— сказал отец.

— То-то,— пробурчал Аккулы,— а ты, Момыш, не щекочи меня под ребром.

— Вот как бы нам по-хорошему, по-братски уладить все дела с простым русским человеком? Ведь, Ака, как мне передали, Тимофей Водопьянов ваш друг? Разве это неправда?

— Тимошка? Он прямой и хороший человек, а вот его родня Иван — плохой человек.

— А мы с Кузьмой Гончаровым вместе землю пашем, сено вместе косим, друг к другу в гости ездим,— вставил отец,— мой брат у Гончаровых научился многому...

— Жагор меня спас в голодные годы,— сказал Токмырза...

— А мой Метрей хату мне построил...

Садык улыбался и слушал терпеливо высказывания по адресу русских.

— Тимошка, Кузьма, Жагор, Метрей и другие, по вашим же словам, хорошие люди, а вот родня Тимошки Иван — плохой человек,— расхохотался Садык и, обраща-

ясь к Аккулы, спросил:— А сколько же у русских хороших людей и сколько плохих?

— Выходит, хороших больше, чем плохих. Да ну его, этого Ивана!— пробурчал Аккулы.

— А сколько у нас «казахских Иванов»?

— Что и говорить,— вмешался Токмырза,— и у нас хватает.

— Подумайте,— сказал Садык,— рассудите и дайте мне совет, как уладить взаимоотношения между русскими и казахами... Второй вопрос, по которому я хотел бы с вами посоветоваться,— это земля. Земли у нас много, а порядка в использовании ее нет. Ленин сказал, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. А как у нас? У одних больше, чем надо, а у других и клочка нет. Разве это справедливо? Вот я и хотел бы от вас услышать мудрые советы, почтенные аксакалы. И по этому вопросу я вас прошу подумать и через два-три дня дать мне совет от имени общества.

— Твоя правда, Садык, твоя правда,— загудели в юрте,— дай нам время посоветоваться, а потом сказать свое слово...

Далее Садык непринужденно и весело рассказал, как он сидел в тюрьме, отбывал ссылку в Сибири, рассказал о восстании казахов в 1916 году, тепло говорил о своих русских товарищах.

Я, примостившись около отца, слушал его, затаив дыхание, но мой детский ум не все воспринимал.

Прием и проводы Садыка в нашем доме помнятся мне до сих пор: они были самыми интересными и многолюдными.

Дядя в этот вечер показал себя как энергичный и умелый организатор, и с тех пор бразды правления домом перешли в его руки.

Весь вечер и всю ночь так же стихийно, как кокпар после митинга, возникали айтысы в честь Первого мая. Садык и Аккулы впервые в нашей волости превратили май во всенародный праздник, а в последующие годы это уже стало традицией.

Собственническое отношение к земле обострилось у казахов с появлением в наших краях русских переселенцев, за которыми царское правительство закрепляло лучшие угодья, отбирая их у казахов.

Была установлена межа. Русские крестьяне страдали от табунов и отар, что бродили по степи без присмотра. Тогда русские, чтобы приучить казахов следить за своим

скотом, поставили на своих землях объездчиков. Объездчики угоняли скот, который переходил между, и возвращали его только после уплаты штрафа натурой. Размер штрафа устанавливали русские.

Казахи недоумевали:

«Божья земля, божья трава, божий скот!»

Русские недоумевали в свою очередь:

«Моя земля, мои травы, мой посев! Как казахи не понимают, что это мое?»

Русские объездчики стали злоупотреблять доверием общества и довольно часто угоняли скот, даже не побывавший на крестьянских угодьях. Несправедливость эта возмущала казахов, они устраивали погони, отбивали свой скот силой.

Тогда объездчики вооружились дробовиками. Взаимные столкновения обострились. Часто споры кончались дракой, бывали даже убийства. Казах в каждом русском начал видеть своего притеснителя, прогнавшего его с исконной отцовской земли. Русские переселенцы в лице казахов видели обидчиков, которые своими бесчисленными стадами травили посевы, уничтожали плоды их тяжелого труда. Интересы обеих сторон страдали, и обе стороны были по-своему правы.

Так земля стала причиной раздора между русскими и казахами.

На стороне русских была колониальная политика царизма, и это довлело над всем. На новой земле в деревнях переселенцев кулаки росли, как грибы, они, как голодные волки, набрасывались на «свободные» земли. Земельные уделы казахов все более ограничивались. Тогда небогатые казахи начали оседать. По примеру русских, они стали обрабатывать земли и косить травы на корм для скота. Так казах постепенно стал привязывать себя к земле.

Я родился, когда у казахов появилось новое отношение к земле. Земля давала зерно и фрукты, которые можно было не только есть, но и продавать за деньги. Деньги стали волшебной силой, на них можно было купить все.

Казахи робко попытались эксплуатировать землю. Появились покупатели и арендаторы. Возникли спрос на землю и продажа ее. Правда, на пастбища частная собственность не распространялась у казахов до самых последних дней. Объектом купли и продажи были пахотнопригодные земли и сенокосы. Но казах еще долгое время не мог привыкнуть к этому и считал зазорным продавать земли и травы, и многие просто уступали безвозмездно

тем, кто нуждался в пашне и лугах. Время, однако, брало свое, и постепенно возник своеобразный «мандат» — «Ата коныс жерим» (Становище моих предков), ставший основой права собственности на земли. «Стан моих предков» длинной полосой тянулся по маршруту, некогда бывшему путем кочевий предков.

Итак, собственность на землю у казахов возникла сначала как общинно-родовая, а потом постепенно становилась подродовой и наконец частной. Появились земельные банки, выдававшие ссуды под это недвижимое имущество.

Позже борьба за землю и за владение ею велась уже не только с русскими, но и между казахами. Земельно-водные конфликты все разрастались и тянулись вплоть до коллективизации. К началу революции и среди казахских дехкан уже имелись безземельные и малоземельные, распродавшие за гроши когда-то полученные ими наделы из «становища предков», и богатые землевладельцы, прибравшие к рукам земельные наделы бедняков.

Наша семья владела пятьюдесятью десятинами пахотной земли из «становища предков». Отец из-за суеверия бабушки и своего собственного не разрешал себе ни купли, ни продажи. Легкомысленный же дядя однажды, еще при жизни бабушки, в один из трудных годов предложил продать часть земли, за что бабушка гневно прикрикнула на него:

— В тебе, видно, злой дух сидит, щенок! От меня трое сыновей, от вас будет по трое, от них если будет по трое, куда тогда прикажешь правнукам моим деваться?! Ты первый из нашей семьи заикнулся о продаже божьей земли, типун тебе на язык!

После этой сцены я не слыхал в нашей семье ни одного слова о продаже или сдаче в аренду земли, и это завещание бабушки не нарушалось вплоть до земельной реформы.

На собрание по вопросу о земле, которое проводил Садык, дядя меня не пустил: «Иди играй с детьми да присматривай за ягнятами, как другие мальчишки!» На мой жалобный взгляд отец отвернулся и тем самым подтвердил приказ дяди.

Земельная реформа или, как ее назвали казахи, «жер бёлу» — (раздел земли) продолжалась в течение всей первой половины мая 1921 года. Это было второе крупное политическое мероприятие Советов после введения новой избирательной системы. Во всей стороны, из аула в аул, с

собрания на собрание то и дело носились верховые. Борьба развертывалась вокруг Ата коныс (Становища предков) сначала между родами, потом между подродами, далее она перерастала в борьбу между отдельными семьями, у которых был общий дед или прадед. Разгоралось страстное пламя родовой распри из-за «божьей» земли.

Садык лавировал между этими волнами средневековья, что гнали друг друга и рождались одна от другой. Быть может, ему и приходилось хлебнуть «соленой воды», но он был утесом на новом берегу, к которому, обгоняя друг друга, неслись волны, разбивались о него и, падая к подножию, пытались снова биться, но они уже были пенистые и слабые.

Садык, как человек большого такта, настойчиво проводя свою линию, давал казахам возможность успокоиться самим от разыгравшейся в них родовой вражды. Он терпеливо ждал, когда уставшие в этой борьбе люди сами обратятся к нему, чтобы заговорило слово закона. Он ждал, когда они сами с радостью начнут делать то, против чего так бурно протестовали и чему сопротивлялись.

«Золото — на дне терпения», «Терпеливый дойдет до цели, а поспешивший лишь пожнет стыд».

Да, Садык не торопился, не перегибал. Советом и терпением он уничтожал пережитки, которые плавно сгибались перед законом. Он терпеливо ждал момента, когда его «так надо» не будет раздражать, и народ сам скажет: «Так этому и быть!»

Однажды дядя вернулся к обеду с зимовки, куда он ездил выполнять какие-то хозяйственные работы, и лег отдыхать. Мне он велел чисто подмести наш загон, и я выполнял его поручение со всей тщательностью. Напевая какую-то песенку себе под нос, я так увлекся своим занятием, что опомнился только тогда, когда толпа во главе с Аккулы, вооруженная палками, была недалеко.

— Эй! Подлый кобель, Момынкул, выходи на суд праведный!— крикнул Аккулы.

Свирепый голос Аккулы и сопровождавшая его возбужденная толпа так напугали меня, что я стремглав бросился в юрту, где спал дядя, и с дрожью в голосе стал будить его.

— Дядя! Дядя! Аккулы пришел тебя побить!

Спросонья дядя ничего не понял. Он вскочил и пробормотал:

— А?.. Что ты глупости несешь?

В это время донеслись голоса:

— Ага! Ты трусишь, заячья душонка. Выходи, говорят тебе, живо!

— Не прикрывайся под родным шанраком! А ну, выходи!

— Мы размозжим твою дурную башку!

По нашим обычаям, в юрте не принято было драться, поэтому группа Аккулы стояла в двадцати шагах от юрты, выкрикивая свои угрозы и занимая позицию для боя.

По этим же неписанным законам преследуемый мог всегда найти убежище в любой юрте, куда ему удавалось укрыться от своего преследователя. Ворваться в юрту считалось оскорблением чести очага, где варится «неподеленный удел» наших общих предков. Если преследователь не унимался, то его упрекали в неуважении к крову, под которым проживали сородичи его же предков. «Даже воробей находит убежище под кустом. А что для тебя моя юрта? Она ничто по сравнению с кустом?»— говорили преследователю, требовавшему выдачи его врага.

— Трус! Трус! Трус!— кричал старший сын Аккулы, широколицый, большеротый Жаксыбай, с искаженным от гнева лицом, напоминавшем маски безобразных буддийских божков.

Я помню, как его слова задели меня за живое, и, преодолевая страх, я выбежал из юрты и крикнул толпе:

— Он не трус! Он спал, сейчас оденется и выйдет!

— Ах, мелочь, марш свои шары катать! — прикрикнул на меня Жаксыбай.

Испугавшись его страшного вида, я шмыгнул в юрту.

Дядя поспешно одевался, то и дело откликаясь на брань:

— Сейчас! Сейчас я выйду, чтобы наполнить кровью твой поганый рот!

Быстро оглядев юрту и не найдя ничего подходящего для боя, дядя с голыми руками выбежал наружу, крикнув противникам:

— Вот и я!

В это же мгновение аккуловцы набросились на него с палками, посыпались удары, послышались крики.

Аккулы, как полководец, стоял в стороне, наблюдая за избиением моего дяди и размахивая палкой.

Дядя, прикрыв голову руками, отбивался ногами, нанося удары. Меня трясло, как в лихорадке, от бессильной

злости и жалости к дяде. Меня душил гнев возмущения этим неравным боем.

Наши женщины закричали, но их возгласы и плач потонули в крике дерущихся.

Вдруг дядя вырвал у одного из нападающих палку и прорвался сквозь кольцо окружения. Отбежав в сторону, он круто повернулся и с разбегу, как коршун, напал на аккуловцев. Он так споровисто и ловко работал палкой, что она мелькала, как у жонглера. Он выбивал оружие из рук противника и, обезоружив троих, начал яростно молотить поодиночке остальных. Последним был свален крепким ударом Жаксыбай.

Я злорадствовал, я упивался поражением аккуловцев.

«Старый полководец», увидев, как его сын растянулся на земле, сам бросился на моего дядю. Дядя отбросил в сторону свою палку и стал против подбежавшего старика, расставив ноги и заложив руки назад. Аккулы с размаху ударил дядю палкой по голове. Из рассеченного лба хлынула кровь и залила все лицо Момынкула. Аккулы размахнулся палкой еще раз, но затем опустил ее и, закрыв лицо руками, отвернулся и пошел, согбенный в направлении своего аула, ни разу не оглянувшись на нас. Битые его «воины» один за другим поплелись за ним.

Дядя с окровавленным лицом подошел к очагу, отрезал кусок кошмы, подпалил ее и начал прикладывать дымящуюся, с едким запахом, шерсть к своей ране.

Вечером приехал отец. Мы наперебой начали рассказывать ему о «сражении», которое разыгралось возле нашей юрты. Дядя долго убеждал отца, что он ничего не знает о причине такого нашествия. Отец только укоризненно покачал головой...

Выяснилось, что причиной послужила улика: в одной из многих лощин на сенокосном угодье была злосчастная яма с густой и высокой травой. В глухом месте трава была повалена и прибита к земле — там кто-то лежал. Один из проезжающих мимо заметил это и вспомнил, что когда он подъезжал, то видел издали, как мой дядя проходил через эту балку, а спустя некоторое время оттуда вышла женщина — жена Жаксыбая. Этот человек сделал неопровержимый вывод, что помятая трава могла быть только следом прелюбодеяния моего дяди и жены Жаксыбая. Он счел своим долгом немедленно оповестить всех о своих подозрениях.

После происшедшего сражения между двумя соседними

аулами началась «холодная война». Общение было прервано. Так продолжалось целую неделю.

Избитая мужем, бедная женщина нашла приют в юрте своей подруги, и последняя, пользуясь правом «святости» шанрака, не выдавала ее мужу, который жаждал мести.

Аккулы прислал к моему отцу человека с просьбой разрешить конфликт, оформить развод его сына со снохой и привлечь виновных к ответу, как нарушивших святость и неприкосновенность брака. Отец ответил, что ему ничего не известно о вине брата и этой женщины.

Так как истцом был Аккулы и именно он на старости лет заварил эту кашу, то за ним остается право приглашать судей для разбора дела. Что же касается его самого, то он явится на суд как ответчик, по вызову. Суд состоялся через две недели после происшествия. По обычаю, судьи были старейшими из нейтрального подрода, имеющими одинаковое родственное отношение к сторонам. Председательствовал старший из них — Жаримбет. Высокий и тучный он смотрел на всех исподлобья и был очень мрачен.

Группа истцов — ближайшие родичи Аккулы — сидела с правой стороны, а ответчики — с левой. Как полагалось женщины в судебное присутствие при таких важных делах не допускались.

— Много бывает печальных историй и горя в жизни человека,— начал Жаримбет.— Человек греховен, но каждый, совершивший грех по своей молодости, должен раскаяться и своим искренним признанием смыть горечь вражды, что возникла между родней... Вы,— обратился он к сторонам,— дети одного отца и матери, люди очень близкие... На мою долю выпала тяжелая обязанность — примирить вас, братьев, по столь непозволительному для родни спору. Говорите правду, помогите мне найти правильное для вас слово. Первым говори ты, Аккулы.

Аккулы насупился и, ткнув концом камчи в землю, начал:

— Что же тут говорить, Жареке? Дело известное, оно черным позором лежит на мне, и я не могу поднять глаз и открыто посмотреть на свет! — Внезапно Аккулы вспыхнул и, размахивая плетью, стал выкрикивать:— Этот нечистый кобель осквернил честь моей семьи и честь моего рода. Словно дегтем поганым загрязнил мою седую бороду!..

— Если ты, Аккулы, намерен браниться,— строго пре-

рвал его Жаримбет,— или снова, на моих глазах, затеять драку, то попроси лучше нас удалиться из твоего аула!

Аккулы смутился. Жаримбет посмотрел на него и уже более мягко, сочувственным тоном добавил:

—Подумай, Аккулы! Ты сам, слава богу, покрылся серебром седины, имей же уважение и к нашим белым бородам.

Аккулы молчал.

— Говори, Момыш,— обратился Жаримбет к моему отцу.

— Я, Жареке, сожалею, что не могу вам рассказать все обстоятельства этого дела, ибо все совершилось в мое отсутствие. Поэтому пусть мой брат отвечает за себя, он для этого уже достаточно взрослый.

— Говори, Момынкул,— обратился Жаримбет к дяде.

Дядя не растерялся и, встав в почтительной позе, начал:

— Жареке! Я не смею судиться с Аккулы, он мне — старший брат и мой учитель. Только могу сказать вам, что этот печальный случай является просто недоразумением, рожденным злым языком: я и эта бедная женщина — совершенно невинны, и подозрение на нас — сущая несправедливость.

— Я презираю тебя, щенок! — крикнул Аккулы.

Жаримбет строго посмотрел на него и сказал:

— Может быть, ты сядешь на мое место, Аккулы?

Аккулы снова умолк. Воспользовавшись этим, дядя продолжал:

— Я вас любил и люблю больше родного брата, Ака,— сказал дядя, поправляя на лбу повязку.— Вы, конечно, можете думать обо мне что угодно, но я уверен, что злые люди ввели вас в заблуждение. Моя совесть перед вами чиста. С вами я не дрался и не в обиде на вас за то, что вы мне тогда рассекли лоб... от остальных я только защищался...

— Я тебя не обвиняю, что ты побил всех этих. — Аккулы с презрением посмотрел на своих подручных.— Всех этих...— Он запнулся и впился взглядом, полным ненависти, в своих помощников.— Гнилье! Гнилье!— крикнул он в бешенстве.

Дядя, отвечая на вопросы Жаримбета, с тем же спокойствием рассказал со всеми подробностями, как произошло «сражение». Жаримбет, внимательно выслушав его, нахмурился, сдвинув седые брови. Потом он бросил злой взгляд на Аккулы и наконец сказал:

— Почему ты, Аккулы, разрешил себе напасть на безоружного?! Десятку — на одного человека? Это твоя первая вина! Почему ты, Аккулы, сам напал и нанес удар человеку, который из уважения к твоему возрасту отказался поднять на тебя руку и бросил свою палку? Это твоя вторая вина!

Аккулы молчал, низко опустив голову.

Вдруг из крайней юрты показалась стройная женщина в праздничной одежде. К удивлению всех, она направилась к запрещенному для женщины месту суда. Аккулы узнал в ней свою сноху и замахал руками в растерянности, умоляющим голосом упрашивая:

— Назад! Назад, дитя мое! Назад, дитя мое!

Да, в его голосе скорее звучала просьба, чем приказ, но женщина с гордо поднятой головой продолжала идти решительным шагом.

Подойдя ближе, она отвесила низкие поклоны старикам, с презрением посмотрела на мужа, который сидел возле своего отца, и, бледная, с блестящими от гнева глазами, начала:

— Светлый отец!— обратилась она к Жаримбету. Ее движения и голос были до того решительны, что никто от изумления не мог перебить ее.— Я тоже дитя своих родителей! Не моя вина, что я родилась женщиной, но я не стыжусь, что я женщина. Вы — отец своих детей. Разве вы меньше любите свою дочь, чем сына? Разве для вашего родительского сердца и чувства не все ваши дети были равными?! Разве ваши снохи не приносят вам счастья, рожая вам внуков?! Я пришла сюда, как ваше дитя. Надеюсь, что мой приход не оскорбит вас, аксакал. Да, я слабая и беспомощная женщина. Я одна, и некому заступиться за меня. Вот почему любому мужчине легко побить меня. Нетрудно вам прогнать меня отсюда. Но найдете ли вы в себе силы выслушать меня?

Все эти слова она говорила четко и раздельно, еле сдерживая гнев, голосом, каким может говорить только правый человек. Вид у нее был торжественный, она была вся подтянута и собранна, она вся была олицетворением протеста. В ее одежде ничего не было лишнего, даже глупые безделушки и украшения не привлекали и не манили мужских глаз. Все превратилось в ее оружие. Бледное, как полотно, лицо с мраморно-синеватым оттенком под глазами выражало волю и решительность.

Жаримбет, как и все собрание, был загипнотизирован

этой смелой женщиной. Он смотрел ей прямо в глаза, но она не отводила их, блестевших от гнева и возмущения.

— Говори, дитя мое, говори! — сказал Жарймбет в растерянности, поглаживая обеими руками бороду.

— Я пришла,— сказала Зейнеп голосом, полным достоинства.— Я пришла не судиться. Если в этом будет необходимость и истцы доведут дело до этого, то на это есть другой суд, суд власти, советский суд, где я по новому закону, как равная с мужчинами, смогу защитить свои права. Я пришла, чтобы объявить перед вами моему мужу свое решение. По его стараниям, наши с ним отношения стали гласными для всех. Я оскорблена незаслуженно. Власть мне дала право на полную свободу, и я решила воспользоваться этим, предоставленным мне законом правом: я решила уйти от своего мужа.

Вздох пронесся после ее слов по рядам сидевших.

— Я пришла поблагодарить вас и проститься с вами, ата! — обратилась она к Аккулы.

— Что ты, что ты, дитя! — голос Аккулы задрожал, но Зейнеп не слышала его слов, она обратилась к Жаримбету:

— Не можете ли вы, ата, велеть кому-нибудь проводить меня до моего аула, где я родилась? — Затем она, посмотрев в упор на мужа, бросила ему: — А к вам в дом я живой никогда не войду!

Еще раз извинившись перед стариками, она ушла в юрту, провожаемая изумленными взглядами присутствующих.

Все долго молчали. Жаримбет в затруднении перебирал пальцами. Наконец он промолвил:

— Бедное дитя, как она оскорблена! — Потом он приказал отвезти ее в аул.— Пусть она там немного поживет, успокоится, одумается! Я под старость лет не могу отказать в просьбе беспомощной женщине.

Возвращаясь домой, каждый из нас по-своему переживал выступление Зейнеп... Вдруг мне показалось, что за моей спиной раздался голос бабушки: «Хоть ты и дурак, но вел себя сегодня, как умный!»

Я оглянулся, думая, что увижу мою бабушку, и был очень удивлен: эти слова говорил мой отец своему брату, шедшему с ним рядом.

Дело Зейнеп тянулось более года. Шли бесконечные переговоры, но она была неумолима и настояла на своем, прекратив тяжбу тем, что вскоре вышла замуж по своему выбору и без калыма. Аккулы же до конца своей жизни переживал уход Зейнеп.

История с Зейнеп была самой нашумевшей в нашем ок-

руге. Когда Аккулы по этому вопросу обратился к Садыку Абланову, тот вежливо выпроводил его из своего кабинета, выразив соболезнование и сожаление, что он ничем помочь ему не может, и отослал его к самой Зейнеп — первой женщине в наших краях, отстоявшей свои права по новому закону, воспользовавшейся равноправием, предоставленным ей советским законом.

Гончаровы работали с нами на сенокосе.

В назначенный день они приехали на двух бричках — с косами, вилами, молотками, брусками и прочими инструментами, необходимыми для сенокоса. Вся семья Гончаровых ходила босиком, только старик был в сапогах, отравляя воздух запахом дегтя. Его сыновья носили короткие холщовые рубахи без пояса. Босоногие женщины были повязаны белыми платками. В широких холщовых рубахах возились они со своими походно-кухонными погремушками и налаживали ручные деревянные грабли. Их волосы выгорели на солнце, и мне казалось, что это не женские волосы, а пучки конопли. Наши женщины с брезгливостью смотрели на голые ноги русских женщин и между собой осуждали их: «Да быть тебе в темнице, неверная!», «Как ей не стыдно голоногой ходить! Тьфу, бесстыжая!»

...По приезде Гончаровы отказались от угощения: торопили наших поскорее ехать на сенокос.

— Работать надо, Момыш,— говорил старик Гончаров,— бесбармак поесть успеем!

До сенокоса было недалеко — всего километра три. Отец и дядя поехали верхом, а я попросился к Гончаровым, в их огромную арбу. Я впервые ехал на арбе и поэтому не без волнения уселся сзади. Когда арба тронулась с места и затарахтела по дороге, я вцепился в край ящика. Заметив мой страх, женщины засмеялись и начали меня успокаивать. Василий, чтобы подбодрить меня и одновременно похвастаться, стал ходить взад и вперед по арбе, как бы говоря мне: «Смотри, смотри, какой я молодец!» Но тут Тишко гикнул на своих гнедых, и лошади прибавили шагу. Я еще крепче уцепился за край ящика.

— Тишко, ты что!— крикнула Манька.— Погоняй тихонько, а то у киргизенка глаз лопне!

Тишко обернулся в мою сторону и, засмеявшись, натянул вожжи. Кони остановились, а я как угорелый выскочил из арбы и побежал прочь. Василий догнал меня, схватил за руку и, уговаривая, потащил к арбе. Я упирался...

— Василь!— крикнула ему Манька.— Да брось ты этого чертенка, поехали!

Василий, разозлившись, ударил меня по лицу и побежал к своим. Я бросился за ним, догнал его и вцепился в рубашку... Мы дрались отчаянно. Подошел Тишко, дал нам по тумаку и, разняв нас, увел своего брата к повозке.

Я стал вслед им кидать камни. Один из них угодил в Маньку. Та завизжала, в мою сторону посыпалось вроде: «Киргизенок! Чертяка! Сатана!» Я тут же запомнил ее слова и в ответ начал чертыхаться. По-видимому, я до того искажал русскую ругань, что все не могли удержаться от смеха. На этом состоялось примирение. Тишко подтолкнул меня к Василию, а потом посадил рядом с собой.

Луг наш большой и ровный. Гончаровы распрягли лошадей и тут же взялись за косы. Старик пригласил к себе моего отца и, усевшись на землю, стал показывать, как надо отбивать косу, а Мефодий учил дядю точить косу бруском и подгонять по росту рукоятку. Вскоре все косы были отбиты и отточены.

Старик Кузьма взялся за косу, примерился, взмахнул ею по воздуху, постучал молотком, что-то подправляя, и пошел косить. Широко расставив ноги, он высоко взмахнул косой и опустил ее, чуть сгибая корпус. Коса змеей спряталась в густую траву, раздался как бы скрежет, и, слегка колыхнувшись, трава повалилась волной к ногам Кузьмы. С каждым взмахом косы старик медленно продвигался вперед. Пройдя шагов десять, он остановился и крикнул старшему сыну:

— Сашко! Що ты косу посадив недобре и рукоятку трохи сдвинул, аж можно хребет поломать!

Сашко подбежал к отцу с молотком и начал налаживать косу, приговаривая:

— Сейчас, батько, сейчас наладимо, як бритва буде.

— Роби, сынок, роби гарно,— бормотал старик ласково.

Сашко ловко стучал, подгоняя клинья, коса при каждом ударе молотка издавала протяжный мелодичный звон. Затем он отпустил рукоять и начал передвигать ее по черенку.

— Трохи повыше, сынок,— наставлял старик.

— Я так и роблю, батько,— отвечал ему Сашко, поплевывая на рукоять и затягивая сыромятный ремень. Затянув сыромятину, он проверил крепость рукоятки, покачав ею в разные стороны.

— Теперича гарно, батько, побачьте, як зробил.

Старик взял косу и, примерившись, широко размахнулся, посмотрел на сына и похвалил:

— Добре, сынок, добре!

Он пошел к уже начатому им ряду и, почти не сгибаясь, начал плавно косить. У него теперь работали лишь руки. Высокий взмах, коса плавно падала, срезая под самый корень траву, которая с легким свистом покорно ложилась в ряд. Пройдя таким образом шагов сто, Гончаров крикнул сыновьям:

— Ну-ка, хлопцы, начинайте!

По этой команде и Сашко, и Мефодий, и Тишко взялись за косы. Первым пошел старший — Сашко. Когда он прошел шага два-три, размахнулся косой Мефодий, потом Тишко, за ним и мой дядя.

Старик стоял, поджидая их, то и дело покрикивая на косарей:

— Легонько, Сашко!

— Як ты размахнулся, Мефодий!

— Бери ровней, Тишко!

— Момынкул, ты погано косишь, що сгорбився!

Четверка шла все слаженнее и слаженнее. Дядя мой старался изо всех сил, но у него не получалось, как у других косарей. Старик, не выдержав неловкости силача — «разрушителя гор», подошел к нему и отобрал косу, потом пошел ровным, плавным шагом за своими сыновьями. Так же ровно и плавно ложилась к его ногам трава. Шагов через пятнадцать он остановился и, возвращая косу дяде, сказал:

— Вот як надо робить. Момынкул! Що ты силы дарма тратишь!

Тишко перевел эти слова своего отца дяде.

Гончаровы продолжали свой легкий и ровный шаг. Дядя, правда, не отставал от них, но был весь в поту. Он настолько устал, что его коса виляла в воздухе и часто тыкалась концом о землю.

Так прошли второй, третий ряд. Дядя обливался потом и шел к началу нового ряда усталый, задыхаясь и вытирая мокрый лоб. Гончаровы же шли как ни в чем не бывало — спокойно и ровно.

В середине четвертого ряда дядина коса врезалась в землю, и у него в руках остался лишь обломок рукоятки. Да и сам он, потеряв равновесие, чуть не уткнулся носом в землю. Конечно, коса не выдержала его грубой силы и сломалась.

Кузьма стал кричать на дядю, называя его единствен-

ным словом, которое старик познал в казахской лексике: ахмак!— дурак. Потом, быстро жестикулируя, он заговорил по-русски, обращаясь к своим сыновьям. Тишко не успевал переводить слова своего взволнованного отца, который часто перебивал его. Я снова услышал слова: «Черт! Сатана!» Дядя, виновато потупившись, стоял перед стариком и бормотал что-то по-казахски, но слов я не разобрал.

— Отец говорит,— переводил Тишко, когда старик, выпалив все гневные слова, отошел в сторону,— что Момынкул— большой дурак, у него башка мало работает, он может поломать не только косу, но и бричку.

Дядя, услышав, что старик отдает должное его силе, широко улыбнулся и попросил Тишко передать старику, что он завтра поедет на базар и купит несколько запасных кос для себя ибо, видно, ему еще не одну косу придется поломать, пока научится, но он просит Кузьму, чтобы тот делал ему почаще замечания, если он не будет справляться со своей работой. Кузьма смягчился и предложил дяде свою косу. Не отставая от него ни на один шаг, Кузьма наставлял его при каждом взмахе.

Отец выполнял обязанности кузнеца и, сидя под тенью телеги, отбивал косы на наковальне. Мы с Василием носились по полю за бабочками, позабыв, что еще несколько часов тому назад подрались и были врагами.

На нас лежала обязанность следить за лошадьми, которые паслись на лугу.

Затем Василий стал рассказывать мне, как звонят в церкви. В это время звонарь начал усердствовать, и звон колоколов деревенской церквушки доносился к нам, как отдаленная мелодия. Мы прислушались к стройному хору колоколов. Я внимательно слушал объяснения Василия. Когда доносилось к нам басовое протяжное «б-у-ум-м», Василий говорил, что это ударили в самый большой колокол. Но вот звонарь брал все выше и выше взбирался на самые высокие ноты по своей веревочной клавиатуре, наполняя трезвоном всю степь.

— Слышишь, слишишь?..— кричал Василий.— Слышишь, вот это маленький, а этот еще поменьше голос подает, а вот этот самый махонький! Слышишь: дзинь дзинь!— он щелкал пальцами в такт ударам колоколов.

Мы пришли к обоюдному выводу, что лучше всех поет самый маленький колокол, издающий такой нежный перезвон.

Я спросил Василия:

— А можно мне поехать в деревню на колокола посмотреть?

— Нет, батько в церковь басурманов не пускает!

Я спросил, почему его батька не пускает в церковь мусульман. В ответ Василий рассмеялся и объяснил, что говорил не о своем родном батьке, а о русском мулле. Мне сделалось грустно от ответа Василия, так хотелось посмотреть на русскую церковь, а главное — на маленькие колокола.

Василий свободно объяснялся на казахском языке, правда, несколько хуже своего брата Тишко. Остальные же из семьи Гончаровых были «немыми», как говорили у нас в ауле, потому что, не зная казахского языка, объяснялись мимикой и жестами, когда отсутствовали Тишко и Василий.

Мы лежали с Василием в траве. Навес, образовавшийся из густых и высоких трав, как шатер, спасал нас от солнцепека. Кони паслись на лугу, люди косили. Изредка к нам доносилось лязганье кос, когда они натыкались на грубые сорняки, да еще режущий свист, когда Сашко ловко и быстро точил притупившуюся косу.

Лежа в высокой траве, мы с Василием говорили обо всем на свете. Вдруг Василий спохватился и, что-то вспомнив, перевернулся на другой бок, засунул руку в карман своих штанишек.

— На! — и он насыпал мне в ладонь полную горсть жареных семечек. Семена подсолнуха у нас почему-то называли фисташками. Василий достал и для себя семечек и стал их быстро лузгать, сплевывая шелуху себе под нос.

Я никогда раньше не пробовал семечки, но от угощения друга не смел отказаться. Набрав их полный рот, я начал старательно прожевал все, что было во рту, и выплюнул кончиком языка отделять зернышки от шелухи и выплевывать лузгу, как это виртуозно проделывал Василий. Я старательно прожевал все, что было во рту, и выполюнул колючий комок. Василий отпрянул от меня, посмотрел вопросительно и с удивлением, потом дико расхохотался и, вперемежку бросая русские и казахские слова, что-то начал говорить. Он смеялся долго и громко, потом, еле сдерживая смех, стал меня обучать, как надо лузгать семечки. Я долго упражнялся в этом, а Василий уже кончал всю свою порцию. Проглотив несколько раз шелуху вместо зернышек, я все же одолел угощение Василия, но от вновь предложенной горсточки отказался: у меня болел кончик языка.

— Василь, Василь!

Крик старика Кузьмы заставил нас встрепенуться. Василий вскочил на зов отца.

— А-а-у-у! Я здесь!..

Старик стал бранить сына за то, что мы забыли о конях, и те, наевшись сочной травы, начали валяться на лугу. Василий стрелой помчался и с гиком, свистом погнал их с луга. Кузьма еще долго бранился, грозил кулаком, что-то кричал нам вслед.

Больше половины луга уже было скошено. Скошенная трава лежала, как гребни застывших волн.

Женщины варили обед. Из-под повозки доносился стук молотка отца, отбивающего косы. Кузьма вернулся к косарям и, как вожак, стал во главе и ровным шагом, тяжело передвигая ноги при каждом взмахе, двинулся вперед, за ним уступами пошли другие. Вся пятерка шла стройно, ритмично передвигаясь, словно они шли по льду, и как бы по команде, одновременно поднимая и опуская косы.

К полудню пятерка добилась полной слаженности, мой дядя, как прежде, шел замыкающим.

— Смотри,— дернул меня за рукав Василий,— как Момынкул стал хорошо косить!

Да, мой дядя теперь не ежился, не тужился, как прежде, а шел прямо и свободно, как будто он выполнял привычные упражнения. Я вспомнил, как еще недавно Кузьма называл его дураком.

— Ха, мой батька всех обзывает дураками!

— А он бьет тебя?— спросил я Василия, вспомнив, как его отец свирепо грозил кулаком.— Очень бьет, да?

— Бьет!— подтвердил Василь с иронической усмешкой и стоическим спокойствием.— Бьет,— повторил он.— Но я только стрекача даю! И появляюсь лишь тогда, когда он забывает, что хотел меня побить.

— А ты не ходи к нему сейчас, а то он тебя поколотит.

— Нет,— уверенно ответил Василий.— Мой батько уже забыл, что мы с тобой проглядели коней. А твой батько,— спросил в свою очередь Василий,— бьет тебя?

— Мой отец ни разу не бил меня,— гордо ответил я.

— А ты кого больше боишься: батько или дядю?— допрашивал Василий.

Я ответил, что больше боюсь дядю.

— А я своих братанов ни вот столечко не боюсь,— заявил Василий.— Ежели только они посмеют меня тронуть, батька завсегда за меня заступается.

Солнце стояло в зените и пронизывало все вокруг пря-

мыми, как иглы, лучами. Было ослепительно ярко, и жара стояла такая, что даже мухи и кузнечики облепили траву с теневой стороны...

Кузьма дал отбой. Косари, усталые и распаренные, вяло шагали к телегам. Разморенные, они бросались на свежую траву в тень от телег.

Мы поехали к себе домой, отказавшись от обеда у Гончаровых.

Гончаровы вернулись убирать сено через неделю.

Казахи обычно не складывали сено в стога прямо в поле, как это делали русские, но вязали его в небольшие снопы, а потом метали на крыши, и каждый стог, сложенный на крыше или в загоне, измерялся количеством снопов. «В этом стоге тысяча снопов»,— говорили наши. Сложенный стог служил измерителем порции корма для лошади. Казах знал, что ежедневно надо выдать скотине столько-то снопов сена, чтобы растянуть корм до зелени, когда скоту можно будет кормиться свежей травой.

...Трава, лежавшая на лугу в рядках, пожелтела, подсохла. Гончаровы приехали на телегах укладывать сено, наши работали с ними.

— Ну что, Момыш, будем скирдовать?— спросил Кузьма.

Отец, соглашаясь с ним, кивнул головой, но дядя, обойдя своего старшего брата, поспешил обратиться к переводчику Тишко со словами:

— Я буду по-нашему вязать снопы, а вы скирдуйте посвоему.

Тишко перевел, Кузьма, нахмурившись, сердито ответил:

— Що це таке, кто тут хозяин, Момыш чи вин?— и он развел руками, взглянув на отца.

Отец объяснил через Тишко, что Момынкул ведет хозяйство, и уход за скотом лежит на нем, поэтому пусть он убирает сено, как считает удобным для себя.

Тишко долго объяснял слова моего отца. Кузьма горячился, приводил какие-то доводы, страстно жестикулируя. В разговор вмешались женщины, на которых отец и дядя смотрели неодобрительно, как бы говоря: «Что это вы в мужские дела вмешиваетесь?» Мы просили Тишко перевести, что говорит его батько, но тот ответил только «сейчас» и ждал окончания семейного спора. На наших глазах на неизвестном для нас языке шел семейный совет Гончаровых. Кузьма кричал на своих, горячился, быть может, бранился, а те спорили с ним, уговаривали его, убеждали.

Наконец Гончаровы пришли к единогласию, и Тишко перевел нам:

— Батько говорит,— начал он,— у нас нет времени вязать снопы, да и снопы бывают разные.— Тут Тишко остановился и призадумался: как бы получше и подипломатичнее перевести грубые слова своего отца.— Он говорит, зачем Момынкул ортачил с ним, если он все собирается делать по-своему? Он, конечно, не может заставить Момынкула стоговать и скирдовать сено, но он также не может и вязать снопы по-казахски.

— Давайте поделим так...— предложил дядя свой план.

— Тишко, що вин казав?— вмешался старик Кузьма.

— Он говорит, что луг неровный, рядки неодинаковые, и говорит, как надо делать.

— Очень просто,— живо ответил дядя.— Вашу одну треть начнем справа... Две гряды наши, одна — ваша, кому какая попадется — ну и ладно...

Тишко перевел предложение дяди. Кузьма, немного подумав, махнул рукой.

— Нехай буде так, як вин казав!— но предупредил, что они больше нам помогать не будут, и пусть Момынкул сам себе вяжет снопы, коль ему так хочется.

Дядя ответил, что он согласен.

Все пошли на правый фланг гряды. Кузьма шел впереди, меряя землю широкими шагами, а мой отец, не привыкший ходить пешком, мельтешил за ним. Кузьма отсчитал две гряды и внимательно осмотрел третью своим безресничными красными глазами. Отодвинув носком сапога конец гряды, он как бы сказал: «Это моя».

На четвертой остановке ему попалась жиденькая гряда. Тут Кузьма, размахивая руками, закричал на своих сыновей. Сыновья пытались показать на наши, тоже жиденькие гряды, но старик разошелся до того, что мой отец без переводчика догадался, в чем дело, махнул рукой и показал, что Кузьма может брать следующую гряду. Кузьма уж было подошел и занес ногу, чтобы завернуть край гряды, как его сыновья и женщины завопили на него, по-видимому упрекая его в жадности и нарушении предложенных условий. Старик топнул ногой, погрозил им кулаком и завернул край той гряды, которая по жребию полагалась ему. Не переставая ворчать, он пошел дальше...

Гончаровы взялись за грабли и вилы. Мужчины вилами сворачивали гряды, а женщины шли за ними, под-

чищая граблями остатки сена. Вскоре в конце длинных гряд стали образовываться одна за другой копны, которые почему-то назывались чумелеями. Когда к полудню все сено было сложено, мужчины вилами стали таскать копны в одно место, а женщины под командой Кузьмы складывали скирду...

Мы приступили к вязанию снопов. Рядом находился еще не скошенный луг, и мы пошли туда, чтобы выдернуть высокие травы с корнями. Из них стали делать превязи. Разложив их вдоль гряды через каждые три шага, отец и я начали складывать сухое сено на перевязи, дядя же, как самый сильный, шел сзади и вязал снопы, придавливая охапку сена коленом. Работа шла быстро, и к вечеру мы связали более трехсот снопов.

Так продолжалось три полных трудовых дня. Подбадриваемый отцовской и дядиной похвалой, я впервые участвовал в общем труде.

— Настоящим джигитом стал наш Бауржан,— хвалил меня дядя.

— Иди надергай еще травы для вязи, только выбирай подлиннее,— посылал меня отец.

Храбрый воин и лихой спортсмен часто бывают людьми риска.Большая часть из них умирает не своей естественной смертью, и редко кому на долю выпадет участь расстаться с жизнью в постели, у себя дома. Жизнь у них, как натянутая струна, которая обрывается при полном аккорде и, издав последний звук уже оборвавшейся жизни, умолкает.

«Джигит без коня, что птица без крыльев; боевой скакун — крылья джигита; кто без коня, тот в плену мук и унижений»,— таково было отношение к коню у казахов. Казах предпочитал терпеть любые лишения, но не разрешал себе безлошадности. «Жалгыз атты ребен»— однолошадный бедняк — предел бедности, безлошадных называли «ку томар»— сухой пень.

Каждый казах умел ухаживать за конем и проявлял большую заботу о лошади. Он никогда не поил и не кормил коня разгоряченным. Выстойка после езды была обязательной. До коллективизации. казахи вообще не работали на лошадях и на базаре не покупали русских лошадей, считая, что у них набита холка и помяты хрящи лопаток. Конь у казахов предназначался для езды только верхом. Ни один казах не доверял своего коня никому. На скаку-

нов не сажали женщин из-за «тяжести их подолов».

Потеря любимого коня оплакивалась казахом так же, как и потеря дорогого человека. С древнейших времен конь воспевался наравне с легендарными героями. В народном эпосе казахов рядом с именами героев сохранились клички их коней: Тайбурыл — конь Кобланды-батыра, конь Алпамыс-батыра, Дулдуль—Алишера, конь Тулегена и т. д. Еще до сих пор в народе поют песню «Кулагер»—о гибели коня, печальная мелодия которой полна трагизма и скорби. В сказках, песнях, музыке, поэмах всегда казах отводил почетное место коню. Про хороших коней до сих пор говорят «Конь, стоящий невесты!» Это предельное восхищение конем, и безграничная любовь к нему наследуется у казахов из поколения в поколение.

Знаменитый Кокшолак был в жизни Аккулы последним его конем, а он—его последним седоком. Они, как верные друзья, покинули наш аул навсегда в один и тот же день, и нельзя было разобрать, кого из них больше оплакивал народ. Словами Аккулы, произнесенными им при последнем вздохе, были:

«Накройте меня шкурой Кокшолака!»

Итак, о смерти Аккулы и гибели его коня Кокшолака начинаю я повествование.

Старшую дочь моего деда и бабушки звали Айша. Она была на десять лет старше моего отца. Ее выдали замуж за Джантуре из рода Шегир, населявшего подножие горы Казыгурт.

Путь в аул к зятю Джантуре лежал через перевал Чокпак—Кремень. Так называли его из-за множества светлых кремневых камней, которыми до сих пор играют дети в темноте, высекая из них снопы искр.

Далее на пути дорога пересекала долины Майликент и Тюлькубас, проходила через ущелье Масат и по долине реки Аксу, русские называли ее Белой водой из-за белого ила, который она несет с вершин гор, откуда и берет свое начало. Потом дорога пересекала плоскогорья Сайрам и Ленгер и поднималась на Казыгурт.

Верхом это расстояние преодолевалось в три дня. Айша и Джантуре считались у нас самыми далекими по расстоянию родственниками, и их визиты были самыми редкими.

Джантуре овдовел очень рано. Ему было только шестнадцать лет, когда его первая пятнадцатилетняя жена умерла от родов, оставив мужу маленького сына Булата.

Мой дед был в дружественных отношениях с отцом Джантуре. Его сын Булат приходился нам племянником,

так как мать его была из нашего рода. Было решено не терять и в дальнейшем родственных связей, и нашу Айшу, которой в то время было семнадцать лет, выдали замуж за Джантуре.

Джантуре был в первый раз назван женихом в четырнадцать лет от роду. Его отец считал нормальным женить сына в этом возрасте, который, по мусульманскому обычаю, считается совершеннолетним.

Много рассказывалось о том, кто когда женился и сколько лет его невесте, приводилось множество примеров, говорили, что вот такая-то имела своего первенца на тринадцатом году жизни. Наконец, рассказывали, что даже сам святой Магомет женился на одной из своих жен, когда ей было всего семь лет. Как видите, развратная жизнь самого пророка приводилась казахами как образец чего-то святого. Она и являлась основанием для оправдания раннего замужества, женитьбы и многоженства. Правда, казахи не соглашались со своим пророком в одном: бракосочетании единокровных—женитьбе двоюродных братьев на двоюродных сестрах—и презирали тех, кто допускал такие браки.

Первая жена Джантуре приходилась двоюродной сестрой Аккулы, по линии каких-то бабок, а ее сын Булат, коренастый черный старик с реденькой седой бороденкой, которая, как лучи, расходилась во все стороны на его худом, точеном лице, приходился Аккулы племянником.

Булат родился, когда его отец был в юном возрасте. Он мужал и старел вместе со своим отцом. Они носили кличку «два старика», а для различия в ауле их звали «стариком отцом» и «стариком сыном».

Джантуре и Булат были заядлыми кокпаристами. Они были столь же легендарными спортсменами в своем округе, как Аккулы у нас.

В этот день мы все были дома. Заходящее солнце косыми лучами ярко освещало наш стан. Вот под бугром показались четверо всадников. Они темными силуэтами выделялись на фоне солнца. Одним из всадников была женщина в белом. Ехали они шагом, неторопливо.

— Что за путники?— с волнением спросил отец и, приложив руку к глазам, всматривался вдаль.— Кажется, Айша едет. Иди, Момынкул, распорядись о приеме.—Он еще пристальней посмотрел в ту сторону дороги.— Да, это они! Вон Джантуре, я его по посадке узнаю, а это Булат, что едет немного сгорбившись, а вот и Аскар, свечой сидит на коне. Большую юрту готовь для гостей!— крикнул отец

вслед уходящему дяде.— Айша не захочет войти в малую. Готовьте все быстрей, а то они будут скоро тут.

Всадники приблизились «на рывок скакуна». Не было сомнений, что едут именно они! Айша ехала иноходью впереди на гнедой красивой кобылице, мужчины же, еле поспевая за ней, трусили мелкой рысью. Айша сидела на коне уверенно и гордо, полная сознания, что ее конь стучит копытами по земле предков.

Отец, не отрывая глаз, смотрел на приближающихся путников. Вот он бросился бегом и, когда Айша придержала иноходца, взялся за повод ее коня. Старуха разволновалась, растрогалась и, невнятно что-то бормоча, с умилением смотрела на своего брата.

У отца, тоже сильно взволнованного, дрожали колени. Он, придерживая левой рукой коня, правую протянул сестре со словами:

— Сойди, апке.

С дрожью в голосе он продолжал:

— Ты, должно быть, устала от долгой езды, сойди, ангел мой, сойди, моя нянюшка!

Его слова вконец растрогали старуху, и она опустилась с коня на руки брата. Отец ловко взял ее на руки и, поддерживая, успокаивал:

— Не надо так сильно волноваться, апке... Ты устала, пойдем в дом — там отдохнешь...

Бледная, коротконосая, с небольшими припухлостями под глазами, острым подбородком и тонкими дрожащими губами, старуха слабым голосом спрашивала отца:

— О, где же теперь моя драгоценная мать?

Эти слова особенно растрогали дядю, и он, до тех пор спокойно стоявший в стороне, начал всхлипывать, вытирая глаза.

— Ну хватит, Айша! Довольно давать волю родственным чувствам!— вмешался румяный, белый старик с красивой атласной седой бородой, в серой меховой шапке.— Святая была женщина мать Айши, покойница, но ведь никто из нас не может всю жизнь пройти рядом с родителями!—так говорил Джантуре — муж некрасивой старухи, нашей Айши.

Стоявший несколько в стороне худой коренастый старик Булат почтительно вмешался:

— Вы же обещали мне вести себя хорошо.

Поддерживая под уздцы стройного и сухого вороного мерина, стоял, вытянувшись в струнку, бронзовый, голощекий, остроносый, тонкогубый, узкоглазый джигит с чуть

вытянутым лицом. Он был в бешмете и остроконечной сусликовой шапке. Это был Аскар — родной сын Айши.

На нас, детей и домочадцев, никто не обращал внимания. Старики в пылу трогательных излияний забыли об окружающих и вспомнили о нас лишь после обычных приветствий: «Какая была дорога? Покойно ли несли вас ваши кони? Здоровы ли дети ваши? Благополучно ли с вашими стадами?»

Обиднее всего было то, что старуха, так ласкавшая моего старого отца, не знала даже моего имени. Поманив меня, она, рассердившись на себя, «потьфукала» по сторонам и положила свою сухую, морщинистую руку на мой лоб.

— А это твой сын, Момыш?— спросила она.— У меня тоже такой взбалмошный внук растет!

— Дай бог, из него хороший джигит выйдет,— добавил Булат.

Отец был растроган лаской сестры и встречей. Джантуре продолжал шутить с отцом и со своей женой. Булат изредка вмешивался в разговор, а Аскар не проронил еще ни единого слова. Дядя во дворе был занят хлопотами по приему гостей.

Перед чаем Айша созвала всех наших домочадцев, раскрыла привезенные коржуны и начала раздавать подарки. Женщинам досталось по отрезу на платье, мне и дяде она подарила цветастые тюбетейки, которые тут же собственноручно надела нам на головы, отцу же подарила каракулевую шапку собственного шитья и под общий смех начала кормить его и угощать, как ребенка, разными сладостями.

— Что ты делаешь, старая?—смеялся Джантуре.— Ты лучше раздай сладости детям.

— Да подожди же,— ответила старуха, оберегая узелки со сладостями,— сначала я отдам доли Момышу, а уж потом пусть каждый берет что хочет...

— Боишься, что Момыша могут дети обидеть?— расхохотался Булат.

Отец, смеясь, принимал в горсть подарки сестры.

— Ведь я же для него привезла,— серьезно отвечала старуха,— и должна вложить ему в руки...

Пока шел этот забавный дележ, вошел, приветствуя приехавших, Аккулы. Трогательно обнявшись со всеми, он сел рядом с Джантуре. После обычных приветствий Аккулы виновато взглянул на старуху и сказал:

— Грешен я, Айша-апа, перед этим шанраком, гре-

шен... Но меня влекла сюда непреодолимая сила, когда я услышал о вашем приезде. До вас дошли, вероятно, вести о том, что между нами прошел холод раздора... Я заставил себя через силу перешагнуть этот порог. Слыхано ли, какой позор меня окутал?

Джантуре на слова Аккулы осуждающе покачал головой и молчал. Булат, тяжело вздохнув, опустил глаза и стал внимательно рассматривать разостланную перед ним скатерть. Аскар продолжал сидеть в позе индийского божка.

— Ты хорошо сделал, Аккулы, что пришел. Я от души рад этому,— начал отец.

Но старуха, задыхаясь, вскричала:

— Где же уродище из моего гнезда?!— и обрушилась, размахивая кулачками, на дядю, который вносил в эту минуту в юрту самовар.— Какая нечистая сила занесла тебя в мое гнездо? Какой дьявол вселился в тебя, отщепенец? О! О! Что же ты мне уготовил на старость, перед смертью? Ты мне, как острым ножом, разрезал сердце! Зачем тебя в пеленках не унесла какая-нибудь поганная болезнь? Почему не сразили тебя злые духи, что окутали черную твою душу? Какой позор! Какой позор, что ты мне одноутробным братом приходишься?

— Айша!— строго окликнул ее Джантуре.

— О, я больше не Айша!— в слезах закричала старуха.— Покинь меня, я сестра этого дьявола!— Она сухим, морщинистым пальцем показала в сторону дяди и, отплевываясь, отвернулась, вытирая слезы концом платка.— Тьфу, тьфу, тьфу, неверный! Пусть не станет на тебе лица!— говорила она совершенно опешившему дяде.

— О, зачем, зачем я только живу и сижу сейчас здесь, под родным шанраком?!—вопрошала она.— За что меня так жестоко наказывают, за какие грехи?! Каково мне видеть это наглое лицо?— Она снова несколько раз плюнула в сторону дяди и закричала, взмахивая руками:— Вон с моих глаз. Вон! Вон!

— Иди, Момынтай, иди, брат мой!— сказал отец дяде, который растерянно смотрел на него.

Дядя покорно вышел из юрты.

Такова была тяжелая доля младших среди казахов: покоряться старшим во всем и не сметь возражать им никогда, ни при каких обстоятельствах.

Мне было до того жаль дядю, что я юркнул во двор следом за ним.

Бедный дядя с широко раскрытыми глазами, весь багро-

вый от стыда и гнева, стоял посреди двора, бессмысленно уставившись вдаль...

Бабушка всегда его ругала, Серкебай его сек и пилил, даже мой отец однажды назвал его дураком, а это коротконосая старуха при всех разнесла его в пух и прах и выставила из его же собственного дома.

Мне так хотелось в чем-нибудь помочь дяде, принять на себя хотя бы часть тех ударов, что сыпались на него от старших, но я не посмел к нему подойти, а он продолжал стоять неподвижно с устремленным вдаль взглядом. Потом, заметив меня, он тихо сказал:

— Иди в юрту, помоги отцу чай разливать...

Когда я вошел в юрту, все уже мирно пили чай, только на лице Айши-апа лежала пелена бледности: старуха все еще, по-видимому, не могла преодолеть какого-то внутреннего противоречия. Чай пила жадно, не оттого, что проехала длинный путь,— она заливала, казалось, какую-то свою нерешительность.

— Почему ты не предупредил меня об этом раньше?!— упрекала она отца.

— Но ведь ты же не дала нам и слова вымолвить!— оправдывался он.

— Все это тяжелое и печальное недоразумение.

— Айша-апа,— сказал Аккулы.— Злой язык оклеветал их... Крутой был характер у моей снохи, а я поддался злым словам. Ежели бы это было правдою, я никогда бы в жизни не переступил порог этого дома. Да, она права была, моя красавица, отомстила мне, старому дураку,— продолжал Аккулы.— «Коль меня не пожалели, то и мне вас жалеть незачем!»—передала она нашему посланцу.

— Вы оскорбили женщину, оскорбили жестоко и без жалости, Аккулы,— старуха выпрямилась и резко добавила:— Женщину оскорбить не надо много ума. Мы все — жертвы раздоров и мелких ваших сплетен! Как тебе, седому, не стыдно?!

Она гневно смотрела на Аккулы. Аккулы сидел уничтоженный, как-то ссутулясь и вобрав голову в плечи.

— С толку сбили меня, Айша-апа! Черт за душу дернул... Обида душила.

— А теперь, я вижу, ты доволен своим позором! Сам накликал на себя все!— выпалила старуха со злобой.— Мальчишка несчастный, вот ты кто!

Шестидесятилетний «мальчишка» сидел насупившись в углу и, посапывая, глотал горячий чай, нервно постукивая по дну пиалы.

— Я его ругаю, ругаю, а он и слова не возразил мне, мой родной!— Айша-апа всхлипнула и повторила сквозь слезы:— Ни слова не промолвил против меня, мой родненький, а он ведь у нас самый меньшой... Смотрит он на меня растерянными глазенками и молчит, как бы я его ни обзывала!— Тут Айша уже заплакала.— Как же я посмела обидеть самого меньшого?! А когда я, старая дура, крикнула: вон!..— Голос ее задрожал, и затрясся морщинистый подбородок.— Он, милый, покорно вышел из родной юрты.

— Ну, довольно тебе,— строго остановил Джантуре жену, которая заливалась слезами.— Наругалась, расстроилась, наплакалась — кажется, всеми удовольствиями насытилась...

— Ты со мной так не говори! Я тебе здесь не жена!— всхлипнула старуха.— Под шанраком моих святых родителей ты у меня не хозяйничай! В этом доме я тебе только невеста!

При этих словах старики и старухи расхохотались, даже молчаливый Аскар схватился за живот.

— Сиди, как порядочный жених!— прикрикнула она на Джантуре под смех присутствующих.

Джантуре, хлопнув себя по коленке, воскликнул:

— Ай, какой молодец ты, старая!— Он шутливо принял позу застенчивого жениха и деланно молодым голосом обратился к Айше, как к барышне-невесте:—Вы всю эту юрту освещаете своей красотой! Вы наполнили эту обитель соловьиными напевами! Долго ли вы будете еще чирикать, свет очей моих, Айша?— иронически добавил он и заключил уже строго:— Если ты сама не устала от своих напевов, то пожалей других!

В этот момент в юрту вошел дядя. Видимо, он прислушивался к разговорам и, когда настал удобный момент, счел возможным вернуться. Увидев его, Айша-апа снова дала волю своим слезам и словам.

— Садись, мой миленький, садись, садись, мой мальчик.— Она, всхлипнув, вытерла концом платка глаза и протянула руку с пустой пиалой:— На, Момынтай мой, налей мне чаю, дорогой братик!

Разрешением налить себе чаю она как бы извинилась перед дядей, но одновременно в тоне ее было подчеркнуто, что она права и что ее поступок не подлежит обсуждению младших.

Дядя почтительно взял пиалу, налил чай и так же почтительно подал ей.

И в дальнейшем Айша-апа, пользуясь правом старшей

в нашей семье, не отказывала себе в удовольствии распоряжаться, давать наставления, указывать, а иногда и покрикивать на нас и даже на своих, включая Джантуре. На вопросительные взгляды мужа и недоуменные вопросы она отвечала во всеуслышание:

— Я была первым ребенком, рожденным в этом доме. Я первая принесла радость своим родителям. Меня первую нянчили под этим шанраком!

Для ответа на эти доводы у наших не хватало слов, и оставалось лишь покориться воле старухи.

Семья Джантуре, так редко посещающая наш аул, буквально ходила по рукам родичей всего нашего подрода. Их то приглашали отведать «вкус соли», то они сами шли поздравить какую-нибудь семью с новорожденным, или новобрачным, или же с разделом от большой юрты в «отау», то есть созданием новой семьи. Долг вежливости предписывал в такие дома идти без приглашения. Вообще, если в доме произошло какое-нибудь заслуживающее внимания событие, казахи никого не приглашали, оставляя дверь открытой для всех желающих выразить свои чувства и радость по этому поводу.

Каждая юрта, как правило, встречала семью Джантуре бараньей головой и бесбармаком из только что забитого в их честь барана... Мы, сопровождавшие их, наедались до отвала свежим мясом.

У двоюродного брата Аккулы, Дембая, родился первенец — сын. Плоский, утконосый, рыжебородый, с короткими кривыми ногами, Дембай еще до моего рождения женился на высокой, стройной, худой и черной, как мумия, женщине, которую в ауле прозвали шестом за прямизну и очень высокий рост. Дембай и его жена долгое время были бездетными и тяжело переживали, поэтому с таким трепетом он и его друзья ждали, кого подарит ему жена. Рассказывали, что, когда после первого крика новорожденного одна из женщин выбежала из юрты с радостной вестью, что родился мальчик, бедный многострадальный Дембай, услышав это, обнял женщину и разрыдался у нее на шее, как ребенок. От счастья потеряв всякую способность владеть собой, Дембай перебегал от одного к другому и каждого вопрошал:

— Неужели это правда, что я отец? У меня сын! Сын у меня будет расти! Сын родился! Сын родился! О, создатель, как я тебя благодарю!

И в наш аул прибежал юноша с этой вестью. Он также был заражен общей радостью своего аула: бездетным суп-

ругам «бог подарил» сына. Глотая концы каждого слова, юноша доложил:

— Аккулы-ата просит вас, Айша-апа, быть крестной матерью, а Джантуре-ата — крестным отцом новорожденного...

Все наши, во главе с Джантуре и Айшой-апа, отправились в аул Аккулы. В ауле уже дымились очаги, и из стада волокли барана. Мы шли медленно за Айшой-апа и Джантуре, не смея обогнать с достоинством шагающих стариков, с трудом сдерживая пыл своего любопытства.

Народ, собравшийся в ауле Аккулы, смотрел в нашу сторону, поджидая нас. Женщины перебегали с посудой из юрты в юрту. Как обычно, одинаково как в тревожные дни, так и в радостные, они суетились и перекликались между собой.

Аккулы стоял в середине в белом халате из верблюжьей шерсти, полы которого были так широки, что, казалось, это стоит не Аккулы, а серо-мраморная статуя деда. Широкополая белая шляпа из войлока придавала ему внушительность. Когда мы были в двадцати шагах от них, Аккулы тронулся навстречу нам, и свита его последовала за ним. Он шел быстро, порывисто, полы его нового халата развевались по ветру, и как-то все его величие мигом пропало в моих глазах.

— Здравствуй, старшая сестра,— обратился он к Айше.

— С радостью вас всех, родные мои, с радостью!— ответила Айша-апа.

Перебивая друг друга, мы стали поздравлять всех акколовцев с новорожденным. Вдруг из соседней юрты выбежал, ковыляя на кривых ногах, и сам Дембай.

— Айша-апа! Айша-апа-а-а-а-а-а!— как ребенок с криком бросился он в объятия старухи. Его стали успокаивать, но он продолжал всхлипывать.

Набралось народу уже больше полусотни. Появились женщины с подносами в руках и с возгласами поздравления начали подбрасывать вверх свежие баурсаки. Их ловили на лету, подбирали с земли и со смехом отправляли в рот. Так открылось торжество по случаю рождения у Дембая первого сына.

На третий день после рождения младенца, на потеху степным спортсменам, что бесновались на конях, покатилась еще одна голова козла из стада Дембая. Кокпар начался после обеда, когда лучи солнца косыми пальцами ласкали землю. Джантуре, Булат, Аскар, дядя сами сед-

лали своих коней, не доверяя другим. Подтягивали стремена, укорачивали путалища. Подпруги врезались в грудь коней, сжимая им дыхание. Все были по-особенному внимательны и ласковы к своим скакунам. Шла подготовка к кокпару.

На этот раз и у меня были свой конь и свое седло. Дядя помог мне оседлать трехлетнего темно-серого жеребца.

— Держись только подальше от толпы,— предупредил он меня.

Джантуре и его сыновья оказались азартными и ловкими наездниками. Красивый старик с тушей козла вырвался из толпы и, чуть подав корпус вперед, понесся по полю, увлекая за собой всех всадников. Казалось, его конь плыл по воздуху, выбрасывая вперед ноги.

Аккулы, как староста аула, на этот раз стоял в числе болельщиков в стороне и встречал каждый из приемов Джантуре восторженными восклицаниями:

— Как он плавно повернул! Конем только управлять умей!— строго наставлял он окружающих.— Конь дальше и сам все сделает. Не мешай животному, дай только знать толком, что ты от него желаешь... О святая твоя белая борода, Джантуре! — восклицал он, когда Джантуре, резко осадив коня, пропускал мимо себя догоняющих и тут же, круто повернув в сторону, обманывал толпу, которая вихрем пролетала мимо него.— О старое поколение лихих джигитов! О старая школа наша! — шептал Аккулы.— Видели, видели?— снова кричал он болельщикам, показывая на Джантуре.

А Джантуре носился по полю, водя за собой конную толпу. Но вот из толпы к своему отцу вырвался молодой Аскар на сером коне и, догнав его, протянул руку: «Дай мне!» Джантуре на полном скаку швырнул тушу козла в сторону сына. Аскар так ловко схватил ее на лету, что в толпе болельщиков снова раздались возгласы восторга.

Джантуре скакал рядом с сыном и, видимо наставлял его, как надо вести коня, какой следует совершить маневр, когда приблизятся преследователи... Так в паре носились они по полю, волоча за собой, как длинный шлейф, конную массу. Вдруг оба коня рванулись одновременно ввысь, совершая головокружительный прыжок. Отец и сын пронеслись над препятствием и, одновременно приземлившись, поскакали дальше. Гнавшиеся за ними всадники шарахнулись в сторону: впереди была ши-

рокая, глубокая канава, прорытая быстрым течением горного потока.

В восторге загудела толпа болельщиков. Джантуре, заметив, что они по ту сторону рва, повернул обратно и вторично, с сыном перелетел через эту пропасть так складно и одновременно, что казалось, сама земля застонала от восхищения лихостью наездников.

— Никогда в жизни не видел я таких лихих джигитов,— удивлялся один.

— Не кони, а крылатые птицы!— восторгался другой.

— Ах, у меня сердце прямо замерло!— волновался третий.

— Да, для благородного коня лихой наездник не обуза, а крылья!— заключил Аккулы.

Произошла небольшая пауза в игре, ибо никто уже более не пробовал оспаривать у Джантуре и Аскара права на победу.

Но вот включился в дело сам Аккулы, вызвал новые восторги своей лихостью и ловкостью. Джантуре не вытерпел похвал, что сыпались на Аккулы, и стремительным рывком послал своего коня вдогонку. На «поле боя» остались только два убеленных сединами джигита, что боролись за славу и первенство. Но вот, когда Аккулы поворачивал коня, Джантуре, коварно подкравшись неожиданно вырвал из его рук тушу козла. Аккулы был ошеломлен. Но, опомнившись и увидев, какую шутку сыграл с ним Джантуре, одобрительно помахал ему рукой и придержал Кокшолака. Джантуре в это время описав широкий круг, носился вокруг Аккулы, поддразнивая его и выделывая разные фигуры. Вот на полном скаку подлетел он к Аккулы и швырнул ему кокпар. Тот, подхватив тушу козла, обратно перебросил ее Джантуре. Так оба старика, к удовольствию всех присутствующих, носясь по широкому полю, жонглировали тушей козла, увлекая за собой конную толпу.

Схватив в последний раз у Джантуре тушу козла, Аккулы внезапно повернул в сторону и понесся прямо к канаве, которую перелетел стрелой. Толпа весело загудела. Мчавшиеся за Аккулы всадники снова остановились у припятствия, и лишь Джантуре, войдя в азарт и разозлившись на Аккулы за то, что тот так ловко его провел, перемахнул через ров и снова стал преследовать Аккулы. Борьба между стариками завязалась всерьез. Джантуре вот-вот догонит, Аккулы, он уже протягивает руку, чтобы ухватить добычу, но Аккулы ловко перебрасывает тушу

козла на другую сторону. Тогда Джантуре всем корпусом перебрасывается через круп Кокшолака и тянет кокпар к себе. Вот, встав на стремена, он уже почти окончательно вырывает у Аккулы добычу, но тот успевает вцепиться в ноги кокпара. На полном галопе летят всадники, ведя борьбу и не уступая первенства. Они несутся, перевалившись корпусами в противоположные стороны, и их кони бегут как будто по наклонной плоскости.

Все взоры были направлены на скачущих стариков, которые повернули своих скакунов к оврагу. Джантуре, обогнав Аккулы, первым перемахнул на нашу сторону. Аккулы, который спешил преодолеть преграду раньше Джантуре, отпустил поводья Кокшолака и пригнулся к его шее. Вдруг конь и всадник исчезли с поля зрения, как будто земля проглотила их.

— Ох,— простонала толпа и бросилась к месту, где исчез славный джигит.

Это была волчья яма, прорытая подпочвенным течением горной воды. Аккулы с конем провалился в нее. На дне образовавшегося оврага стояла густая пыль, за которой ничего нельзя было различить.

Старшие спешились.

— Снять все чембуры,— скомандовал Джантуре, отвязывая свой чембур.

Все последовали его примеру.

Перед Джантуре кучей легли скрученные из конских волос чембуры, блестевшие, словно змеи. Джантуре ловко связывал их, покрикивая на помогавшего ему Аскара:

— Подавай скорей! Тяни этот узел! Еще раз обмотай!

Пока связывали веревки, пыль рассеялась, и, как сквозь дым, стали видны копыта Кокшолака.

— Кокшолак лежит на спине!— с тревогой вырвалось у кого-то.

Джантуре сделал несколько петель и ловко, одну за другой, набросил на ноги коня. Конь задергался, отбиваясь.

— Тяните!— скомандовал Джантуре.

Вот на поверхности показалось потное тело Кокшолака. Конь лежал неподвижно, раза два попытался поднять голову, но со вздохом, похожим на стон, снова опускал ее на землю. Его большие черные глаза, запорошенные пылью, часто мигали.

— Смотрите, он глазами ищет хозяина!

— Эх, эх, эх, эх!— рыдал Дембай.

— Осторожно, осторожно!— закричал Джантуре.— Осторожней, дети мои, он еще не пришел в себя.

Я обернулся. Джантуре, весь в грязи и в крови, нес на руках, покрытое серой пылью, тело Аккулы, за которым спускался на дно оврага. За ними волочилась веревка, привязанная к поясу Джантуре. Глаза Аккулы были закрыты.

— Что вы столпились? Дайте воздуху! Разойдитесь!— крикнул Джантуре.

— Ой, ай, мой родной отец! — завопил Жаксыбай.

— Я его сюда, сюда положу...— и Джантуре опустил тело Аккулы на землю рядом с Кокшолаком.

Прискакал гонец из аула, посланный за водой.

Джантуре поднял голову Аккулы и обрызгал его лицо водой, вытирая капли большим цветастым платком...

На зеленом поле, покрытом мелким серым щебнем, лежали рядом в беспамятстве старый бледный Аккулы и, весь в глине, тяжело храпевший Кокшолак. Вокруг стояла, понурив головы, недавно безумствовшая и бесновавшаяся толпа: молодые и старики. Они глотали душившие их слезы, что подступали к горлу, боясь раньше времени отпевать своего любимца и вожака в азартной народной игре.

Аккулы не подавал признаков жизни. Джантуре держал его голову на руках, продолжая освежать лицо старика водой.

— Аккулы, Аккулы!— звал он.— Ты меня слышишь?

Аккулы молчал. Но вот толпа затаила дыхание: старик зашевелил губами.

— Аккулы, Аккулы! — продолжал звать Джантуре.

Аккулы очнулся, слабым голосом спросил:

— Это ты, Джантуре? Ты со мной?

— Да, Аккулы, мы все здесь, возле тебя...

— Хорошо... — еле слышно произнес Аккулы. — Пить!

Джантуре поил его ключевой водой. Вода текла по седой бороде Аккулы, а голова его продолжала беспомощно лежать на руках Джантуре. Он прошептал что-то невнятное, но Джантуре понял его и велел расседлать Кокшолака, затем разостлать на земле потники и положить вместо подушки седло.

Джантуре с осторожностью перенес Аккулы на эту постель.

— Надо дать ему прийти в себя, прежде чем переносить в аул,— сказал Джантуре.

К этому времени большой красный шар солнца более чем на четверть утонул за хребтами Чокпака, украсив мягким красным отсветом его вершины.

Знатоки определили перелом позвоночника у Кокшолака. Вот почему он не мог двигать конечностями. Его оттащили подальше от Аккулы и, со слезами на глазах, отсекли голову и сняли шкуру. Его жилистую, пропитанную потом тушу разобрали на мелкие куски, как мясо священной птицы.

Когда громадная тень горы побежала в нашу сторону и солнце утонуло за Чокпаком, пришедшего в сознание Аккулы на натянутой между двух коней шкуре Кокшолака повезли в аул. Эскорт всадников в молчании сопровождал умирающего до его родной юрты.

О джигитство, соревнование в силе и ловкости, великий спорт степей, как ты сближал людей! Прав был тот, кто сказал: «Наша жизнь — игра! Наша дружба в игре!»

Аккулы в последний раз переночевал в своей юрте, а наутро, перед восходом солнца, его не стало.

Чему меня отец научил — это арабскому и русскому алфавиту и цифрам. Читать я не умел, а писал из-за интереса выводить буквы, то есть, вернее пачкал бумагу, стараясь воспроизвести то, что написано было в книге. Букваря в нашей «библиотеке» не было, а имевшиеся книги были напечатаны мелкой арабской вязью, и мне не удавалось начертить на бумаге что-либо похожее на буквы, так как в арабской вязи неискушенному трудно выделить отдельные буквы. Очень скоро у меня отпало всякое желание копировать что-либо из книг.

Отец стал меня учить читать. Так как названия букв резко отличались от гласных и согласных звуков, и арабские знаки «зер», «забар», «уртут», «тэштут», «сэкун» и прочие приставки к буквам, придающие им определенную гласность, долготу или краткость, путали меня всякий раз, то я лишь механически запоминал их. Тогда отец выбрал другой метод и, предварительно объяснив мне значение этих знаков, заставил выучить все буквы в трех слогах. Например, алиф забар а, алиф зер и—будет аи; алиф пеш — а аио; бе забар ба, бе зер би — баби, бе пеш бо — бабибо; дал забар да, дал зер ди — дади, дал пеш до — дадидо; те забар та, те зер ти — тати, те пеш то — татито...

Это понравилось мне, и я охотно взялся учить эти забавные сочетания на каждую букву алфавита, и, сидя на корточках, положив перед собою на подушку написанный отцом на листе бумаги алфавит, я напевал:

— Ре забар ра, ре зар ри — рари, ре пеш ро—рариро; хаб забар ха, хаб зер хи, хахихаб пеш хо — хахихо.

Алиманна, сидевшая за рукодельем, прыснула и, не сдержав давно душившего ее смеха, повалилась и начала неудержимо хохотать. Когда она, вдоволь нахохотавшись, наконец успокоилась, отец ей сделал выговор и в наказание тоже посадил ее рядом со мной учиться, и велел мне учить ее по всем ранее пройденным мною урокам. Протесты Алиманны не повлияли на настойчивость отца, и она в слезах села со мной учить уроки.

Способная девочка за короткое время догнала меня и впоследствии была поощрена отцом за усердие. В часы досуга мы ради забавы учили, как прибавление «а», «и», «о» к каждой согласной образует какие-то бессмысленные три слога, и, произнося их, мы смеялись, хватаясь за животы. Наше учение превращалось в развлечение. Через неделю отец дал нам урок по словообразованию путем соединения или слияния, как он объяснил, этих трех гласных сначала с одной согласной, а потом с двумя:

Алифты теге алиф забар — ат (ат — по-казахски лошадь.)

Алифты теге алиф зерар — ет (мясо).

Алифты теге алиф пеш — от (огонь).

Это нас заинтересовало больше, так как, соединяя буквы, мы получали какие-то слова, правда, не всегда слова, а чаще всего слоги отдельных слов и, желая скорее постичь искусство полного словообразования, мы с Алиманной за неделю выучили заданный нам урок «скрещивания» гласных с согласными. Отец похвалил нас и задал нам уроки на полное словообразование, начиная опять с несложных простых слов:

Кабты теге кабзар — кет (уходи).

Хабты теге хап забар — хат (письмо).

Бени реге бе забар — бар (иди).

Однажды отец привез древесный уголь толщиной в палец, аккуратно отточил его конец ножом и велел мне принести лист чистой бумаги. Когда я подал ему бумагу, он положил ее на поднос, разгладил на ровной поверхности и осторожно начал выводить крупные буквы арабского алфавита. Мы смотрели на каллиграфические упражнения отца затаив дыхание. Когда отец кончил писать вторую строку, он велел нам прочесть написанное:

— Алиф забар — А, лям зер — ли,— начала читать Алиманна,— али, мим забар ма, Алима.

Не дочитав до конца, она захлопала в ладоши, затараторила:

— Ой, это мое имя написано, мое имя, мое имя!

Вторую строку читал я.

— Бе забар — Ба,— тут я запнулся,— как дальше у соединить с р? А Алиманна, воспользовавшись моим замешательством, придвинулась еще ближе и начала читать:

— Бе забар — Ба, уауды реге уау зер ер бауер, джумды нунга джум забар жан — Баурджан,—торжественно закончила она. Я, сконфуженный, сердито посмотрел на сестру, и она, как бы желая сгладить свою вину, попросила отца написать еще одно имя, чтобы я прочел его самостоятельно. Отец написал, я прочел.

— Алифты кабка алиф забар — Ак, каб каб пеш —ку акку, лям зер ли — Аккулы.

При произнесении мной этого имени отец вздрогнул, как бы обращаясь к Аккулы, взволнованно произнес:

— Да сопутствуют тебе, Аккулы, добрые духи. Твое место невосполнимо пустует в нашем роду. Царство тебе небесное!

Тут он, приняв серьезную позу, прочел по Аккулы короткую молитву. Такой конец нашего урока испортил нам радость, испытанную при первом чтении нами собственных имен. Отец, заметив это, спохватился, но поздно. И, наставляя нас на самостоятельное учение уроков, как бы извиняясь перед нами, добавил:

— Об усопших, дети мои, забывать не полагается...

Я описал некоторые подробности моего начального образования для того, чтобы было понятно, какая примитивщина существовала у казахов не только в ведении хозяйства, но и в обучении грамоте.

Выпал первый снег. Дядя привез отрез сукна, несколько аршинов белой материи. Мне сшили пальто и белье. Убианна прислала мне лисью шапку. Я в новом одеянии ходил по соседним домам. Все осматривали и хвалили мою одежду...

Однажды дядя привел рыжебородого старика и с почтением обращался к нему иначе как «молда еке». Старик подозвал меня и, похвалив, насыпал в мою горсть изюма. Он был со мной чрезмерно ласков. Дядя был необыкновенно внимателен ко мне и хвалил меня перед стариком. Я принимал все это как должное, только не понимал слов старика, как бы с упреком говорившего дяде:

— Надо было немного пораньше, чуть перерос парнишка.

— Ничего, молда-еке, вот брат все время жалел, а ведь дальше нельзя, молда-еке. Сделайте нам одолжение, пожалуйста,— как бы оправдываясь, отвечал дядя. Отец почему-то не появлялся в доме. На очаге готовилось угощение для гостя.

Дядя постелил на пол одеяло, положил подушку и, аккуратно заправив приготовленную постель, предложил мне раздеться. На мой недоумевающий вопрос он ответил, что мне надо немного отдохнуть, пока на дворе слякоть, и что, пока он будет беседовать с молда-еке, я должен немного поспать. Когда я лег, молда-еке зажег кусок синей тряпки. От ее едкого дыма я отвернулся и вдруг почувствовал: старик раскрывает у моих ног одеяло и руками вытягивает мне ноги. Я в ужасе хотел поднять голову, но дядя прижал мои плечи к подушке.

— Ничего, ничего,— успокаивал он меня,— молда-еке хочет посмотреть, все ли у тебя в порядке.— Мне в плену этих двух злодеев ничего не оставалось, как повторять за стариком бессмысленные слова о том, что был я неверным, а теперь стану правоверным. И вдруг я почувствовал жгучую боль, от которой вскрикнул и хотел вырваться. Но дядя навалился на мои плечи, а старик прижал мне ноги. От боли я продолжал орать, а они все продолжали давить меня, посыпая рану пеплом сожженной синей тряпки, и, перевязав, оба отошли в сторону, говоря мне, что обрезание по закону правоверных мусульман совершено, что я отныне мусульманин, что меня они больше не тронут, и чтобы я только лежал спокойно...

Подали на дастархан кушанье. Пришли гости, пришел отец, поздоровался со всеми, а они его поздравили с обращением сына в правоверные. Больше на меня не обращали внимания, ели, вели беседу, а старик рассказывал, как он совершал подобные злодеяния над другими мальчиками. Все смеялись. Видимо, при этих рассказах каждый вспоминал свою мальчишескую участь. Мне, конечно, было не до смеха. Это было первое насилие, совершенное надо мной и торжественно отмеченное в моем же родном доме.

Я бы упустил этот краткий раздел своих воспоминаний, если бы этот дикий обряд не ушел в область предания и если бы он не имел отношения к моему дальнейшему учению. Как я после узнал, мой будущий учитель категорически отказался учить необрезанного мальчика, так как это перечит законам мусульман, и отец мой согласился на

эту операцию, от которой воздерживался столько лет, жалея меня.

Когда я окончательно поправился, приехал Аюбай. Он был в новом лисьем тумаке. На нем была дубленая шуба с шалевым воротником из черного барашка. Борта и подол новой шубы были на ширину ладони обшиты черным бархатом. Аюбай привез свой обычный подарок — пачку чаю и фунт сахару, как он это делал всегда, когда приезжал к нам. Он стал подкручивать усы и одеваться чище и аккуратнее прежнего. На следующее утро после чая дядя оседлал мне коня и объявил, что я поеду в аул Аюбая, тот меня отдаст мулле, и я буду жить у Убианны. Отец благословил меня, наставляя, чтобы я хорошо учился. Мы с Аюбаем, провожаемые всей нашей семьей, выехали в путь.

За ночь выпал снег. Небо было хмурым. Стоял безветренный день. По дороге наши лошади прокладывали первые следы. Когда мы отъехали от нашего аула километра четыре и пересекли один из глубоких оврагов на нашем пути, Аюбай вдруг рванул вперед и поскакал в сторону от дороги, негромко крича: «Тюлъке! Тюльке!—Лиса, лиса!» Действительно, отчетливо выделяясь на снегу, вдали от нас бежала лисица. Я кинулся за Аюбаем и вскоре догнал его. Он, обернувшись, крикнул: «Придержи своего коня, ты все равно не собьешь тюльке!» Говоря это, он на полном скаку возился у левого шенкеля. «Не торопись, она все равно по такому глубокому снегу от нас не уйдет — кричал Аюбай, а его конь продолжал скакать во весь опор. Вдруг Аюбай выпрямился в седле. Его левая нога свисла, и я, поравнявшись с ним, увидел в его руках стремя с путалищем. Расстояние между нами и бежавшей по снегу лисицей все сокращалось, когда лисица повернула в сторону оврага, чуть приотставший Аюбай крикнул:

— Скачи наперерез! В овраге, наверное, у нее нора...

Я, нахлестывая коня, рванулся в сторону, куда теперь бежала лиса, и, громко крича, поскакал, не разбираясь, напрямик. Когда до лисицы оставалось шагов сто, я проскочил через какой-то бугорок и перерезал бежавшей лисице путь к оврагу. Она круто повернула и побежала назад, прыгая, как заяц, в глубоком снегу. Подоспевший Аюбай догнал лису, размахнулся путалищем с тяжелым стременем на конце и, не попав в лисицу, проскочив мимо, качнулся, видимо, оттого, что у него с одной стороны не было стремени, но все же удержался в седле. Лисица, юркнув из-под его коня, снова повернула в сторону оврага. Я бросил-

ся вдогонку и снова перерезал ей путь. Аюбай опять перескочил через лису, не задев ее. Загнанный зверь барахтался в снегу, кидаясь из стороны в сторону, и наконец, выбившись из сил, остановился, оскалив зубы на своих преследователей. Когда мы подъехали к лисе, она, сидя на снегу, щелкала зубами, злобно сверкала глазами, вертела головой, визжала, словно протестуя против приближающейся смерти. Аюбай, не сходя с коня, размахнулся, и железное стремя ударило по голове зверя. Лиса повалилась. Аюбай, нагнувшись, поднял ее за хвост и приторочил к седлу. Возбужденные скачкой и азартом погони, мы повернули на дорогу.

Это было первое мое участие в охоте и первый случай в моей жизни, когда я был участником преследования и свидетелем убийства живого живым...

Дом Аюбая был новым и просторным. Он строил свой новый дом по образцу русских, с печкой, и изнутри выбелил белой глиной. Убианна встретила меня хорошо, как всегда, заботливо развязала мой кушак, усадила меня на почетное место, на ходу задавая вопросы о здоровье всех наших. Пришел дед Майлибай, пришли его другие сыновья и снохи, все справлялись о здоровье наших. Аюбай рассказал им про нашу охоту, отдавая должное мне; все хвалили меня за то, что я не растерялся. Когда Аюбай предложил деду свою добычу, тот осмотрел лису, любуясь, погладил мех сухими руками, а потом своим булькающим старческим голосом сказал:

— Пусть эта лиса будет у того, кто впервые охотился.— И, обращаясь ко мне, добавил:— На, светик мой, она твоя, а я в жизни много видел этих лис, дай бог, чтобы ты дожил до моего возраста...

Его старший сын Жартыбай взялся обработать мех. После еды Майлибай, его сыновья и снохи ушли.

— Хорошо, что наш дед подарил тюльке Бауржану,— сказал Убианна мужу, вернувшемуся со двора после вечерних хлопот со скотом.— Когда поведешь его к мулле, пусть он подарит мех своему учителю.

Немногословный Аюбай одобрил это предложение жены. Убианна, уложив меня в постель, села возле меня и расспросила про отца, про мачеху, как растет Алиманна, как она занимается рукоделием, как ведет себя дядя... Отвечая на ее многочисленные вопросы, я, уставший за дорогу, вскоре заснул крепким сном.

Была пятница. Утром пришел маленький, юркий, с глазами навыкате, со вздернутым носиком мальчик Дюмше-

бай — один из внуков Майлибая. Он в этот день не ходил в школу по случаю пятницы — праздничного дня у магометан. Убианна угостила нас сытным завтраком и попросила Дюмшебая рассказать мне про школу, куда я приехал учиться.

— Наш мулла,— начал было Дюмшебай, но тут влетела его маленькая сестренка и, запинаясь на каждом слове, затарахтела:

— Дюмшебай, приехала наша бабушка, пойдем скорее, пойдем!

Дюмшебай сорвался с места и побежал. Оказывается, действительно приехала их бабушка с материнской стороны, от которой Дюмшебай не отходил целый день, и наша беседа с ним не состоялась.

Духовным наставником рода Байтана был ташкентский ишан Сейд-Акбар, старший брат того рыжебородого ходжи, что венчал Убианну с Аюбаем. Из разговоров Аюбая с Убианной я узнал, что мулла, к которому меня должен повести Аюбай, приходится сыном ишану Сейд-Акбару. Эта весть меня немного встревожила, так как в то время об ишанах ходило много легенд, как о чудотворцах и святых. Мне самому ни разу не приходилось видеть человека в таком духовном сане, но я слышал много рассказов взрослых об одаренности ишанов каким-то сверхчеловеческим духом, об их святости. Даже в намеках запрещалось говорить что-либо нелестное в их адрес. Говаривали, что ишаны, сидя у себя дома, видят всех и слышат всех, что для них нет никаких тайн. Отец мне рассказывал, что когда моя мать заболела нервным расстройством и, по его выражению, душу ее задели злые духи, и когда он, после безуспешных попыток вылечить ее у аульных знахарей, повез ее в Аулие-Ату к ишану, то моя мать, переступив порог дома ишана, вела себя необычайно спокойно. Ишан оставил ее у себя и предложил отцу приехать за ней через полтора месяца. А когда отец приехал за матерью, ишан показал ему совершенно здоровую маму, и они оба, щедро отблагодарив ишана, с радостью поехали домой. Мать по дороге сообщила отцу, что ишан обращался с нею хорошо, следил, чтобы она постоянно была занята вышиванием или какой-нибудь другой работой.

Этот случай из маминой биографии и другие рассказы взрослых в моем детском сознании возводили ишана в сан обожествленного, и это было подкреплено изучением биографии Магомета по книге, подаренной моему отцу Жарим-

бетом-хаджи[1]. Я был маленьким фанатиком. Меня немного тревожило и пугало то, что я теперь буду учиться у сына ишана. Я робел перед наследником святого человека, к которому Аюбай должен меня отвести. После долгих раздумий я поделился с сестрой своими переживаниями.

— Что ж, другие мальчики тоже ходят к нему учиться,— сказала Убианна, —разве ты хуже их?

Ее слова задели мое самолюбие, и я повторял их: «Разве другие мальчики лучше?» Взяв себя в руки, я отогнал мучившую меня рабость и решил пойти учиться к сыну ишана. Но все же во мне продолжал жить фанатик, и мне казалось, что сын ишана видел меня, когда я с Аюбаем гнался за лисицей, видит и теперь и знает, что мех от этой лисицы, по решению Убианны, предназначается ему.

День таких переживаний не прошел даром. Ночью я спал тревожно. Рано утром, одевшись как можно аккуратнее, с Кораном под мышкой я шел за Аюбаем.

Школа помещалась в ауле Калдыбая, старшего брата Майлибая. Зимовка Калдыбая была в одном километре от аула Майлибая у Шинг-булака — Овражистого ручья. Трудолюбивый дед вывел множество арыков и на большом участке посадил много деревьев, и теперь потомки пожинали плоды его трудов. Зимовка была окружена высокими деревьями. Глинобитные хаты были разбросаны по всей этой громадной усадьбе. Величественный вид усадьбы и высоких деревьев, скрывающих за своими толстыми стволами разбросанные повсюду домишки, на меня произвел впечатление города. Мы подошли к большой кибитке с верандой и двумя окнами и тут услышали хор учеников, нараспев читавших Коран. Меня снова охватила робость, и я беспомощно смотрел на широкую спину шедшего впереди Аюбая. Он подошел к украшенной резьбой двери из некрашеного дерева и, обернувшись, позвал меня и открыл дверь. Галдеж учеников сразу прекратился.

— Салям алейкум, таксыр,—приложив руку к сердцу, приветствовал Аюбай муллу. Я за ним машинально повторил все то, что он проделывал, здороваясь с муллой.

Посреди просторной комнаты на возвышении восседал молодой узбек в цветастой тюбетейке, со сросшимися бровями. На его худом лице выдавался очень острый и тонкий нос. Черные усики, подстриженные под ноздрями, спускались по краям тонких губ. Полосатый халат висел на худых плечах. Волосатая грудь, как у всех узбеков того времени,

---

[1] Хаджи — лицо, совершившее паломничество в Мекку.

была открыта: узбеки носили рубашки с вырезным воротом.

Перед муллой на большой подушке лежал раскрытый Коран. За его спиной к стене была приставлена пара длинных лоз. Вдоль стен на циновках сидели мальчики на корточках с раскрытыми книгами и с любопытством смотрели на меня.

Мулла подал кончик руки Аюбаю, а потом мне, безразлично посмотрев на нас своими желтыми бараньими глазами, и, обращаясь к мальчикам, тонким голосом произнес: «Азат». Видимо, это было сигналом на перерыв. Мальчики тут же встали и вышли из комнаты.

Аюбай взял меня за руку и обратился к мулле со словами:

— Таксыр мулла-еке, привел я к вам своего шурина. Его зовут Бауржаном. Недавно совершено обрезание. Отец его, мой тесть Момыш, просил вас научить его сына чтению святых книг пророка...

— Яхши,— произнес тот по-узбекски.

— Вот, мулла-еке, он. Его вам вручаю,— продолжал Аюбай и, потянув меня за руку поближе к мулле, добавил:— Мясо его ваше, а кость наша.

Так он заключил свою речь традиционными словами, означающими, что мулла с этого момента распоряжается мною со всей полнотой власти. Это означало, что мулла должен меня учить, имел право меня бить, но без перелома костей.

— Яхши,— снова безразлично пропищал мулла.

Аюбай положил перед ним деньги — первый взнос за ученье — и сообщил, что дома у него обрабатывается лисий мех, и как только мех будет готов, он сам принесет его мулле.

— Яхши,—еще раз повторил мулла и, осмотрев мой Коран, указал мне место на циновке с правой стороны. Аюбай, посадив меня на отведенное место, наставлял, прощаясь, чтобы я вел себя примерно и делал все так, как велит мулла. Я смотрел на широкую спину уходившего Аюбая, теряя свою последнюю надежду на защиту. Входили ученики и, приложив руки к сердцу, произносили: «Адэп, таксыр», спрашивая тем самым у муллы разрешения занять места на циновках. А мулла с безразличием кивал им головой в знак разрешения. Все мальчики заняли свои места, раскрыли книги, но любопытство брало верх, и они, тихонько подталкивая друг друга локтями, смотрели на меня. Я сидел растерянный и чувствовал себя как в клет-

ке, и, надо полагать, у меня вид был весьма глупый. Мулла, осмотрев аудиторию, вдруг сорвался с места с криком:

— Эй, бачаляр, что же вы не учите уроки?

Все дети, согнувшись, невпопад начали читать вслух. Комната наполнилась гулом, но мулла не ограничился окриком, схватил одну из лоз и со злостью начал бить всех подряд, а ученики, подставив свои спины, продолжали читать вслух. Когда мулла обошел первый ряд, у него в руке от длинной лозы остался лишь ничтожный конец. Он со злостью швырнул обломок, взял вторую лозу и начал ею хлестать наш ряд. Последним он ударил меня. Я почувствовал боль между лопатками и очень оскорбился, сознавая свою непричастность к тому, что другие мальчики не сразу приступили к чтению. Обозленный, я открыл Коран и начал мычать что-то, подпевая своему соседу, голос которого яснее других слышался в этом галдеже.

Мулла сел на свое место, отдышался и позвал к себе Дюмшебая. Тот подошел с раскрытой книгой, опустился на колени.

— Читай,— приказал мулла. По этому сигналу все остальные ученики замолчали, а Дюмшебай дрожащим от страха голосом начал читать суре Корана. Когда он кончил читать, мулла строго спросил его:

— Что ты делалал вчера?

— К нам бабушка приехала... Я.. я, мулла-еке,— стал было оправдываться перепуганный мальчик.

— На тебе, «мулла-еке», на тебе!..

Мулла с этими словами размахнулся и дал парнишке две звонких пощечины. Дюмшебай качнулся и заплакал.

— Не сметь плакать!— заорал мулла и ударил мальчика ногой. Мальчик упал и, защищаясь, сквозь слезы лепетал: «Простите, таксыр, больше не буду»...

Мулла приказал Дюмшебаю взять Коран и идти на свое место, а остальные ученики снова забормотали урок. Мулла сидел на своем месте, перелистывая Коран. Ученики загалдели с еще большим усердием. У меня начала кружиться голова от этого нестройного хора. Вдруг мулла окликнул самого взрослого ученика:

— Эй, Дуненбай!

Тот встал с места и, сложив руки, ответил мулле:

— Ляпбай, таксыр (Слушаю, господин).

Ученики притихли.

— Вот что, иди срежь пару крепких лоз,— приказал мулла Дуненбаю.

— Хоп, таксыр,— поклонился Дуненбай и направился

к двери, а ученики снова заголосили нараспев.

Один мальчик с узенькими глазками встал со своего места и, сложив руки, на груди, обратился к мулле:

— Адэп, таксыр?

— Чего тебе?— строго спросил мулла.

— На двор, таксыр,—ответил мальчик, кивая головой в сторону двери.

— А что тебе надо на дворе?

— Писать мне, таксыр,— жалобно промычал мальчик. Видимо, его ни дома, ни здесь не учили иносказательному, и он говорил по-простонародному, называя отправление надобностей своим собственным именем.

— Не лопнешь,— ответил мулла и на просящий взгляд мальчика крикнул:— Сядь, тебе говорят!

Бедный мальчик сел.

Вошел Дуненбай и, положив перед муллой две крепких лозы, отошел на свое место. Мулла поочередно пробовал лозы, размахивая ими в воздухе, а ученики начали еще быстрее произносить слова Корана. Приставив лозы к стене, мулла вышел во двор. Один из мальчиков на цыпочках бросился к двери, как только она прикрылась за муллой, и, прильнув к ее щелочке, сказал остальным:

— Пошел к оврагу.

Ученики перестали читать, а узкоглазый мальчик юркнул в дверь. Ему вслед кто-кто крикнул:

— Ты, Абиш, стой там и следи за муллой.

— Тише, ученики,— сказал курносый мальчик в малахае, обращаясь ко всем.— Вот что я вам скажу.— Тут он подмигнул Дуненбаю и почти шепотом продолжал:— Давайте-ка, ребята, подрежем незаметненько лозы насечкой и, когда мулла будет нас снова бить, они сломаются!

— Ты что, муллу обманывать хочешь?— возразил один, но на него обрушились все с угрозами:

— Ишь ты, какой честный нашелся!

— Мы тебя после урока сами отлупим хорошенько, коль у тебя спина чешется...

— Не беспокойся, мы для тебя толстую лозу специально заготовим, так что попляшешь у нас...

Ученик побледнел и, насупившись, опустил глаза в книгу.

Дуненбай вынул из кармана нож и быстро начал подрезать лозы через каждые пятнадцать-двадцать сантиметров, делая это так ловко, что кора казалась не поврежденной. Закончив работу, он поставил лозы на прежнее место. Вбежал Абиш.

— Идет, идет,— шептал он, садясь на свое место. Остальные тоже бросились по местам и громко загалдели, чтобы идущий мулла убедился, как усердно его ученики читают Коран. Мулла вошел, важно сел на свое место, перевернул несколько листов, громко крикнул:

— Эй, вы! Обратите слух ко мне...

Все притихли.

— Откройте следующую страницу,— приказал мулла и, когда все открыли, начал читать нараспев, выводя каждую гласную, растягивая каждый слог. Кончив чтение непонятного нам суре Корана на арабском языке, он велел всем повторять слова за ним. Он читал, а мы хором повторяли. Это было проделано дважды. Потом мулла велел к завтрашнему дню все прочитанное выучить и, погладив свои висячие усики, наконец произнес: «Азат». Все ученики бросились к двери.

Я просидел без перерыва три или четыре часа. Так началось мое учение у сына ишана. Не стану описывать дальнейших подробностей этого дня, лишь скажу, что, когда мы с Дюмшебаем шли обратно, он рассказывал, что все то, что сегодня произошло,— это обычное явление «в школе», это повторяется изо дня в день, и просил меня держать в тайне от его родственников то, чему я был свидетелем. Я обещал.

Убианне, встретившей меня после первого моего урока с распростертыми объятиями, после ужина я рассказал, что мулла бьет учеников, и выразил свою обиду на это. Она сначала забеспокоилась, а потом начала меня утешать, что, мол, на это не следует обижаться, что мулла учит святым словам Корана, а то место на теле, к которому прикоснулась, причинив боль, палка муллы, на том свете не будет чувствовать боли от огня. Тут вмешался Аюбай:

— Лишь бы мулла научил тебя произносить слова святой молитвы по душам предков,— говорил он,— тогда все обиды, все побои будут отплачены. Учись, учись, не будь таким темным, как я, не умеющим промолвить ни единого слова молитвы даже во имя спасения души своей...

И я учился у этого муллы целых два месяца, зубря отдельные суре Корана, не понимая ни их значения, ни смысла.

Трогателен один факт, которого я не могу забыть до сих пор. Однажды вечером Убианна, укладывая меня спать, положила мне под голову Коран, говоря, что за ночь содержание суре, которое я так и не смог выучить наизусть, за что получил от муллы два удара палкой по спине, перейдет

мне в память, и, я, ни разу не запнувшись, прочитаю его мулле наизусть. Утром она, отправляя меня в школу, надела на меня под пальто меховую куртку и на мой вопрос, зачем надевать куртку, если и так тепло, ответила:

— Если сегодня мулла снова побьет тебя, то пусть он колотит эту шубенку, все-таки тебе будет не так больно от ударов его палки...

Разумеется, за ночь у меня в памяти ничего не прибавилось, а мулла все-таки побил всех нас, и моя шубенка пригодилась как нельзя более кстати: я почти не чувствовал боли от ударов палки...

За месяц я соскучился по родному дому, и Аюбай обещал выхлопотать у муллы отпуск на несколько дней. Я с нетерпением его ждал.

У Убианны росла замечательная дочка Катира, первый ребенок в семье. Она была очень забавная, пыталась что-то говорить, но у нее еще ничего не получалось. Все майлибаевцы забавлялись с девочкой, которой недавно исполнился год. Вечером Аюбай ставил ее на ножки на свои огромные ладони и, приговаривая «каз, каз», держал ее в воздухе. Девочка улыбалась, стоя на ладони отца, и размахивала ручонками. Убианна бросалась к мужу, называя его сумасшедшим, но Аюбай продолжал свою забаву с дочерью, отстраняя жену.

Когда я однажды вернулся вечером из школы, Катира лежала в кроватке. У нее все личико было красное и в волдырях. Девочка задыхалась. За оплывшими веками не было видно прекрасных глазенок, которые привлекали всех.

Я спросил сестру, что случилось...

— Заболела... не знаю...— в слезах ответил она.

Отец и мать в тревоге не отходили от девочки. За полночь я задремал, и вдруг меня затормошил Аюбай с тревогой в голосе:

— Бауржан, Бауржан, вставай, встань! Прочти отходную. Катира отходит...

Я вскочил с постели и побежал к детской кроватке. Девочка уже не дышала. Мы все заплакали... Не знаю, сколько прошло времени, но я опомнился лишь тогда, когда вошел в шубе дед Майлибай, и Убианна бросилась к нему, задыхаясь от слез:

— Ата, атаа-а-а. Катира умерлааа...ааа...

Старик подошел к детской кроватке, взял мертвого ребенка на руки, как бы нянча его, сел на пол и, качая его, произнес:

— Что же ты, младенец, решила покинуть своего деда?

Что он говорил дальше, я не расслышал. Немного успокоившись, он положил ребенка на место и сказал рыдающим родителям: «Успокойтесь, дети мои, на то, видно, воля божья. Вы еще молоды, даст бог, не последний у вас ребенок». Сказав это, он подошел к кроватке Катиры, вынул из кармана большой платок и накрыл ей лицо.

С рассветом пришли все майлибаевцы, и каждый из них оплакивал смерть общей любимицы Катиры.

Как выяснилось после, накануне девочку начало лихорадить. На лице, вокруг рта, появилась сыпь. Родители понесли дочку к знахарке, тучной и глупой старухе, и та окурила ребенка ртутными парами.

В связи со смертью Катиры я два дня не ходил в школу. На третьи сутки Аюбай оседлал мне коня и, сказав: «Пусть ее второй дед узнает о смерти своей внучки»,— отправил меня домой, велев вернуться обратно через три дня. Я приехал домой в мрачном настроении, рассказал отцу все от начала до конца. На следующее утро отец объявил мне о своем решении не посылать меня к мулле.

Остаток зимы, весну и все лето отец сам учил меня. К осени я свободно читал по-арабски, по слогам читал по-русски, но смысла ни того, ни другого не понимал; решал простые арифметические задачи.

В этот год Гончаровы опять ортачили с нами. Год был удачным. Все в нашем ауле были здоровы. Скот, нагулявшись на сочной траве, резвился на полях. Урожай хлебов был небывало хорошим.

Как-то приехал верхом Кузьма Гончаров, вместе с отцом объехал поля. Не слезая с лошади, сорвал несколько колосьев, потер их в грубых своих ладонях, пересыпал с ладони на ладонь, подул, чтобы отделить шелуху, и долго рассматривал крупные зерна, пробовал их на зуб.

— Якши, Момыш, якши,— говорил он, так как кроме этих слов, видимо, не знал других. Дальше старик начал объяснять мимикой и жестами, из чего мой отец, не знающий русского языка, понял, что пшеница вполне созрела и Кузьма после базарного дня приедет со всей семьей на уборку. Отец к этому времени должен, как это было условлено, приготовить барана. Отец ему ответил единственным русским словом, которое он знал и произносил по-своему:

— Хараша, Кузьма, хараша.

Действительно, через неделю Гончаровы приехали на своих бричках, к которым были прикреплены пароконная

лобогрейка и одноконные грабли. У нашей зимовки было выбрано место для тока. Расчистив ровную площадку, женщины залили ее водой. Мы с Василием помогали им, таскали воду из ручья. Взрослые сыновья Гончарова в это время налаживали инвентарь: кто лобогрейку, кто каменные катки, а старик с моим дядей ладил хомуты, шлеи и постромки. Отец ремонтировал ручные деревянные грабли. К вечеру все приготовления были закончены. Тишко и Василь поехали с нами в аул за обещанным бараном. Когда мы прибыли в аул, с пастбища возвращались отары и стада, вокруг аула носились табуны коней.

Я помогал женщинам подводить к ведрам овец, придерживал рвущегося к матке ягненка, пока она доилась, отпускал ягненка, отвязывал очередного. Василь тоже помогал женщинам, проделывал то же самое. Телята и ягнята, уткнувшись мордочками в вымя маток, высасывали остатки молока, после чего, довольные, отходили в сторону и мирно пощипывали траву. Перед сумерками отец велел Тишко выбрать любого барана.

Василь изъявил желание остаться у нас, но Тишко ему не разрешил, уговаривая поехать с ним на ток. Отец упросил Тишко оставить Василя у нас на ночь.

— Ну, Василь, ты сегодня наш кунак,— сказал ему отец, указывая на почетное место,— вот сядь здесь, у нас кунаки тут сидят.

Василь смущенно принял приглашение. Начался наш семейный ужин с молодым кунаком. Мы угощали Василя кумысом, баурсаками, а затем бесбармаком. Пришел соседский мальчик, который пригласил меня на игру «ак суек», и отец велел мне идти с Василем.

Стояла темная тихая ночь. Аульные ребята были в сборе. Началась игра. Сущность ее заключалась в следующем: брали белую голеную кость быка, и один из взрослых, размахнувшись, кидал ее. В тот же момент все дети бросались в ту сторону, куда она полетела, и на черной земле искали белеющую кость. Тот, кто находил, бросался бежать, остальные — вдогонку за ним. Догнавший старался отобрать кость, первый не давал, и тут завязывалась борьба. Все наваливались гурьбой на того, у кого находилась кость. Он прятал ее куда только мог. Кость переходила из рук в руки. Овладевший ею вырывался и бежал, остальные догоняли, сваливали его, и опять продолжалась борьба за обладание костью. Наконец кому-нибудь удавалось вырваться из этой свалки и добежать до того места, где стоял кинувший кость во тьму, и передать ему свою добычу. Игра пов-

торялась снова. «Белая кость» — это своеобразный детский кокпар ночью. В этой игре у детей вырабатывались ориентировка, сноровка в схватках и бег. Наигравшись вдоволь, усталые, мы расходились по юртам.

Василю эта игра очень понравилась, и он несколько раз был лидером ее. В одном из поисков завязалась драка между ним и одним нашим мальчиком. Я заступился за своего гостя и разнял их. Оказалось, что поводом для ссоры была хитрость Василия: он нашел кость и побежал, а догнавшему его сунул в руку белый камень. Тот, почувствовав обман, возмущенный нечестностью Василия, кинулся в драку...

С тех пор как Василь погостил у нас, между нами завязалась крепкая дружба. Он, видимо, рассказал своим родным, как был принят в ауле, как мы играли ночью, как я заступился за него, потому что на следующий день я почувствовал особое внимание семьи Гончаровых к себе: каждый из них старался называть меня по имени — кто Бажан, кто Бардан или Буржан и Баржан вместо прежней клички «киргизенок». Василь поправлял их, правильно произнося мое имя. Его мать, добрая старуха, которую мы все звали мамашей, еще смешнее искажала мое имя, называя меня Буроуржаном.

Началась косовица хлеба: на одном участке — лобогрейкой, на другом — вручную. Применение лобогрейки и кос для нас было новостью, так как мы раньше жали серпами.

На женщин и на меня с Василием была возложена подготовка тока. Немного подсохшую после вчерашней поливки землю трамбовали сначала вручную, а потом, после посыпки площадки мелкой соломой, мы с Василием впрягали коней и утрамбовывали ток катками — ездили по кругу один за другим. Женщины после наших нескольких заездов убирали полову, поливали землю водой, снова сыпали солому, а мы опять ездили по кругу, волоча каменные катки. К обеду работа закончилась, с площадки вымели мякину, и ток заблестел.

Два дня подряд продолжалась косьба, а третий и четвертый дни ушли на то, чтобы свезти скошенное с поля на ток. На току выросли три громадные скирды. На пятый день началась молотьба. Со скирд на ток вилами сбрасывали пшеницу, мы с Василем заезжали с одного края, направляя своих коней по кругу. Сначала мы ехали по вороху разбросанной пшеницы; тяжелые катки, которые мы волочили за собой, придавливали солому. Следом за нами

взрослые вилами ворошили ее, женщины охапками относили ее с тока. Молотьба продолжалась три дня. Привезли ручную веялку, за два дня пропустили вороха через нее, и на току выросла целая гора крупного чистого зерна.

В честь окончания работ зарезали барана. Под вечер приступили к дележу. Уборка и дележ не вызвали каких-либо споров, и Гончаровы со своей долей, довольные, уехали к себе в деревню. На прощание они пригласили нас приехать в следующее воскресенье в гости.

В воскресенье утром из Евгеньевки доносился в наш аул звон колоколов деревенской церквушки. Отец и дядя разрешили мне поехать с ними на базар. Из дальних аулов мимо нашей зимовки ехали верховые, гнали коров, лошадей, баранов. К одной из таких групп дядя присоединил четырех баранов из нашей отары, предназначенных на продажу.

Одевшись по-праздничному, мы поехали. По дороге, догнав нескольких всадников, отец и дядя поздоровались с ними. Путники пожелали друг другу удачного базара.

В то время базар был для казахов не только местом обмена, купли и продажи, но и общественным местом, где встречались знакомые, велись деловые разговоры.

Базар был расположен на том месте, невдалеке от станции Бурное, где в голодные годы дядя попытался заняться торговлей. На громадной вытоптанной площади собиралось множество людей, животных, повозок — сюда приезжали из всех русских деревень и казахских аулов трех волостей. На одной из окраин площади мы, забутовав своих коней, влились в людскую толпу. Поток людей, как ледоход при заторе, кружился и растекался в беспорядке в разные стороны. Площадь была разбита на участки, на одном из которых узбеки-лоточники на постланных на полу скатертях разложили галантерейные товары. Они сидели в два ряда, громко приглашая покупателей. За ними тянулся ряд фруктовых лавчонок на больших узбекских арбах, хозяева которых наперебой расхваливали свой товар. Еще дальше торговали арбузами и дынями. Позади этих рядов стояли русские повозки с овощами. В стороне был отведен участок для продажи зерна, а за ним — участки для продаваемого скота: баранов, коров, лошадей. Народу было так много, что, казалось, базарная площадь стонала под тяжестью такой людской массы. Отец не отпускал меня от себя, боясь, что я могу заблудиться, но потом, когда я немного осмотрелся, разрешил ходить по базару самостоятельно, вложив мне в руки несколько монет. Я с любопытством бродил по

базару, разглядывал ряды. Когда я с изумленными глазами проходил мимо русского ряда, кто-то схватил меня сзади и закрыл мне глаза руками. Это был Василь, который, увидев меня, подкрался и так пошутил...

— Пойдем,— потянул он меня за руку,— там мои батько и мамо сидят.

Действительно, на краю ряда стояла их повозка, нагруженная арбузами, а разодетая хозяйка Гончарова в нескольких широких юбках из цветастой материи сидела на краю повозки и торговала. Она, занятая своими покупателями, не обратила на нас внимания, а Василь, подведя меня под тень повозки, усадил на дерюге и угостил арбузом. Возле другой повозки на земле сидели несколько мужиков и распивали водку, а на другой стороне стояли разодетые девушки в ярких платках, а перед ними — парень в новом картузе, вышитой косоворотке и сапогах, пахнущих дегтем. С гармошкой в руках он хорохорился перед девушками, говорил им что-то, а те смеялись, кокетничали. К ним подошли еще двое разодетых парней, и гармонист заиграл. Девушки пустились в пляс. Проделав круг, они останавливались перед кавалерами и топали ногами, вызывая их. Гармонист все играл и играл. Это веселье привлекло много народу, и собравшиеся зеваки загородили плясунов от нас.

Мы с Василем пошли по бакалейным рядам, и один узбек уговорил купить у него пару конфет длиною с карандаш, завернутых в цветную бумагу. Мои монеты перешли в руки узбека. Посасывая конфеты, мы пошли бродить по базару. Встретился Аюбай, спросил, где отец, уговаривал меня ехать к нему, но Василь ответил, что мы приглашены к ним в гости. Аюбай купил нам фунт сушеного урюка и велел передать привет нашим, потом он затерялся в толкучке...

После полудня сутолока стала редеть. Я, распрощавшись с Василем, пробивался в условленное место для встречи с отцом. Вдруг кто-то бросил клич, требуя внимания. Утеп, наш знакомый еще по церемонии венчания Убианны с Аюбаем, ехал в сопровождении двух всадников между рядами и, поднимаясь на стременах, рифмуя слова, громко объявил собравшимся, что у одного из сопровождающих его (с ним он песенно ознакомил всех) в прошлую субботу пропал конь. Так же песенно он перечислял приметы коня, пел, что хозяин просит увидевших потерявшегося коня сообщить ему за вознаграждение. Сопровождавший его, как бы подтверждая слова Утепа, ехал рядом и кивал головой. Оказывается, Утеп свои поэтические способности применял

и как глашатай. Во втором заезде он объявил, что через неделю один из сопровождавших его устраивает поминки по своему отцу и приглашает на них всех желающих.

Как видите, базар был местом для объявлений...

Сделав покупки, мы поехали в Евгеньевку к Гончаровым. До этого я не бывал в русских деревнях, видел их лишь издали. По дороге мы обгоняли возвращавшихся с базара евгеньевцев, ехавших на повозках и шедших пешком. Вся дорога пестрела от разодетых в цветастые платья женщин, мужчин в картузах и вышитых косоворотках. Двое мужиков вели под руки пьяного, без шапки, со взъерошенным чубом, растрепанного. Он сопротивлялся, не мог передвигать ноги и во все горло орал на своих спутников, видимо, бранился, потому что девушки при его словах шарахались в сторону. В нем мой дядя узнал «бузык-Ивана» — хулигана Ивана. Последний, увидев нас, вырвался и с бранью метнул в нашу сторону комок земли, который угодил по крупу дядиного коня. Дядя повернул коня и хотел было броситься на бузык-Ивана, но отец прикрикнул на него и приказал не ввязываться в ссору с пьяным. Бузык-Иван метнул второй комок земли и, бранясь, пригрозил нам кулаком. Оказывается, они с дядей были давнишними врагами.

— Я этого подлеца еще раньше лупил плеткой, когда он был объездчиком, а теперь, слава богу, равные...

— Брось болтать,— прервал его отец,— не для драки, думаю, предоставлено равенство...

— А если задевает, что, ему спускать?— горячился дядя.

— Момыш, здравствуй!— крикнул с телеги, мимо которой мы проезжали, пожилой мужик в соломенной шляпе.

— А, Тимошка, аман, аман[1],— ответил отец и спросил почему он остановился.

— Да этого дурака хочу подвезти,— ответил старик, как бы извиняясь за своего односельчанина, и добавил:— Беда с ним, каждый базар напьется и хулиганит.

— Дядя Тимофей,— орал в это время пьяный,— лови Момынкула, я ему башку свер-р-ну!

— Ну, езжайте,— сказал Тимофей нам, махнув рукой в сторону пьяного.

Мы тронули коней и, сопровождаемые бранью бузык-Ивана, поехали.

По склону холма, за которым возвышалась гора Ала-

---

[1] Аман — здравствуй.

тау, тянулась прямая и широкая улица. Чисто побеленные крестьянские хаты скрывались за высокими тополями, росшими вдоль арыков в два ряда. Казалось, мы едем по широкой аллее тополевой рощи. Каждая усадьба была обнесена плетеной изгородью, въезд во двор обозначен подмостком из камня или деревянным настилом. Белые хаты с соломенными крышами и с надворными постройками показались мне дворцами по сравнению с нашими приземистыми кибитками, разбросанными у каждого ручья. Улица была полна людей в праздничных одеждах, они шли группами, пели песни, в некоторых группах плясали под игру чубатого гармониста.

Мы трусили на конях по деревенской улице. На третьем квартале я узнал у бревенчатой арки нашего знакомого — Тишко. Он поманил нас рукой. Мы заехали во двор Гончаровых. Двор, большой и чисто выметенный, был окружен глинобитными надворными постройками с соломенными крышами. Посреди двора возвышалась деревянная надстройка колодца с журавлем. Сыновья Гончарова увели наших коней в конюшни. Кузьма со старухой пригласили нас войти в дом. В чисто выбеленной хате с земляным полом, с большой русской печью стояла широкая деревянная кровать, накрытая самодельным одеялом, высокий сундук, стол под белой холщовой скатертью, пара скамеек, и несколько табуреток. У печки висело длинное льняное полотенце. Я, как только вошел, сразу увидел иконы, висящие в углу. Впервые с нескрываемым любопытством смотрел я на них. Металлические рамки образов были начищены до блеска. Из рамки выглядывал бог-отец с седой бородой, и, казалось, он смотрел на меня. Справа от бога-отца висело изображение богоматери с младенцем на руках. Слева — Иисуса Христа. Все это завершалось внизу выпуклым изображением распятия, под которым горела тоненькая восковая свеча. Иконы окаймлялись живыми цветами...

Мое любопытство, видимо, было до того заметно, что отец счел необходимым разъяснить мне:

— Это изображения русских богов,— начал он,— этим картинам они молятся. Старик, что с белой бородой,— бог-отец, а вот эта красивая женщина — мать Иса-пайгамбара[1], которого она держит на руках. А вот и сам Иса-пайгамбар, а внизу изображено, как его распяли иудеи...—Потом, немного подумав, он добавил:

— Конечно, русские стоят на неверном пути, поклоня-

---

[1] Иса-пайгамбар — Иисус-пророк.

ясь рисункам, что они сами нарисовали. Бог создал человека, а не человек бога,— заключил он свои разъяснения.

Пока отец говорил с Кузьмой о каких-то делах, я не мог оторвать глаз от русских икон. Стол был накрыт, большой пузатый самовар шипел на краю стола, хозяйка полотенцем перетирала чашки. Молодые женщины, Манька и Санька, раскладывали ножи и вилки, резали хлеб, вносили вареный картофель, пироги. И наконец внесли чугун, окутанный паром.

Гончаровы перекрестились перед иконами и сели за стол. Старуха начала разливать чай. Старик, что-то говоря и жестом показывая на стол, обратился к моему отцу. Тишко его слова перевел так:

— Он говорит, что на столе нет ничего из свинины. Вот хлеб, сахар, вот картошка, фрукты, в чугуне птичье мясо. Так что Момыш может, как хороший знакомый, кушать все. Старый Кузьма не подведет...

После перевода Тишко хозяйка засмеялась.

— О чем они говорят, Тишко?— спросил дядя.

— Да они говорят, что Момынкул недоверчиво смотрит на них,— ответил отец и предложил нам закусывать.

Обед прошел дружно и весело. Василь поманил меня глазами во двор. С разрешения отца я вышел.

— Хочешь, покажу тебе все, что у нас есть?— спросил меня Василь?

Он подвел меня к колодцу, открыл крышку. Я нагнулся и посмотрел вниз. Стены колодца были выложены камнем, а на дне сверкала темная зеркальная поверхность воды. Василь, подпрыгнув, схватил конец висевшего на журавле длинного шеста с крюком, прицепил за крюк ведро и показал мне, как нужно вытаскивать воду из колодца с помощью журавля. Вода была чистая и холодная. Потом он повел меня в конюшню, в амбар, показал маленький садик и огород. Эта экскурсия произвела на меня большое впечатление: хозяйство Гончаровых показалось мне образцовым по сравнению с нашим примитивным двором и загоном. Когда я попросил показать мне деревянную церковь, Василь заколебался, а потом ответил:

— Ладно, как-нибудь в следующий раз, а сегодня нельзя...

После осенних дождей землю сковали заморозки. Дул обычный в здешних местах западный ветер, который летом поднимает пыль, осенью пронизывает насквозь своим холо-

дом, а зимою метет сугробы. Видимо, поэтому наша станция и носит название Бурное.

Однажды вечером отец серьезно говорил со мной об учении.

— Вот если бы тебя отдать в учение русскому мулле!— говорил он мне.— Думаю, что там детей учат практически, как надо применять знания в жизни, а не как наши, муллы, которые сами вызубрили только несколько глав из Корана. Там тебя научат считать, писать и читать. Среди русских ребят, у русского муллы научишься русскому языку и будешь свободно общаться со всем народом, что населяет наш край, и никто — ни русский, ни казах — тебя обижать не будет...

Дядя, поддакивая отцу, высказал, однако, сомнение: позволительно ли правоверного мальчика отдать в учение мулле неверных русских? Ведь русский мулла не будет учить законам мусульманским, и сородичи будут осуждать моего отца за то, что он отдал своего единственного сына к русскому мулле...

— Давай не будем обращать внимания на это,— сказал отец своему брату.— Ведь предки святого пророка тоже были неверными, а наш Бауржан, слава богу, кое-что знает и не станет, думаю, вероотступником из-за того, что получит знания у русского муллы, который учит детей лучше, чем наш, и не бьет детей, как наши самодуры... Да и новые порядки призывают, чтобы детей учили по-новому, во всяком случае, не по Корану...

На возражения дяди он привел в пример Садыка.

— Разве народ его не уважает? Он со всеми может поговорить, и с русскими он говорит не хуже, чем с нами, дело знает, умный человек: сам пишет, сам читает на двух языках...

Весь вечер прошел в спорах о моем предстоящем учении, и братья пришли к выводу, что меня надо отдать в школу к русскому мулле. На следующий день дядя съездил в Евгеньевку. Вернулся к вечеру. За ужином он сказал отцу, что я буду жить у Гончаровых, что русский мулла согласился учить меня за плату: пуд муки, пуд крупы, пуд гороху, а за учебные пособия — бумагу и карандаши — одного барана. А Гончаровы отказались от какой-либо платы, но предупредили, что у них нет в запасе ни баранины, ни говядины, и дядя им обещал привезти одного барана.

Утром мы собрались с дядей в путь. Приторочив к седлу одеяло и подушку, мы поехали. По дороге встретился

один из наших земляков и на слова дяди что он везет меня в русскую школу, покачал головой.

— Значит, крестить везешь. Ай-ай, как нехорошо, какое нехорошее время пошло, коль такой разумный человек, как Момыш, своего единственного сына в русскую школу отдает. Кто же по нему молитву будет читать, когда он умрет?— крикнул он вслед нам, придерживая коня.

Дальше дядя ехал молча, а когда проезжали мимо мусульманского кладбища, он на ходу прошептал молитву по душам покойников, потом, погладив усы, посмотрел на меня и сказал:

— Нет, Баурджан, тот прав. Поехали домой. Будешь расти, как и твои остальные сверстники, в ауле,— и повернул коня. Я последовал за ним...

Этот случай отложил мое учение на целых два месяца. Дядя настойчиво возражал против моего обучения в русской школе и требовал, чтобы я вернулся в аул Аюбая продолжать учиться у мусульманского муллы, но против этого были отец и я.

В тот год зима была необычайно сурова. Выпал глубокий снег, держать скот на подножном корму было невозможно, поэтому часть скота дядя отогнал за Каратау, под присмотр наших родственников, где зима была всегда сравнительно мягкой. Запас кормов быстро уменьшался, топлива — тоже. Пришлось для скота и для очага ввести жесткий минимум, чтобы пережить эту суровую зиму. Корм скоту выдавался строго по норме, а печь топили только для приготовления пищи. Зима была весьма тревожной для скотоводов. Дядя часто ездил к скоту, который находился на отгоне, и обычно возвращался из своей поездки мрачным. После одной из поездок он рассказывал, как купил стог сена у одного русского, проживающего в этом районе, в деревне Головачевке, как, отдав ему задаток, сам поехал на базар продавать скот, чтобы выплатить остальную сумму, и когда вернулся с деньгами через три дня, русский продал этот стог сена другому, по более дорогой цене. Возмущенный таким поступком, дядя поднял скандал, и дело кончилось дракой. Обоих забрали в участковую милицию, продержали сутки. Допрашивал его работник милиции, не владевший казахским языком. Дядя не мог объяснить ни сути дела, ни своей правоты.

— Я этому начальнику говорю, что этот подлец брал у меня задаток, значит, стог мой. Отдав его другому, он нарушил свое слово... А начальник разводит руками и го-

ворит мне: «Бельмей»[1], потом что-то бормочет по-своему, я ему тоже отвечаю, что не понимаю его так же, как он меня. До сих пор обидно! — горячился дядя.

— Ну, ладно, хватит переживать,— успокаивал его отец.— Благодари бога, что тебе еще бока не намяли и начальник не посадил тебя в тюрьму за дебош, который ты там поднял.

— Меня сажать? — недоумевал дядя.— За что? Ведь я же сдержал свое слово...

Этот случай, видимо, был одной из главных причин, вырвавших у дяди согласие на мое учение в русской школе. Но он открыто не выражал этого, а лишь ходил мрачный, переживал случившееся, часто называл себя глухонемым.

Особенно переживал он свою неудачу, когда кормил скот, разбрасывая ему скудные порции сена, а на жалобное мычание коров, которые как бы просили добавочного корма, говорил:

— Больше нельзя. Понимаете, что больше нельзя!

Когда корова подходила ближе, обнюхивала рукава, как бы умоляя о дополнительном корме, дядя гладил ее морду и успокаивающе говорил:

— Ну, ладно, бедняжка, больше не могу, а вот настанет весна, вырастет сочная трава, тогда и наешься вдоволь, а пока довольствуйся тем, что тебе дали. Как-нибудь до весны дотяни...

Голодное животное лениво отходило и начинало щипать сухие былинки, оставшиеся кое-где на земле.

Подул западный ветер, кругом замело. Почти неделю носилась по полям вьюга. Общение между соседями прекратилось. Только дядя, укутавшись в шубу, выходил из дому, чтобы кормить и поить скот или сходить за водой к ручью. Он возвращался весь в снегу и долго отряхивался в углу.

— Фу, кругом замело, даже соседский дом не видать,— говорил он,— прямо взбесилось все...

Мы сидели, завернутые в шубы, и коротали время от еды до еды за рассказами и сказками...

Дядя привез меня к Гончаровым. У них было тепло. По улице бежали ребята с сумками и кидали друг в друга снежки. Среди них я увидел Василя. Он, дав отбой своему противнику, побежал домой. Увидев меня, Василь радостно воскликнул:

---

[1] Бельмей — не знаю (искаженное).

— А, Бауржан приехал!— и, схватив меня за руку, потащил в хату.— Пойдем, чего ты тут стоишь?

...В сопровождении Василя и Тишко мы с дядей направились к русскому мулле. «Муллой» оказалась высокая, худощавая, пожилая женщина с гладкой прической, открытым лбом, большими серыми глазами и острым, чуть крючковатым носом. Когда мы вошли, она месила тесто. Тишко представил нас. Разговор был коротким. Она посмотрела на меня и по-русски задала мне несколько вопросов, на которые я не ответил. Потом обменялась несколькими словами с Тишко, который нам после перевел ее слова.

— Она говорит: очень плохо, что Бауржан не знает русского языка. Как она его будет учить, когда сама не знает по-казахски?

— Если бы Бауржан знал русский язык, зачем бы нам его приводить сюда?— ответил дядя.

Учительница засмеялась и сказала:

— Ну ладно, коли они его хотят учить по-русски, пусть оставляют. Посмотрим, может быть, получится...

И, обращаясь к Василю, она спросила:

— А ты будешь ему помогать?

— Буду,— ответил Василь.

Дядя, наказав мне хорошо вести себя, быть усердным и осторожным — не есть свинины, не молиться русскому богу,— пожелав успеха, уехал домой.

Хозяйка определила мне место: показала, на каком табурете я буду сидеть, а спать — вместе с Василем на печке. Чуть призадумалась и спросила меня:

— У тебя баранов много?

Не понимая ее вопроса, я назвал количество наших баранов. Она засмеялась, вынула из-за пазухи мнимого насекомого и начала «давить» его, говоря:

— Вот такой «баран» есть у тебя?

Сконфуженный и обиженный, я тут же содрал с себя рубашку и протянул ее старухе. Она осмотрела внимательно швы и, не обнаружив ничего, вернула рубашку мне, как бы извиняясь за свой вопрос, пошлепала меня по голой спине и разрешила одеваться. Одеваясь, я не смог преодолеть обиды и заплакал. Старик начал ругать свою старуху, а остальные Гончаровы тоже напали на нее, упрекая в невежливости. Бедная хозяйка оправдывалась... Видимо, желая утешить меня, она заставила тут же раздеться и Василя, и все, несмотря на его брыкание, начали осматри-

вать его белье. Я никак не мог успокоиться, и все старались сгладить нанесенную мне обиду.

Вечером после ужина Василь учил свои уроки, а Тишко открыл мой букварь и начал мне объяснять алфавит. Я знал этот алфавит, но только так, как учил меня отец: для меня между звуками *б* и *в*, между *к*, *г* и *х*, между *с* и *ц* между *е*, *и*, *й* никакой разницы не существовало. Первые я произносил как б, вторые — как к, третьи — как с, четвертые — как и. О *ь*, *ы*, *ъ* вообще не имел никакого представления. Братья долго, до поздней ночи, сидели со мной, объясняя, но мне это давалось очень туго.

— Вот скажи: Василий.

— Басиль,— говорил я.

— Да нет, не Басиль, а Василий,— повторял Тишко,— понимаешь, В, Ва...

— Бесиль,— отвечал я и спрашивал:— Так ли?

— Нет, не так опять произносишь. Не бе, а ва, Василий. Понимаешь?

Они приводили множество примеров, где были перемешаны русские и казахские слова, где встречались эти премудрые буквы, но я понимал с трудом.

Это был мой первый урок русского языка.

Василь забрался на печку и позвал меня. Там было очень тепло. Одеяло, которое я привез, было из верблюжьей шерсти, толстое двуспальное, а Василь до этого накрывался своей тужуркой и тоненьким байковым одеялом.

— Ну что,— сказал он,— твое постелим, а моим будем одеваться? Здесь очень тепло.

Я согласился.

От непривычки ли спать в тепле, или от новой обстановки, или дум о предстоящем учении у русской учительницы мне долго не спалось. Я вертелся с боку на бок, а Василь спал непробудным сном. Мне было душно, я откинул одеяло, которым мы накрывались, и лежал с открытыми глазами. Я думал о том, что я здесь задыхаюсь от жары, а там, у нас дома, в холодной комнате спят под толстыми одеялами. Приходила одна мысль за другою, воспоминания за воспоминаниями, пока наконец у меня все не перепуталось, и я заснул, словно в бреду.

Утром меня тормошил Василь. Сквозь сон я слышал его голос:

— Бауржан, тур, тур, вставай, в школу пора...

Я бормотал что-то и отталкивал его. А когда ему надоело возиться со мной, он стащил меня за ноги с печки, и, только очнувшись на полу, я проснулся. Я сидел в нижнем белье и спросонья тер глаза.

— Да тормоши его, еще вин не проснувся, вот це киргизенок,— засмеялась звонко Санька.— Вин як у себя в кибитке веде себя. Тилько що з него штаны задрати може, тогда вин проснется...

— Чого вона, мамка, регочет над ним? — сердился Василь.— Хиба ему не хочется просыпаться, вин просто заспався.

— Як ты хочешь, Василь, а с цього киргизенка у вашей учителки ничего не выйдэ, як вы ни учите, так вин киргизенком и останется.

Многих слов этой злоязычной женщины я, разумеется, не понимал, а о смысле догадывался по интонации ее голоса. Когда я окончательно проснулся и оделся, по жестам и интонациям я также почувствовал, что старуха и Василь были за меня и в чем-то упрекали Саньку, а та бойко огрызалась и доказывала что-то им. Старуха топнула ногой и приказала снохе замолчать. Та покорно выполнила требование своей свекрови.

Хозяйка нас накормила завтраком, положила в наши сумки по бублику, подвела Василя к углу, где висели иконы, перекрестилась сама и заставила его тоже перекреститься, поцеловала его в лоб, а потом, обращаясь ко мне, сказала:

— Ну что же, Бурбуржан, хоть ты и бусурманский дитенок, да благослови тебя бог,— и погладила меня по голове. — Якши надо учиться, Бурбуржан, хорошо надо учиться,— этим она закончила свое напутственное слово. Потом наказала своему сыну, чтобы он не оставлял меня без присмотра и не давал в обиду русским ребятам...

Мы с Василем побежали в школу. Когда вышли из дома, со всех дворов шли ребята с сумками. Одних мы перегоняли, другие присоединялись к нам, но, как правило, все рассматривали меня и спрашивали Василя:

— Що це за киргизенок, куда ты его ведешь, Василь?

— Вин сын нашего знакомого, Момыша. С нами буде учиться,— отвечал Василь.

— Хиба вин по-русски розумие?

— Трохи розумие, а после научится, и побачимо...— серьезно отвечал Василь.

— А вин букварь знае? Чи ни?

— Тоже трохи знае.

— Як у него с русской мовою?

— Як тебе учила наша учителка?— обрушился на него Василь. — Як вона тебе учила? Хиба «мова», а не язык...

— А як тебе училы, Василь,— прервал другой,— не «хиба», а ежели, али, як вона поправляла Миколу Водопьянова, «если». Вот як вона велела на уроке говорить!

— А вин, Василь, де будэ жить?— прервал его другой мальчик.

— У менэ, со мной будэ жить,— ответил Василь.

В это время раздался звон колокольчика, и все ребята кинулись бежать к школе. Подслеповатый старик, в шапке с вывернутым мехом, в старенькой тужурочке, стоял у крыльца и бренчал колокольчиком...

В класс я вошел последним. Ученики раздевались, вешали свои тужурочки и шапки на вешалку. Следуя их примеру, я тоже разделся и свой халат и шапку повесил на самый крайний гвоздь. Вошла учительница. Все ученики встали со своих мест. Она поздоровалась. Ученики ответили хором, но невпопад: «Здравствуйте, Мария Ивановна!» Учительница стала перед висевшей на стене черной доской. На учительнице было длинное черное платье с белым воротником и широким поясом из черного бархата. Она посмотрела на всех учеников, как будто пересчитывая присутствующих, и ее взгляд встретился с моим.

— Подойди сюда, мальчик,— позвала она меня. Я подошел к ней.— Вот что, ученики,— обратилась она к остальным,— этот киргизский мальчик будет учиться у нас. Вы его не обижайте, он один среди вас. Относитесь к нему, как к своему. Он сын знакомого наших Гончаровых.

— Да вин трохи понимае по-русски,— за меня ответил Василь.

— Ну хорошо, значит, будем учиться,— сказала она и указала мне на свободное место рядом с синеглазой девочкой с бантиками в косичках.

Когда я сел, моя новая соседка посмотрела на меня и отодвинулась.

Начался урок. Учительница села, открыла букварь, вызвала к доске мою соседку, и та начала отвечать заданные на дом уроки. Впервые я видел, как мелом пишут на черной доске крупные буквы. Написав несколько несложных слов, девочка стерла написанное и вернулась на свое место. Затем мальчик проделал то же самое, но он допустил несколько ошибок, которые были исправлены учитель-

ницей... Разумеется, я не понимал тогда многих слов, что писали мои новые товарищи.

Наша школа находилась против деревенской церквушки, которая давно возбуждала мое любопытство звоном своих колоколов. Церковь, выстроенная из обыкновенного кирпича-сырца, была с большими сводчатыми окнами, с крыльцом, с деревянной лестницей. Над железной крышей возвышался купол, завершенный большим крестом. Рядом с церковью стоял поповский дом с надворными постройками. Церковная площадь была величиной в два-три усадебных надела. Церковь возвышалась над остальными деревенскими домами. Во время перерыва между уроками ученики резвились на прицерковной площадке.

На втором уроке учительница дала задание ученикам, вызвала меня к столу, посадила возле себя, открыла букварь и начала мне объяснять.

— Вин знае букварь,— сказал Василь.

Учительница спросила меня. Я ей назвал весь алфавит. Она меня поправляла, говорила, как нужно правильно произносить. «Ве, ка, ха, це, ша, ща, че, ю»,— назвала учительница те буквы которые я произнес неверно и заставила меня повторить. Потом она аккуратно переписала эти буквы и сказала:

— Вот, выучи их, а писать и читать будем потом.

Затем открыла страницу букваря, прочла вслух медленно несколько предложений, разъяснила их смысл, еще раз прочла все и велела всем ученикам самим прочесть про себя.

Третий урок — арифметика — прошел более живо.

В начале урока она спросила, все ли решили заданную накануне задачу. Ученики хором ответили, что решили все. Учительница написала на доске задачу и спросила:

— У всех так написано?

— Да,— ответили хором.

Она проверила тетради, внесла исправления и показала решение на доске. Потом учительница объяснила новую задачу и дала задание на дом. Задачников у учеников не было. Пока они переписывали с доски задание в свои тетради, учительница подошла ко мне, села рядом и аккуратно вписала в мою тетрадь цифры до десяти.

— Один — бир, два — еки, три — уш, четыре,— торт,— начала она мне объяснять с переводом. Когда она заставила повторить цифры, я без запинки прочел все написанное по-русски, так как счет по-русски знал до ста. Учительница воскликнула:

— Вот молодец, оказывается, ты знаешь!

Ученики посмотрели в мою сторону, а учительница, как бы отвечая им, сказала:

— Да, он знает цифры по-русски.

Ободренный ее похвалой, я просчитал по-русски до двадцати.

— Хорошо,— одобрительно сказала она,— но только не «дбанасат», а двенадцать, тринадцать, не «шешнасат», а шестнадцать, не «дебатнасат», а девятнадцать. Понял? — спросила она и дала Василю задание научить меня правильно произносить цифры.

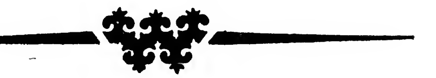
Так начался и кончился первый день моего учения в русской школе.

С помощью Гончаровых я учился неплохо. Вся семья, кроме старика Кузьмы и его хозяйки, которые сами были неграмотными, шефствовала надо мной. По арифметике я преуспевал, хотя последовательно решение задач в тетради не записывал. Я решал в уме и записывал в тетрадь сразу ответ. Это доставляло много хлопот учительнице: каждый раз нужно было объяснять мне ход действий. Незнание мною языка, естественно, делало ее объяснения непонятными, но она каждый раз терпеливо повторяла. Букварь я читал и кое-что переписывал в тетрадь. Многие слова мне были непонятны. Запоминал я их механически, не понимая значения, так как мои шефы и переводчики искусством перевода книжных слов не владели...

С каждым днем я все теснее сближался с русскими ребятами, моими школьными товарищами.

О том, как дальше складывалась моя жизнь, будет рассказано в следующей книге.

РАССКАЗЫ



Я ПОМНЮ ИХ

В ноябре 1935 года в ташкентском учебном центре САВО[1] были назначены сборы командиров запаса. На этих сборах оказался и я — в ту пору старший консультант-экономист Казахской конторы Промбанка СССР, в которой работал после окончания Ленинградской финансовой академии.

Нас было сто двадцать человек, и мы составляли две группы. Нашей группой командовал Павел Михайлович Вахалов—человек среднего роста, худощавый шатен с чуть грустными глазами, в прошлом лихой командир эскадрона, за боевые заслуги на фронтах гражданской войны удостоенный двух орденов Красного Знамени. Таких орденоносцев по всей Средней Азии и в Казахстане тогда было всего трое—полковник И. В. Панфилов, казах Жармухаммедов и подполковник П. М. Вахалов, командир нашей группы.

Подполковник сильно прихрамывал—сказывалось давнишнее фронтовое ранение. Но был он человеком темпераментным и часто забывал о своей хромоте, брался показывать различные строевые и ружейные приемы, фигуры на гимнастических снарядах, не раз преодолевал полосу препятствий. Хотя он исполнял приемы старательно, с истинно кавалерийским наскоком,—все равно они у него получались не такими, как надо было. Инвалидность есть инвалидность. Смотреть на него в это время было трогательно и печально. Непосредственность, честность Павла Михайловича вызывали искреннее сочувствие к нему, уважение к его славной боевой биографии, к еще не потухшим страстям истинно строевого командира. Занятия он проводил живо и интересно, припрявляя их остроумными шутками. Последний час неизменно посвящал, как он го-

---

[1] САВО — Среднеазиатский военный округ.

ворил, «общему инструктажу», сообщал программу занятий на следующий день, называл статьи уставов и военных пособий, давал конкретные указания, на что обратить особое внимание, как подготовить учебное место и т. д.

— Любой из вас должен быть готовым провести эти занятия в роли командира отделения или взвода,—заканчивал он.—Готовьтесь так, как положено командиру.

Угрюмый красноармеец узбек подавал ему красивого гнедого ахалтекинца с отличным экстерьером, и он уезжал, пожелав нам успешной подготовки.

В часы самоподготовки мы собирались небольшими группами в пять-шесть человек. Среди нас находились бывшие командиры рот, взводов, имеющие за плечами немалый опыт. Все они были старше меня по возрасту — мне тогда исполнилось двадцать четыре года.

Бухгалтер Бусин оказался прекрасным гимнастом; председатель колхоза Красноносов был великолепным строевиком; инженер Сорокин хорошо разбирался в баллистике и артиллерийском деле; председатель райпотребсоюза Ахметов знал наизусть почти все статьи уставов (так мы его и называли—«уставником»); учитель Шарапов виртуозно разбирал и собирал материальную часть оружия; следователь Пашковский отличался продуманными, обоснованными решениями на тактических занятиях и четкой формулировкой боевых документов; завхоз Старостин не терпел беспорядка в казарме, во дворе, в каптерке, на учебном поле, на плацу. Плохо заправленная койка, не подобранная стреляная гильза, пакля после чистки оружия так и тянули его к себе, как магнит железо. Подполковник назначил его старшиной группы, а меня, как младшего по возрасту и званию, его помощником. Я ведал каптеркой, учебными пособиями, выполнял разные хозяйственные поручения Старостина. Старшина, давая мне указания, всегда заканчивал: «Я вам поручаю все энто». Отсюда я имел кличку—«офицер по особым поручениям генерала Энто...»

Вахалов приезжал ровно за пять минут до подъема, присутствовал до конца зарядки и возвращался к себе домой завтракать. Точно за пять минут до начала занятий он появлялся вновь, принимал рапорт старших подгрупп и Старостина; у старшины, как всегда: «Учебные места, пособия, материальная часть, боеприпасы, мишенная обстановка подготовлены!» Затем подполковник объ-

являл тему занятий и имена тех, кто их будет проводить. По его команде мы расходились по своим учебным местам.

Павел Михайлович появлялся то в одной группе, то в другой, задерживался на час, а то и на два, но никогда не вмешивался, никогда не перебивал до конца занятий. К вечеру подводил итоги.

— Проверяйте, налицо ли все необходимое для занятий... Объявляйте тему... Четко формулируйте цель занятия, его смысл... Соблюдайте последовательность отработки учебного задания... Ищите пути преодоления возникших ошибок... Обращайте внимание на статику и динамику, на суть упражнения... Добивайтесь четкости приемов...

— Не все сразу удается. Имейте терпение, батенька! Как говорится, повторение—мать учения...

— Логичность рассуждения—самое главное в тактике. Расчет и предвидение—как над шахматной доской... На строевых занятиях, физподготовке и ружейных приемах, в верховой езде, в рубке, в джигитовке—извольте сами показать образец! «Делай как я!»—вот кредо молодого командира. Делай на «отлично». Не можешь воздержись до тех пор, пока сам не овладеешь в совершенстве. Сегодняшние ошибки не должны повторяться завтра. Вспоминайте себя желтоклювыми красноармейцами, не унижайте достоинства своих подчиненных, не делайте того, что бы сами не хотели испытать, находясь в их положении... Уважайте красноармейца, любите его как младшего брата, как сына, как молодого гражданина своей страны... Он пока птенец. Помогайте ему. Пусть окрепнут его крылья, чтобы потом взлетел орлом... Но не опекайте чрезмерно, умело воспитывайте и учите тому, что от него потребуется в будущем... Объясняйте, показывайте, советуйте!

Последние слова своего наставления Вахалов почти выкрикивал, резко жестикулируя обеими руками. Потом вдруг сникшим усталым голосом продолжал:

— Я отвлекся, давайте разберемся в том, чего мы добились сегодня. И чего не добились. И почему... Где, как говорится, зарыта собака? В чем мы хромаем? А? Мне сдается... Я знаю, вы стараетесь и я стараюсь, а получается не все гладко. Почему?.. Спрашиваю прежде всего самого себя, а потом уж и вас. Подумайте—и ответьте делом...

Затем он, как обычно, приступал к общему инструктажу на следующий день.

Старшина гонял меня, как своего помощника, немилосердно. «Поручаю вам энто»—так и сыпались на меня. И неудивительно, что я однажды опоздал на собрание. Учитель Шарапов выступал с докладом о международном положении. Я вошел в зал, когда докладчик говорил о свержении афганского короля Аманиуллы-хана, о движении Бачи-сакау. Пропустив начало, я без особого интереса слушал конец доклада.

Докладчик закончил свою речь, и слово взял бухгалтер Бусин. Говорил он спокойно, употребляя деликатные выражения по поводу нападения Муссолини на Абиссинию, сопровождая свое выступление историческими и географическими справками. Упомянул императора Хайле Селассие Первого, который лично водил в контратаку свои войска; говорил о том, что итальянцы применяют пушки, пулеметы, танки, разрывные пули, удушливые газы, стойкий жидкий иприт против... мирного населения и эфиопской армии, вооруженной пиками, палашами, луками и стрелами; что эфиопы вырезают ножом пораженную ипритом кожу своего тела; что от удушливых газов они пытаются спастись при помощи смоченной ткани. «А бумажной ткани в одежде эфиопа, кроме трусов-то, ничего и нет»,—утвердительно сказал Бусин.

Павел Михайлович перебил его.

— Я три месяца в гражданскую босиком ходил, только потом с убитого колчаковского хорунжего снял сапоги, клинок, пику, наган... А у них, выходит, еще хуже: намочил трусы—прикладывай к носу, воюй или драпай, в чем тебя мать родила.

В зале смех и грустные вздохи. Бусин продолжал. Он рассуждал о капиталистическом окружении, о необходимости усиления обороноспособности страны.

Я по-мальчишески завидовал познаниям и складности речи учителя Шарапова и бухгалтера Бусина.

И другие ораторы выступали убедительно, логично— так мне казалось тогда... Инженер Сорокин говорил о развитии индустрии и о совершенстве советской техники; председатель колхоза Красноносов заострил внимание на успехах классовой борьбы с кулачеством и победе колхозного строя; председатель райпотребсоюза Ахметов рассказал о переходе от нэпа к советской государственной и кооперативной торговле, о преимуществе ее и процветании...

— Кто еще хочет выступить, товарищи? — обратился к залу председательствующий Красноносов.

После томительной паузы поднял руку старшина группы.

— А, товарищ Старостин!—с радостным удивлением проговорил Красноносов, точно рыбак, у которого клюнуло после безнадежного ожидания.—Пожалуйста!

— Скажу честно, я плохо разбираюсь в международных вопросах,—начал Старостин.—Но как я понял, Бачисакау—это настоящий басурманский басмач. Я воевал с басмачами Ибрагим-бека. Если надо будет—еще раз порубаем этих бандитов... У меня такая мысль, что абиссинцы народ храбрый, за свое народное дело они вырезают кожу собственного тела... А их Хайселасе хоть классовый враг, но храбрый царь, раз он сам лично идет в атаку на врага... Муссолини, конечно, итальянская сволочь, Гитлер—немецкая, Франко—испанская, все они гады. Вообще гадов на свете много, оказывается. Но мы их побьем. Теперь о наших делах. Я—старшина группы. Мне за порядком следить положено и всякую всячину готовить к занятиям, да заботы о еде, на завтрак надо вести группу, на обед и ужин, белье вовремя менять, в баню... Правда, у меня помощник товарищ беспартийный, но послушный, дисциплинированный. Все поручения выполняет аккуратно. Он и я тоже на самоподготовке не всегда бываем... А разве хорошо, когда Момыша некоторые называют—«офицер особого поручения генерала Энто»... Энто—это я... молодого командира Красной Армии называют «офицером», а меня «генералом». Что это такое?.. Момыш не воевал, а я-то воевал против энтих золотопогонников... Как же так получается—свои же над своими издеваются, а? Мы с Момышем будем делать свое дело, как приказано. Я—все,—тяжело вздохнув, Старостин грузно опустился на стул.

Встал Вахалов... События последних лет за рубежом он охарактеризовал как зловещее предвестие войны. Приводил теоретические взгляды буржуазных военных деятелей, отмечал нашу наступательную доктрину и теорию глубокого удара. Говорил о боеготовности страны, о том, что командиры запаса должны постоянно повышать свои знания, чтобы командовать подразделениями, частями в бою не хуже, чем кадровики; с этой целью повсеместно проводится допризывная, вневойсковая подготовка и сборы командиров запаса.

Подполковник помолчал немного, как бы стряхивая с себя груз тревожных мыслей, потом улыбнулся...

— О наших делах. Здесь выступал товарищ Старостин... Все-таки не стоит обижаться на шутки друзей... И старшина и его помощник Момыш к делу относятся серьезно. Молодцы.

Последние две недели учебы на сборах были очень напряженными. Подполковник Вахалов, что называется, висел над душой каждого из нас. Все волновались, ожидая инспекторскую заключительную проверку. И вот, наконец, за три дня до окончания сборов приехал начальник управления боевой подготовки округа комдив Брилев с четырьмя инспекторами...

Со склепкой на турнике я провалился.

— Момыш! Что с вами!—возмутился Вахалов.

— Не рассчитал, товарищ начальник,—тяжело дыша, смущенно ответил я.

— Повторить!

— Павел Михайлович, пусть товарищ отдохнет, успокоится,— прервал Вахалова комдив Брилев, человек рассудительный, тактичный.

Я отошел в сторону.

— Что за мандраж у вас? Группу подводите,—прошипел над моим ухом Бусин.

— Оставьте товарища в покое!—громко сказал Брилев, заметив подошедшего ко мне рассерженного Бусина.—Это у него не в счет. Это первая попытка.

— А я, товарищ комдив, к нему по другому делу.

— После,—махнул рукой Брилев, понимая, что Бусин хитрит.

Все мои товарищи по группе смотрели на меня искоса. Подавленный своей неудачей, я одиноко сидел в стороне...

Ко мне подошли Красноносов и Пашковский, молча сели рядом.

— И вы пришли на «штрафную площадку»? — съязвил я, обратившись к Красноносову, который до этого измерял меня уничтожающим взглядом.

— Вроде так. Чтобы вам не было скучно,—ответил за Красноносова Пашковский.

— Момыш-улы!—окликнул Вахалов.

Я подбежал к исходной площадке и остановился.

— К снаряду!—резко скомандовал подполковник.

Отчеканивая шаг, я подошел к турнику. Выжим... рывок... соскок.. отход.

— Складно, складно получилось,—одобрительно отметил Брилев.—Можно бы и пять поставить. Но, учитывая первую попытку, придется снизить на один балл.

— Товарищ комдив!—умоляюще воскликнул Вахалов.

— Надо, Павел Михайлович, приучать людей к выдержке, к хладнокровию. Нервы у бойца должны быть крепкими.

Инспекторская проверка завершилась стрельбой. Был ясный день. В десять часов утра обе группы выстроились на гарнизонном стрельбище.

Комдив Брилев, приняв рапорт Вахалова, приказал развести нас по своим огневым рубежам. Его помощники проверили готовность мишенной обстановки, патронных пунктов и оружия.

Смена за сменой шли к огневому рубежу. Гремели частые выстрелы.

Условия задачи были сравнительно легкими: дистанция—сто метров, мишень—круглая, патронов—три, время—две минуты. Выбьешь восемнадцать очков—удовлетворительно, двадцать—хорошо, свыше двадцати—отлично.

Я выбил 23 очка, семь, восемь, восемь, верхний правый угол мишени, с отличной кучностью.

После стрельбы приступили к чистке винтовок. К нам подошел Павел Михайлович, прихрамывая сильнее обычного (со своей больной ногой он ходил смотреть мишени после каждой смены), и сообщил следующее: итоги подведены, а первое место не определено, потому что результаты у обеих групп оказались равными. Комдив Брилев так и хотел записать в акте, никому не присуждая первенства. Но майор Чистяков внес предложение: от каждой группы выделить по одному стрелку — разумеется, отличному стрелку—и пусть эти два товарища решат судьбу. Кто выбьет большее количество очков — той группе и присудить первое место в соревновании.

— Пришлось принять этот вызов. Майор Чистяков выделил из своей группы Петрова, у него—двадцать три очка. А у нас, у товарища Пашковского,—двадцать пять. Результат, конечно, отличный, но... меня смущает кучность. А вот у Момыш-улы и результат отличный и кучность хорошая. Я решил выделить товарища Момыш-улы,—закончил Павел Михайлович.

— Ну, Момыш, держи марку.

Когда я вместе с подполковником шел к огневому рубежу, вслед нам кричали:

— Ни пуха ни пера, Момыш!

— Пошли его к черту, Момыш!

Подошли и майор Чистяков с Петровым. Итак, позади нас обе группы в полном составе и инспекторы, мы на огневом рубеже, нас четверо. Точно дуэлянты с секундантами.

У меня винтовка уже протерта. Петров, низкорослый брюнет с черными острыми глазами, наматывал на шомпол сухую паклю. С вызовом подмигнул мне.

Готовясь к стрельбе, я лег, приложился к винтовке, отметил положение локтей и для большего удобства вырыл для них малой лопаткой небольшие лунки. Еще раз примерился. Локти—в лунках, натянут подогнанный ремень винтовка — на лодони. Прицелился вхолостую — винтовка держалась как в станке. Учитывая результат своей прежней стрельбы, сделал упреждение на отклонение.

— Я готов, товарищ подполковник!

Вахалов молча подал мне три патрона и отошел. Не отрывая локтей от лунок, работая лишь кистями рук, я снайперским способом произвел три прицельных выстрела и встал. Вахалов, оторвав взгляд от своих часов, недовольно буркнул себе под нос.

— Тридцать секунд,—и отвернулся гневливо: ничего хорошего от такой быстрой стрельбы он не ожидал.

Издали кто-то из нашей группы погрозил мне кулаком.

Майор Чистяков, надо полагать, учел мою быстроту, которую можно было расценивать и как торопливость, нервозность; подавая патроны Петрову, он предупредил его:

— По условиям упражнения—на три выстрела дается две минуты.

— Знаю, товарищ майор,—спокойно ответил Петров, заряжая винтовку.

Вахалов посмотрел на меня с укором.

А Петров после первого выстрела не спеша перезарядил винтовку. Я ревниво следил за каждым его движением. Вот он оторвал правую руку от земли—лунка под локтем была неглубокая. Положение корпуса изменилось. Он поправил сползающий ремень с левого плеча, долго целился и наконец произвел второй выстрел. Снова движение локтями, покачивание туловищем, подгонка

ремня, долгое прицеливание и—выстрел. Последний.

— Уложился ровно в две минуты,—одобрительно сказал Чистяков.

Вахалов бросил на меня многозначительный взгляд: вот так надо было стрелять!

Подошли инспектирующие командиры. Комдив Брилев разрешил вести группы к мишеням. Петров стрелял по правой, я — по левой. Не доходя до линии мишеней десять шагов, все, кроме инспекторов, Вахалова, Чистякова и нас, стрелков, остановились в напряженном молчании.

Петров выбил 24 очка (семь, восемь, девять). Вахалов сделал какое-то глотательное движение. Подошли к моей мишении—27 очков (восемь, девять, десять—все попадания в одну линию)!

— Молодец, Момыш!—воскликнул Вахалов.

— Да, это настоящая работа. А кучность!— восторгался комдив Брилев.

Комдив перед строем коротко рассказал нам об итогах инспектирования.

— Поработали вы хорошо, добились неплохих результатов... Особенно интересно разгорелся спор за первенство. Товарищ Петров при повторной стрельбе улучшил свой результат на одно очко... Я считаю, он не подвел свою группу. Просто у него нашелся более сильный соперник. Результаты у обоих стрелков не случайные...— и комдив на прощанье дал мне несколько советов, пожелал всего доброго участникам сбора...

От линии мишеней мы шли уже на строем, а гурьбой. Не знаю, с чего началось, но меня вдруг подхватили и стали качать. Так и не опускали на землю до огневого рубежа.

На плацу после возвращения со стрельбища майор Чистяков перед строем обеих групп с краткой речью передал подполковнику Вахалову переходящий кубок.

Павел Михайлович вызвал меня из строя и нарочито строгим голосом приказал:

— Держите! Отнесите в мой кабинет!

С кубком в руках, под аплодисменты я помчался в казарму.

Прошло пять месяцев. Во второй половине марта меня вызвали в Казвоенкомат и вручили предписание: чечерез три дня явиться в штаб САВО, в Ташкент.

В коридоре штаба округа я неожиданно столкнулся с подполковником Вахаловым.

— А, Момыш приехал,—и, здороваясь за руку, добавил:—Это я вас сосватал.

— Очень жаль.

— Сейчас идет какое-то совещание. Пойдемте вместе пообедаем. Там я вам кое-что расскажу.

Было жарко. В столовой я снял пиджак и сидел за столом в шерстяном свитере. Когда я залпом выпил кружку свежего холодного пива, Вахалов, отодвигая свою кружку в сторону, спросил:

— Значит, вы недовольны, что вас призвали в кадры?

— Да.

— Почему?

— У меня старый отец, совсем маленький брат... Я еще не женат... Я никогда не намеревался быть кадровым военным. Начал работать экономистом, только стал входить в колею—и вдруг снова призыв в армию.

— А где вы проходили действительную?

— В Термезе. У Коваленко?

— У Дмитрия Коваленко?

— Да.

— Вот он-то и формирует полк у нас. Меня, как начальника учебного центра, спросили, кого бы я порекомендовал в кадры из запаса. Притом напомнили, чтобы подбирались молодые командиры, с перспективой роста. Не мог же я рекомендовать Красноносова или Бусина, которым под сорок! Какой из них командир взвода? Взвод, рота—дело молодежное. А какие у них возрастные перспективы для продвижения по служебной лестнице?

— У них же опыт.

— Опыт—дело наживное. Два-три года покомандуете, потом—в академию, и вот через пять-шесть лет вы будете и опытным, и образованным командиром... Война будет—все равно призовут. Всех призовут. Пойдет поголовная мобилизация.

— Ну, тогда другой вопрос...

— Новое формирование—это значит подготовка к войне. Видимо, она не за горами. Нам нужно иметь к ее началу тридцатилетних командиров рот, эскадронов, батарей. Тридцатипяти-сорокалетних опытных командиров батальонов, дивизионов и полков...

— Вы говорите так, как будто точно знаете, что через пять-шесть лет грянет война.

— Тучи с каждым годом сгущаются. Значит, грянет и гром... Ну, ешьте, ешьте. Может, еще кружку пива?

— Нет. Благодарю... Я все-таки хочу просить командующего, чтобы освободили меня.

— Нет-нет,—запротестовал Вахалов.—Из того ничего не выйдет. Во-первых, командующий вас не примет. Во-вторых, вы уже проведены в приказе командиром взвода 305-го полка. Полка Дмитрия Коваленко. Он опытный, выдержанный, тактичный командир фрунзенской школы.

Получив предписание и попрощавшись с Вахаловым, я поехал на попутной машине. Штаб полка размещался на окраине летнего лагеря в отдельном доме. Когда я приблизился к нему, у входа остановилась «эмка», из машины вышел полковник, затем показался старший лейтенант, видимо, адъютант. Я остановился в нерешительности.

— Товарищ, вы ко мне?—спросил полковник. Я пригляделся внимателнее: да, это был Дмитрий Коваленко. Я представился как командир взвода из запаса. Полковник тепло улыбнулся, поздоровался за руку, пригласил к себе.

Без всякой проверки документов часовой пропустил и меня. Видимо, он слышал приглашение полковника. Кабинет у него был еще не обставлен.

— Вот вам табурет,—предложил полковник, садясь в жесткое кресло за маленьким конторским столом. Вынул пачку «Казбека», протянул мне, закурил сам.

— Смотрю—в списке командного состава и ваша фамилия. Выходит, снова будем служить вместе.

— Да, товарищ полковник.

— Я ведь из Ташкента сейчас приехал. Подполковник Вахалов все мне рассказал. Так что мне ваше настроение до некоторой степени известно. Я вам ничем помочь не смогу. Приказ отдан. Вы теперь кадровый командир Красной Армии. Вы были в Термезе неплохим красноармейцем, а теперь, надеюсь, будете неплохим командиром. Давайте помогать друг другу.

— Какой же из меня помощник?

— Один я с полком не справлюсь,—улыбнулся Коваленко.—Если вы, молодые командиры, будете нести службу образцово, тогда и я окажусь неплохим командиром полка. Сегодня отдохните, переоденьтесь в военную форму, а завтра в двенадцать зайдите ко мне.

— Экипируйте товарища в самое лучшее, что есть у нас на складе,—передал адъютант приказание интендан-

ту.—Пусть портные подгонят, пришьют все нашивки, петлицы, подворотничок. Товарищ ведь с гражданки...

К ужину я был в полной форме лейтенанта. Чувствовал себя непривычно: хромовые сапоги жали, портупея скрипела, наган в кобуре и полевая сумка мешали мне при каждом движении. Неловко козыряя каждому встречному, я пошел в столовую...

— Ну вот, теперь другой вопрос,—удовлетворенно сказал полковник. Видимо, заметил мое смущение, добавил: — Когда обмундирование обносится — будете чувствовать себя свободно.

Он подробно расспросил о моих житейских делах. В конце беседы сказал:

— Как видите, полка пока нет, но полк скоро будет. После формирования мы отсюда уедем. Куда—пока сам не знаю... Теперь вам этот мундир придется долго носить. С сего числа вы—военный. Поздравляю вас с новым назначением. Вы опытный красноармеец, но пока неопытный командир. Будете у всех на виду. За молодым командиром особенно следит весь личный состав. Многие думают: еще посмотрим, какой из него получится командир. В народе всякие бывают: с одним надо быть обходительным, с другим — построже. Надо держать подчиненных в строгих рамках уставного воинского порядка. Очень важны первые шаги командира. Несколько непродуманных поступков, промахов, оплошностей, совершенных в самом начале,— и авторитет командира надолго подорван... Вы сейчас колеблетесь, недовольны. Постарайтесь примирить в себе противоречие между сознанием своего гражданского долга и нежеланием служить в кадровой армии. Поезжайте сейчас домой, получите окончательный расчет на прежней работе, попрощайтесь с коллективом, оставьте родителям побольше денег. Мы, я полагаю, будем находиться в полевых условиях на всем готовом, так что деньги нам не понадобятся. Передайте от меня привет вашим старикам.

Полковник встал, протянул мне руку на прощание и, улыбнувшись, добавил:

— Гражданский костюм оставьте дома и вместе с ним—ваши колебания. Ровно через неделю возвращайтесь в полк.

Признаться, я не ожидал такого приема. Думал, полковник сразу же впряжет меня в «армейскую телелгу». Разумеется, я поехал домой в хорошем настроении.

Управляющий промбанком Борис Залманович Бархан, близорукий пожилой человек, после беседы со мной созвал всех на собрание.

—...Итак, мы, товарищи, провожаем одного из наших работников в родную Красную Армию. Служи, дорогой Баурджан, отлично. Зорко стой на страже наших границ. Будь непримирим к недостакам на своем участке. Это тебе наш наказ.

Тут же перед коллективом Борис Залманович вручил мне двухмесячное пособие и премиальные в размере месячного оклада.

Взволнованный столь трогательными проводами, я выехал вечерним поездом из Алма-Аты в родной аул.

В ауле не знали о том, что я призван в армию. Об этом я не писал, чтобы не расстраивать своего старого отца. К тому же надеялся, что командующий удовлетворит мою просьбу—освободит от службы.

В поезде я зашел в вагон-ресторан и попросил директора сделать мне ассорти из всех сладостей, какие имеются в буфете, и уложить их в две большие коробки.

— На свадьбу едете, товарищ командир?—широко улыбаясь, спросил толстый добряк-грузин.

— Старикам и детям нашего аула подарок от вас хочу привезти. Я выхожу на станции Бурное.

— Хорошо, товарищ командир. Стариков надо уважать, детей надо любить. Я сам все как следует подберу, упакую и принесу,—еще радушнее улыбнулся директор.

Когда я выходил из вагон-ресторана, он спохватился, закричал вдогонку.

— Товарищ командир! Вино! Вино-то вы забыли заказать.

— Сам я не пью, а в ауле у нас нет ни одного пьющего.

С двумя пакетами под мышкой, с чемоданом в руке и плащом поднялся я по перроной лестнице станции Бурное. Поезд прощально загудев, отправился дальше. Я огляделся. В свою служебную комнату возвращался дежурный по станции в форменной одежде. Высокий, усатый.

— Здравствуйте, дядя Сашко!— остановил я его.

— Здравствуйте, товарищ военный,— растерянно ответил он.

— Не узнаете?
— Ей-ей, не помню.
— Я же Бауржан!
— Тьфу, нехай тебе! Момышкин сын?
— Ну да!
— Тьфу, нехай тебе! Давай подсоблю. Айда ко мне в дежурку,— дядя Сашко подхватил мой чемодан и побежал.

Когда я вошел в дежурку, он уже кричал по телефону, давая сводку соседям по линии: «Абаил? Я—Бурное. Восемьдесят седьмой прибыл с опозданием на пять минут. Отправился вовремя... Чево? Тьфу, нехай тебе! Да трохи обожди, я Чокпаку позвоню... Чокпак? Я—Бурное. Слухай, восемьдесят седьмой от меня отправился вовремя. Чево?.. Я не можу... Трохи подожди. Не можу. С Айбала выйдет товарный. Не можу принять! Чего ты регочешь! Не можу!»

Дядя Сашко крутил ручку телефона, говорил, тьфукал, неможукал без конца. Я пошел на базарную площадь в надежде встретить там кого-нибудь из нашего аула и доехать вместе с ним до дома. По дороге все обращали на меня внимание. Вернее, на мою новенькую форму со всеми ее нашивками на рукавах, петлицами, с поблескивающим ремнем и портупеей. Наверное, я казался им со стороны эдаким атаманом, вооруженным до зубов. За три версты мне уже уступали дорогу.

Как у нас говорят, базар уже разошелся. Из нашего аула я никого не встретил. Без всякой надежды на попутчика я бродил по базарной площади от повозки к повозке, хозяева которых не спешили возвращаться. Кое-где еще визжали непроданные свиньи, гоготали гуси. Кое-где раздавались голоса подвыпившего базарного люда. Возле одной из бричек, доверху нагруженной клевером, было особенно оживленно. Старательно играл гармонист, парни и девчата вертелись в пляске, ухая и ахая. Меня они не замечали. Я стоял, любуясь этой веселой удалью своих земляков-сверстников.

— Хлопцы и дивчины! Хватит на цей базар. Запрягайте коней, поихалы по домам,—скомандовал наконец гармонист.

С громким смехом, возбужденно переговариваясь, все засуетились, загомонили вокруг своих повозок. Я отошел в сторону, постоял в нерешительности и направился по большаку к железнодорожному мосту. Меня обгоняли повозки—свободного места ни на одной не было.

— Тр-р!—раздалось чуть сзади, я оглянулся и увидел бричку, доверху нагруженную клевером. На землю спрыгнул русый парень в новом картузе с лакированным козырьком и начал высматривать объезд возле огромной мутной лужи на дороге.

— Василь!—невольно вскрикнул я.

Василий Гончаров—мой ровесник, младший сын друга моего отца, мой русский друг детства, с которым мы вместе пасли лошадей,—сразу узнал меня.

— Бауржан! Ты как из-под земли явился. Видкиля ты взявся?

— Потом расскажу. Мои вещи у дяди Сашко. Ты довезешь меня до дому?

— Это можно... Маня! Бауржан здесь! Погоняй трохи правей и стой....

— Тьфу, нехай тебе. Шукаю, шукаю. Думаю, куда запропастився хлопец,—ворчал дядя Сашко, подавая мне вещи.

Дорога до нашего аула была ухабистая, со множеством «карасей»—так мы называли ложбины с протоками. Сколько я потом видел дорог на своем веку—бетонированных, асфальтированных дорог Азии, Европы, Америки, по которым мчался в быстрейших комфортабельных машинах,—но той дороги, по которой я ехал на бричке вместе с Василием и Маней в родной аул, никогда не забуду. Мы говорили, перебивая друг друга, нас не трясло, не качало.

Возле нашего дома Василь спрыгнул с брички, позвал моего отца:

— Ата! Мы приехали!

Отец выбежал в халате.

— Эты ты, Василь? Клевер привез? Сено? Спасибо, сынок.

— Ата! Я привез Бауржана.

— Где же он?

— Здесь!—и я легко спрыгнул на землю.

Отец, как бы не веря себе, протер глаза рукавами халата, посмотрел сначала на Василия, потом на меня и тихо забормотал молитву.

— Во сне или наяву все это, мой аллах?

— Ата! Это на самом деле я!

— Голос узнаю, а лица пока не вижу.

— Ата! Бауржан теперь командир. Вот видите, у него наган на боку...

Я был огорчен тем, что у отца началась старческая близорукость... Тут с шумом нахлынули аульчане, затормошили меня. Отец стоял в стороне, прислушиваясь к радостному галдежу, потом, видно, опомнился, тихо произнес, улучив минутное затишье.

— Добро пожаловать в свой дом, мой сын. Я не ожидал, что ты приедешь. И вы заходите,— пригласил он всех гостей и, повернувшись, нетвердым шагом заспешил в дом.

В комнате отец постоял возле меня, приглядываясь, потом отошел, подозвал мачеху, дядю и тетю, о чем-то зашептал, видно, давал распоряжения, чтобы оказали набежавшим гостям достойный прием.

Василь, расторопный, шумливый, забывшись, громче всех кричал по-русски, хотя многие его не понимали; затем спохватился, обращаясь к мачехе, перешел на казахский язык:

— Апа, пошире расстелите скатерть, не скупитесь!

— Подожди. Скоро самовар поставим, барана зарежем, баурсаки, куырдак приготовим... Куда ты, балбесенок, спешишь? Ата велел все сделать честь по чести.

— Это все правильно, апа. Но надо же развязать пакеты Бауржана.

Отец рассмеялся.

— Василь прав. Возьми большую скатерть.

Когда скатерть была расстелена, гости уселись вокруг нее, с любопытством поглядывая на пакеты, Василь высыпал конфеты, они заиграли своими разноцветными золотыми и серебряными этикетками; гости потянулись за угощением. Василь закричал:

— Постойте! Сейчас же уберите ваши руки! Есть еще один пакет. Давайте распакуем и его!

— Давай, давай, Василь!—дружно поддержали гости.

На скатерти выросла целая гора конфет. Взрослые, соблюдая приличие, ждали, дети же от нетерпения хныкали, а кое-кто из них даже плакал.

— Кто хнычет и плачет, тот ничего не получит,—весело угрожал им Василь.

А мой старик молча сидел, свесив худые ноги с высокой деревянной кровати, которую сам смастерил лет двадцать пять тому назад. Маня, не знающая казахского языка, возмущалась, обращаясь то к мужу, то ко мне с восклицаниями вроде: «Ще вы робытэ?», «Як тебе не срамно, Василь, кричать на людыну. Пусть беруть», «Вы тоже гарный хлопец! Да ще командир!» Василь только

отмахивался от жены: «Мочви же»,—а я время от времени шепотом переводил отцу «перебранку» между Василем и Маней.

— Теперь по порядку берите на душу населения по две конфеты,—скомандовал Василь.—А что останется, то—в резерв апа.

— Пусть берут по три,—сказала мачеха.

— Нет, по две,—шутливо настаивал Василь.—Врачи говорят, от сладости зубы портятся.

С шутками, поблагодарив хозяев, гости разошлись. Отец по-прежнему сидел молча, грустно глядя прямо перед собой.

— Апа,—посоветовал Василь,—соберите все со скатерти, ведь у вас еще будут гости и сегодня и завтра.

— И то правда...

Отец покашлял, вытер усы, погладил свою длинную седую бороду, сунул босые ноги в кожаные сандалии и сказал озабоченно:

— Ох, совсем забыл про скотину. Пойду напою, корму задам. Дотянуть бы до зеленой травы.

— Ата! Я помогу. Мне тоже надо напоить своих коняг.

— Ты сиди. Ты у нас кунак, гость. Сам управлюсь.

— Нет, ата. Я не кунак. Кунаки ваши—Бауржан и Маня. Она ведь первый раз в вашем доме.

— Да-да. Я рад им. Ну, пошли тогда, дотемна управиться надо.

Василь вернулся раньше отца.

— Бричку разгрузили, клевер сложили на крыше сарая. Ата очень рад был.

— А гроши?—спросила Маня.

Я посмотрел на нее недоуменно.

— Мы его возили на базар продавать,—пояснила она.—Но больше пяти рублей никто не давал, это все равно что задаром отдавать.

— У меня есть деньги,— с готовностью сказал я.

— Нет,— прервал нас Василь. — Ата обещал сеном или клевером вернуть после нового покоса.

— Но вам же нужны деньги,— настаивал я.

— Ну да. Теперь потерпим.

— Какая красная цена была клеверу?

— На прошлой неделе и десять давали.

Я протянул Василию десятку.

— Что ты,—стал отказываться он.—Как-то неудобно продавать своим, да еще втридорога.

В это время вошел отец и, разобравшись в чем дело, поддержал меня. Василь никак не соглашался. Тогда отец предложил:

— Пусть будет по-твоему, Василь. Ты нам дал клевер взаймы. Мы тебе даем деньги взаймы. Выручаем друг друга. Идет?

— Ну вот, совсем другое дело,—рассмеялся Василь и взял у меня деньги...

За ужином я не успевал отвечать на вопросы. Сидели долго. Когда последние гости—Василь и Маня—уехали, отец вдруг заулыбался.

— Вначале я было подумал,—сказал он,—что ты привез русскую жену... Ну, теперь толком объясни мне, как все у тебя случилось, куда поедешь...

Я подробно рассказал. Отец слушал внимательно. В конце разговора я вынул из полевой сумки пачки денег и отдал их отцу, оставив себе сто рублей. Отец медленно сосчитал деньги.

— Здесь полторы тысячи. Так?

— Да, должно быть полторы.

— Зачем так много даешь?

— Так полковник велел.

— Разве он и твоими деньгами распоряжается?

— Нет просто он, как старший, посоветовал мне. Говорил, что мы, вероятно, куда-нибудь уедем далеко, где не нужны деньги.

— Мы дома,—возразил отец.—Среди своих. А ты где-то будешь. Бери-ка лучше эти деньги себе.

— Нет, ата. Я же буду получать хорошую зарплату и жить на всем готовом.

Отец завернул деньги в большой платок, положил на дно сундука, сказал:

— Хорошо. Без особой нужды расходовать их не будем. Если тебе понадобятся—сообщишь.

— Нет. Наоборот, я буду посылать вам.

— Значит, ты надолго уезжаешь в солдаты,—задумчиво произнес отец.—Судя по твоим словам, твои начальники, видно, из хороших русских людей. Я утешаюсь тем, что ты будешь служить под их началом. Коль они оба (отец имел в виду Вахалова и Коваленко) по-хорошему, по-братски, сказали, как обстоят дела, и дали тебе совет—значит, они тебе желают добра, а не зла... Одна старуха перед смертью прощалась со своими близкими. Когда ее взбалмошный, непутевый сын бросился со слезами на колени, умоляя ее о прощении, она с гневом от-

ветила ему так: с пикой в руках ты не воевал с врагом; ты не отстаивал свою честь с камчой в руках; ты не пахал плугом землю; с кнутом в руках ты не пас скот; ты идешь к могиле, и нет у тебя за душой никаких добрых дел,— как нет у меня ни благодарности к тебе, ни гордости за тебя. Так почему я должна простить?..

Отец помолчал с минуту.

— Мне остается благословить тебя в добрый путь. Да сопутствуют тебе всегда мои добрые пожелания. Да сохранит тебя судьба...

...Так попрощался со мной мой старый отец.

СПИНА

Говорят, лицо—зеркало души. А ведь это не совсем и не всегда верно. Характер, воля человека испытываются временем. Каждый знает об этом. Человек в течение жизни так или иначе учится скрывать свои чувства и прежде всего, конечно, тренирует свое лицо. Может, и верно говорят, что этим особенно славится Восток.

Гораздо более, на мой взгляд, выразительны руки: непроизвольная дрожь или едва заметные движения выдают расслабление нервов; но особенно—многим это покажется странным—до чего же выразительна бывает спина человека!

Это было на фронте. Фронт давно стабилизировался. Линия обороны проходила по реке Л. с болотистыми берегами. Как у нас, так и у немцев оборона была жиденькой.

В полк, которым я тогда командовал, прибыло пополнение. Среди прибывших офицеров, мое внимание сразу привлек молодой капитан. Стройный, выше среднего роста, с отличной воинской выправкой, с небольшими бакенбардами и квадратными усиками, он был хорош собой— щеголь и, видно, служака.

Особенно в нем поражала артистическая манера в исполнении всех приемов при обращении. Он делал их непринужденно и свободно, с отменной четкостью. Я сам— кадровый офицер, и мои товарищи всегда считали меня неплохим строевиком. Я в его годы ничего такого не только не умел, но и не видел. «Должно быть, перед зеркалом учился»,—думал я каждый раз, наблюдая за ним.

Отдавая честь, он быстро проделывал очень сложные манипуляции плечом, предплечьем и кистью руки; взяв под козырек, одновременно лихо щелкал каблуками и вытягивал в струнку свою и без того стройную фигуру с узкой талией. Эти, почти балетные, номера заставили меня относиться к нему скептически, но офицером он оказался неплохим, дельным. Был он, правда, фатоват, но все-таки аккуратный, и солдат подтягивал, ну а насчет фатоватости—кто же из нас в том не грешен? Я сам до сорока трех лет, несмотря на протесты любимой женщины, никак не мог расстаться с савельевскими шпорами, отличающимися от других шпор изяществом и малиновым звоном...

Посоветовавшись с начальником штаба, я его назначил командиром одного из штабных подразделений.

Вскоре представился случай испытать характер капитана. Надо было послать небольшую группу в тыл противника с задачей—внезапно напасть ночью на штаб полка и, если удастся, захватить документы и двух-трех пленных. Это было тогда необходимо, потому что наши данные о противнике были крайне противоречивыми и путаными.

Я вызвал капитана. Поставил перед ним задачу, рекомендовал ему ряд вариантов плана действий группы. Капитан внимательно выслушал приказ, по всем правилам ответил, артистически, как всегда, откозырнул и с обычной лихостью щелкнул каблуками. Но когда он шагнул к двери, я увидел его спину. У него чуть опустились плечи, и спина сделалась, какой-то круглой, выпуклой... Вот уж никогда не ожидал, что увижу стан этого человека в такой степени бесформенным! «Грудью брал—спиной выдал. Трусит. Может погубить людей и сорвать задание».

На такие рискованные дела часто не знаешь, кого послать. Вопрос отбора людей мучительно переживается командиром. Самое страшное в ближнем бою, когда офицер теряет самообладание и люди, в силу дисциплины, выполняя его бестолковые окрики, мечутся по полю, ловя любую шальную пулю.

Когда он перешагнул порог, я приказал:

— Капитан, вернитесь!

Он стоял передо мной навытяжку. Мы оба молчали.

— Пошлите ко мне вашего заместителя. Вы не пойдете,—сказал я.

Он, потупив глаза, сделал, как мне показалось, глотательное движение и чуть дрожащим голосом повторил

приказание. Почему я вдруг изменил свое решение—он не спросил.

Старший лейтенант Малярчук был заместителем капитана. Малярчук был простоватым парнем, говорил только по-украински и с украинским юмором. Все равные и старшие в званиях разговаривали с ним на «ты». Он был в полку общим любимцем.

— По вашему вызову старшой лейтенант Малярчук явився!—доложил он.

— Ну що, хлопче дюжий?—я так его называл, и это ему нравилось.—Может, хочешь трохи промынаться?—я всегда невольно коверкал его родной язык, Малярчук и на этот раз тактично улыбнулся.

— Як прикажете. Промынаться, колы так трэба, промынаемось. Не перший раз. Що прикажете?

Малярчук внимательно выслушал меня, несколько раз переспросил и задал ряд вопросов. Он изложил несколько вариантов, не предусмотренных мною; всякий раз, когда он видел, что я со вниманием слушаю его рассуждения и соображения, он заканчивал вопросом:

— Як шо нимец вчинить так, то що нам зробыты и як дияты?

Получив разъяснения и советы, Малярчук, после долгого раздумья над картой местности, где предстояло действовать небольшой группе под его командой, сказал:

— Що вид нас трэба, я зрозумив, а як зробыты, ще трэба трохи помиркуваты.

Старший лейтенант просил дать ему на подготовку сутки. Эту свою просьбу он обосновывал тем, что «трэба с хлопцами подывиться и выбраты самый наизручнейший участок для перехода скриз линию фронта». На выполнение задачи он просил двое-трое суток и, ссылаясь на необходимость тщательно разведать район, изучить объект нападения, предлагал ряд вариантов действия в тылу противника. Когда я одобрил его решение и спросил, верит ли он в успех, Малярчук, улыбаясь, ответил:

— Як вам сказать? Правда, що трохи боязно, та ничего, колы трэба, то трэба. Мы с хлопцами постараемся як можно краще выпонаты задания.

— Добре, хлопче дюжий. Щасливо и целым вертайтесь.

На третье утро Малярчук с группой бойцов был на той стороне и радировал данные, а их командир, капитан, не выходил из опустевшего после ухода людей блиндажа. Никто его не вызывал, никто им не интересовался.

Мне доложили, что как-то случайно забрел в его блин-

даж один из офицеров и, увидев, что он лежит в темном углу блиндажа, спросил:

— Чего же вы, капитан, лежите? Пойдемте ужинать.

— Мои люди ушли, а я остался,—ответил капитан и глухо и долго рыдал, уткнувшись головой в подушку...

И я мучился в эту ночь, не находя ответа на вопрос, правильно ли я поступил с ним.

Малярчук с группой вернулся через двое суток.

Как-то вечером зашел ко мне капитан. Он осунулся и оброс щетиной.

Он просил послать его на выполнение какого-либо задания.

— Теперь некуда вас послать, капитан. Мы стоим в обороне. Для того, чтобы вы выдержали испытание, один случай упущен, а другого пока нет.

— Дайте мне десять солдат,—умолял он,—и я пойду на любое...

— Из-за вашего рвения я не могу рисковать жизнью десяти солдат без всякой на то надобности. Можете идти, капитан.

Он ушел.

Добрый Иван Данилович, начальник штаба, однажды в конце своего доклада спросил меня, как быть с капитаном.

— Пусть он продолжает командовать своим подразделением. Он же не отстранялся от этой должности,—ответил я.

— Да, но фактически он...

— Фактически он,—прервал я Ивана Даниловича,— фактически он был на время заменен, а не отстранен. Война ведь не завтра кончится, посмотрим, что будущее покажет.

— Он теперь все время сидит у меня. В свое подразделение не идет. Сегодня ночевал где-то в конюшне штаба. Ей-богу, жалко парня.

— Ну что бы вы посоветовали, Иван Данилович? Не могу же я для его реабилитации жертвовать без всякой надобности жизнью десяти солдат?

— Это, конечно, верно,—глубоко вздохнул Иван Данилович,—признаться, я боюсь, как бы он...

— Не бойтесь, Иван Данилович. Человек, который в тот же день не нашел в себе силы воли наложить на себя руки, на пятые сутки этого не сделает. Лишь актеры стреляются, да и то на сцене. Пока назначьте его

офицером связи в штаб дивизии. Он там кое-кому быстро понравится.

— Вот это идея! Слушаюсь!—обрадованно ответил Иван Данилович.

В эту ночь в неверном сне, в дремоте меня преследовал капитан то своими «номерами военной балерины», то согбенной и бесформенной спиной и слегка дрожащими мизинцами, то решительным лицом, умоляющим послать его на смерть; этот кошмар продолжался до утра.

Я проснулся, чувствуя себя разбитым. Из зеркала на меня смотрел человек с помятым лицом. Я был недоволен и собой и капитаном. Я обвинял его, обвинял себя.

Через месяц мне позвонил начальник штаба дивизии и спросил, не возражаю ли я, если капитана послать офицером связи в штаб армии. Я дал свое согласие.

Малярчук был назначен командиром. Про капитана вскоре все забыли.

Шли дни, шли недели, шли месяцы, испытывая наш характер, нашу волю; нашу верность долгу — высокие моральные принципы нашей жизни. Война продолжалась.

После кратковременной отлучки с фронта я был назначен командиром дивизии. О сменившем меня в должности командира полка Иване Даниловиче я знал, что он погиб и ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Что стало с капитаном и Малярчуком,— мне не было известно.

Однажды на рекогносцировке я вошел на НП командира батальона соседней дивизии. В узком срубе в стереотрубу смотрел майор и говорил артиллерийскому наблюдателю, сержанту:

— Гей, сержанте, що у тэбэ на чоли — очи чи дви дирочки з стиклом? Куда ты доселе зарився? Що там под копицею? Що це там пид тою вербою? Я тэбэ пытаю, сержанте.

По голосу и богатырским плечам я узнал Малярчука.

— Здоровенький був, дюжий хлопче!— не выдержал я.

Малярчук вздрогнул, обернулся, торопливо встал и вытянулся, приложив руку к пилотке. Я едва узнал его — глубокий шрам серпом багровел на правой щеке. Он улыбнулся, отчего шрам сделался еще глубже, искажая его лицо.

— Здравия желаю! Це вы, товарищу полковник? Значить, вы живой! Ой, як це гарно! Чудово!

Встреча наша была трогательной. Малярчук год как

командовал батальоном. Хорошо, что он жив и стал боевым командиром. Хорошо.

Кончилась война.

Однажды я присутствовал на артиллерийской стрельбе на одном из окружных полигонов.

На перекрестке дороги кто-то властно остановил машину, в которой я ехал.

— Адъютант генерала Н.,— представился молодой майор, и, когда наши глаза встретились, он чуть запнулся и почти машинально, скороговоркой продолжал, видимо, уже сотни раз произносившееся им:

— Командующий приказал после осмотра полигона точно в шестнадцать ноль-ноль прибыть на высоту 303...

Он был одет с иголочки и вертелся около одного из командующих вышколенный, то и дело козыряя и щелкая каблуками.

ПОМКОМВЗВОДА НИКОЛАЙ РЕДИН

В ноябре 1932 года меня призвали на действительную, и я стал солдатом.

Всякий знает, что солдат — самый младший чин в армии. Тогда нас величали «красноармеец товарищ такой-то». Когда я был «товарищем красноармейцем» мне ни разу не приходилось встречать среди командного состава ни самодуров, ни грубиянов, которые напоминали бы солдату о его происхождении по женской линии от самой Евы до его родной матери.

Помощник командира взвода, или, как тогда говорили, помкомвзвода, Николай Редин был моим первым военным учителем. Он был среднего роста, белокурый, синеглазый. Он умел служить и носить военную форму. На нем все было аккуратно и подогнано. Ходил он гордо и уверенно, как бы отмеривая своими широкими шагами землю Отечества. Мы все подражали ему и вместе с тем боялись. Но где-то в уголочке своего сердца каждый хранил уважение к помкомвзводу Редину. Он был очень требовательным, сам себе не прощал ничего, а нам тем более.

— Красноармеец товарищ Бауржан Момыш-улы, ко мне! — приказал он.

Я подошел к нему, как умел, и представился.

Редин строго посмотрел на меня и, вытянувшись в струнку, приказал:

— Красноармеец товарищ Бауржан Момыш-улы! — Я в свою очередь тоже вытянулся.— Надеть пилотку, как

я! — Я поправил пилотку. — Руки вперед! — Я протянул руки.— Не дрожать. Я вас резать не собираюсь! Ногти подстричь.— Я повторил его приказание.— Заправиться как положено...

Потом он повернул меня «направо», «налево». Раза два или три скомандовал «кррругом!» Приказал пришить пуговицы, постирать носовой платок, почистить сапоги, проколоть на ремне две запасные дырочки и немедленно сменить подворотничок. Я повторил все его приказания. Когда, уходя, повернулся «кругом», видимо, от волнения и обиды чуть качнулся. «Отставить!» — крикнул Редин. Я повернулся к нему.

— Надо поворачиваться «кругом» через левое плечо, на левом каблуке, на правом носке. Вот так.

Редин сделал четкий поворот и, повернувшись лицом ко мне, скомандовал: «Кругом!» Когда я повернулся, на этот раз удачно, и отпечатал несколько строевых шагов, сзади услышал довольный голос Редина:

— Вот так надо отходить от командира. А теперь можете идти вольно, товарищ красноармеец.

Однажды Редин опять позвал меня. Я шел с волнением, готовясь получить очередное замечание. Но нет, помкомвзвода улыбался.

— Садитесь, товарищ Бауржан Момыш-улы,— предложил он и, когда я робко сел с ним рядом, сказал:— Я доволен вашими успехами. Вы в нашем взводе неплохой стрелок. Со строевой подготовкой у вас дела вроде наладились. А вот насчет физической не клеится. Вы отстаете от своих товарищей.

— Я, товарищ помкомвзвода, постараюсь...

— Знаю, что стараетесь. Но дело сейчас не в этом. Я хочу поговорить с вами о другом.

И неожиданно для меня спросил.

— Почему бы вам не идти в снайперы?

— Как же, товарищ помкомвзвода, какой же из меня снайпер выйдет?

— Меня назначили в снайперскую команду. Хотите, будем вместе учиться?

Я с радостью согласился.

Редин был помощником командира снайперской группы. Нам всем от него здорово доставалось. Он стал еще строже и требовательнее. Тренировал нас до обморочного состояния, требуя сочетать скорость с меткостью. За каждую пулю, посланную «за молоком», он переживал, пожалуй, больше нас.

Нашу дивизию инспектировал заместитель Буденного генерал Когосов. Худой, очень щупленький, но с гордой осанкой человек. Красноармейцев он называл «сынками».

— Ты, сынок, не волнуйся. Я приехал не тебя проверять, а твоих командиров. Вот хочу посмотреть, как они тебя учили. Ты покажи все, что умеешь. Ругать тебя не буду, а твоих командиров, если есть за что, пожурю. Семену Михайловичу доложу. А он у нас строгий мужик...

Редин подошел ко мне и почти шепотом сказал:

— Говорят, снайперы пойдут на огневую попарно. Один — наблюдатель, а другой — стрелок. Пойдемте вместе. Я наблюдаю, вы стреляете. Видимо шестое упражнение будем сдавать.

Помощник Когосова с бархатным воротничком (тогда офицеры генерального штаба носили гимнастерки с бархатными воротничками), нажал на головку секундомера и скомандовал:

— Снайперы, помкомвзвода товарищ Редин и красноармеец товарищ Шылымылы, на огневую — бегом марш!

Мы сорвались с исходного положения, побежали, камнем упали на огневой.

— Ориентир два, право куст, перископ!— сказал наблюдатель.

Маленький перископ сливался с зеленым фоном куста. Я выстрелил.

— Влево на два пальца!— крикнул Редин, увидев вспышку пыльцы около куста. Я выстрелил три раза подряд. Перескоп полетел в воздух. Сзади раздался раскатистый смех Когосова.

Снова на несколько секунд показывались и, как во сне, исчезали появляющиеся и движующиеся цели: «связная собака», «наблюдатель», «перебегающий солдат», «пулемет»... Я стрелял и стрелял... Вдруг в небе появился самолет. Он пикировал. Я послал ему навстречу пять пуль.

Опять «связная собака». Значит, я ее первыми двумя выстрелами не поразил. Я выстрелил три раза.

— Поразил! Больше не тратьте времени!— крикнул Редин.— Бейте «артиллерийского наблюдателя», ориентир пять, вправо четыре пальца!

Из блиндажа смотрели на нас рога «стереотрубы». Я выстрелил два раза. После второго выстрела в воздух полетели щепки фанерной бутафории. Опять раскатистый смех Когосова.

— Стой! На исходную — бегом марш!

Мы вскочили и помчались на исходную.

К нам подошел Когосов.

— Сынок,— сказал генерал, похлопывая меня по плечу,— не знаю, сколько целей ты поразил, но ты не стрелок, а автомат. За две минуты — тридцать два выстрела!

После осмотра мишеней оказалось: из тридцати двух выстрелов двадцать два попадания.

— Кто твой командир, сынок? — спросил Когосов.

Я нелепо и фамильярно показал рукой на Редина.

— Спасибо тебе, сынок, за службу. Спасибо, что это ты, видимо, вымучил и выучил такого стрелка, сынок!

Когосов протянул руку Редину.

— Служу трудовому народу!— отчеканил Редин, вытянувшись в струнку.

— Вот так надо учить красноармейца,— сказал генерал.

На обратном пути Редин купил три больших арбуза и угостил ими весь взвод.

Протягивая мне кусок сочного арбуза, он улыбнулся:

— Ну и фамилия же у вас, Баурджан. Этот начальник вас называл «Шылымылы»!

И помкомвзвода громко, весело расхохотался.

На четвертый день Редин с сияющей улыбкой принес мне окружную армейскую газету, где была напечатана корреспонденция «Снайпер Момыш-улы на огневом рубеже».

Осенью Редин и я демобилизовались. Я поехал в родной Казахстан, он — в Поволжье.

Прошло десять лет.

Война была в разгаре. На юге наши войска терпели поражения. Одесса, Крым, Керчь, Ростов-на-Дону, Кавказ, Сальские степи, дальние подступы к Сталинграду...

На нашем участке бои шли с переменными успехами. Мы наступали — немцы контратаковали, немцы наступали — мы шли в контратаки. Как-то мы продвинулись на двадцать пять километров. Потом немцы пустили «тигров», «фердинандов», остановили и отбросили нас километров на пятнадцать назад.

На мой НП приехал командующий армией генерал Чистяков. Я доложил обстановку. Выслушав мой доклад, генерал несколько раз повторил: «Да, да!.. Выходит, он вас побил... Значит, он вам дал по морде? Значит, он вас погнал назад!»

Я растерянно мигал глазами. Генерал горько улыбнулся и мягко спросил:

— Как вы думаете? Немец вас правильно побил?

— Я думаю, товарищ командующий, он нас правильно побил. Артиллерия ведь у нас на конной тяге. Она не успевала за танками и пехотой.

— М-м-м-да!.. Раз вы считаете, что вас немец правильно побил,— тогда уж позвольте по достоинству, как подобает командиру дивизии, поздравить немцев с победой!

Я не знал, что ответить генералу.

— Не огорчайтесь, комдив,— еще мягче сказал генерал.— Я приехал к вам не от хорошей жизни. Вы и ваши люди не виноваты. Я недооценил противника, я не предвидел вот эту штукенцию,— генерал ткнул пальцем в карту на позицию корпусных резервов противника. — Он меня упредил на шесть часов и погнал вас.

Далее генерал, познакомившись с новыми данными о противнике, приказал:

— Держитесь до вечера, а перед рассветом будете контратаковать! Ночью к вам прибудет артиллерийская бригада и два полка самоходной артиллерии, вот и поздравьте немца завтра с утра с победой. Отсалютуйте ему минут сорок, а потом, по его же примеру, дайте ему по морде.

Комиссар дивизии Иван Михайлович Коньковский был добрым и храбрым шестидесятилетним стариком. Он меня удерживал от многих глупостей в моей командирской работе. Когда я горячился, он молчал. Потом подходил ко мне, и мы всегда находили правильное решение.

В полосе нашей дивизии за три дня боев оказались подбитыми с полсотни танков противника. Коньковский, докладывая мне об этом, сказал:

— Спасибо командующему за то, что он нас подкрепил. Все-таки наши солдаты молодцы! Старшину Редина я предлагаю к ордену Ленина представить. На его боевом счету пять немецких танков.

— Кто такой Редин?

— Редин — командир взвода противотанкового артиллерийского дивизиона.

— Иван Михайлович, позовите его ко мне. Я должен с ним познакомиться.

Пришел Редин. Я его не узнал. Он очень постарел. На правой стороне его гимнастерки я увидел шесть знаков ранения, из них четыре тяжелых.

Мой учитель, мой первый командир вытянулся передо мной, приложив руку к фронтовой выгоревшей пилотке. Он был по-прежнему аккуратен и по-фронтовому красив.

— Николай Васильевич! Это вы, Николай Васильевич? Почему вы раньше о себе не дали знать? Николай Васильевич!

Когда я его спросил, почему он так постарел, он улыбнулся и сказал:

— Ведь мы с вами, товарищ полковник, служим Советскому Союзу. Советскому Союзу пока приходится очень трудновато.

При этих словах Коньковский прослезился.

— У меня не хватает совести, Николай Васильевич, послать вас за седьмым ранением,— как-то за ужином сказал я Редину.— Идите пекарем в дивизионную хлебопекарню.

— Вы меня не обижайте, товарищ полковник,— произнес сквозь зубы Редин, сдерживая вспышку гнева.

Он очень разволновался и с нетерпением ждал моего окончательного решения.

Я тоже рассердился и официально приказал:

— Старшина Редин! Идите командовать своим взводом.

— Слушаюсь, товарищ полковник. Благодарю вас, товарищ полковник, за то, что вы разрешили мне вернуться к моим боевым товарищам!

После ухода Редина Коньковский долго упрекал меня за то, что я не умею разговаривать с людьми. Когда я оправдывался, что ничего плохого не желал Редину, а только предложил ему более безопасное место, Коньковский горько улыбнулся и сказал:

— Вот в том-то и беда, товарищ командир! Ты оскорбил честь и самолюбие воина! В том и беда, товарищ комдив...

Я молчал.

...Запищал зуммер телефона.

— Товарищ полковник,— говорил незнакомый мне женский голос,— я врач! Извините, пожалуйста. К нам поступил в очень тяжелом состоянии старшина Редин...

Я немедленно выехал в медсанбат. Николай Васильевич лежал на топчане, осунувшийся, бледный. В палате пахло кровью и хвоей. Он лежал с синеватым оттенком на лице.

Когда я вошел, Редин попытался подняться.

— Бауржан!— обратился он ко мне.— Ты приехал? Вот, как видишь, немцы позвонок перебили... Я даже не могу встать перед своим комдивом!.. Обидно получается, Бауржан. Ты меня прости, пожалуйста...



— Что вы, Николай Васильевич, что вы, дорогой, зачем вставать! Спасибо тебе за учебу; спасибо тебе за службу, Николай Васильевич! Спасибо тебе, дорогой!

Он открыл глаза, протянул мне похолодевшую руку и еле слышно произнес:

— Ты так думаешь?.. Служу Советскому Союзу!— Это были его последние слова.

Я обнял его и зарыдал.

Николай Васильевич Редин, мой первый военный учитель, мой первый командир, скончался.

— Служу Советскому Союзу!— сказал он перед тем, как заснуть навеки.

ЖИЗНЬ НЕ ПОГАСЛА

Мы стояли в Курляндии. Я в то время командовал дивизией.

Прошло две недели, как наши полки расположились отдыхать после жестоких боев. Был яркий весенний день. Земля уже начала зеленеть. Бойцы носили шинели в скатках, военная выправка стала заметней.

Я приказал командирам полков не перегружать людей излишней муштрой, а проводить лишь самые необходимые учения по боевому слаживанию. Предстояли бои, надо было каждому отдохнуть и накопить силы.

Выехав из леса, наша машина соскользнула задними колесами в какую-то яму и забуксовала. Шофер с адъютантом побежали за хворостом, чтоб подложить под колеса. Я вылез из машины и огляделся. С другого конца большой поляны шла рота. За несколько шагов до меня командир роты скомандовал:

— Рота, смирно! Рав-нение на-пра-во!—и доложил, что рота следует со строевых занятий.

Рота прошла чеканным строевым шагом, бойцы выглядели бодрыми. На мое приветствие дружно ответили:

— Здравия желаем, товарищ гвардии полковник!

Я невольно обратил внимание на рослого бойца с желтыми и красными нашивками на груди. Он так старательно выкрикивал приветствие, что сбился с ноги, потом поспешно поправился.

— Хорошо идете, товарищи! Молодцы!

— Служим Советскому Союзу!

Я прошел несколько шагов рядом с командиром роты

в звании капитана и спросил у него про бойца с нашивками.

— Он у нас недавно, товарищ полковник. Воинское звание—старшина.

— Почему же он в общем строю?

— Хотя он и старшина, но по штатной должности—рядовой.

— Пошлите его ко мне.

— Слушаюсь, товарищ полковник!

Через минуту из строя вышел боец с нашивками, растерянно посмотрел вслед уходящей роте, быстро расправил гимнастерку под ремнем и грузно, вразвалку побежал ко мне. Огромный, как медведь, он был плечист и коротконог, одним словом, неладно скроен, да крепко сшит.

Приложив руку к козырьку, он представился:

— Тобарыш квардеи балкоуник, старшина Калиев по башому бызову явился.

— Да вы просто прекрасно говорите по-русски,— рассмеялся я.—Казах?

— Так тошна.

Глядя на его нашивки и на растерянное лицо, я строго спросил.

— Как вас зовут?

Он сделал глотательное движение и, поправив съехавшую набок пряжку ремня, спросил:

— Кто зобет, куда зобет?

— Никто вас никуда не зовет,—я уточнил по-казахски:

— Атың кім? Как ваше имя?

— Мине?

— Да!—Я насчитал шестнадцать нашивок на его гимнастерке, из них шесть желтых — тяжелые ранения.

— Имя мое... — он замялся и нерешительно произнес:

— Андрей.

— Атың кім?—удивленно переспросил я. Он простодушно улыбнулся и сказал по-казахски:

— Я же вам доложил, что меня зовут Андреем.

— Атың кім?—уже в нетерпении повторил я вопрос.

— Андрей.

— Мед в уста твоим почтенным родителям за такое имя!

Он с улыбкой развел руками и сказал:

— Нет, это правда, товарищ полковник... Дети в на-

шей семье долго не задерживались на этом свете, и родители решили назвать меня Андреем, чтобы несчастье заблудилось и остался я жить... Суеверие.

— Зачем тебе глупые приметы?

— Вот и вся правда, товарищ полковник.

Я угостил его папиросой и усомнился вслух: неужто родители его так суеверны?

Старшина в минутном затруднении почесал затылок.

— По-настоящему я был Адильгереем.

Я расхохотался.

— А почему был, а не есть?

— Был Адильгереем, а потом стал Андреем,— засмеялся старшина, и с его лица как рукой сняло прежнюю растерянность,— передо мной стоял простой и добрый малый.

— У вас, товарищ старшина, хорошее, благозвучное, красивое имя... Адиль-Герей. Справедливый Герей,—заметил я.

— Когда меня призывали в армию, писарем в военкомате сидел русский старик, туговатый на ухо. Я сказал, что меня зовут Адильгерей Калиев... А он записал Андрей. Так и пошло.

— Почему не исправили до сих пор?

— Честно говоря, счастливой приметой посчитал,— признался старшина.

— Выходит, на родителей напраслину возвел?— засмеялся я.—Ну ладно, мы с вами еще увидимся. А сейчас можете идти.

— Такие люди, как этот старшина, даже в такой войне попадаются не часто. Как вы думаете, капитан Ложкин? — спросил я адъютанта на обратном пути.

— Да, товарищ полковник. Я был поражен—как живуч человек! После стольких ранений остается в строю.

— И в бою, надо полагать, ни от кого не отстает.

— Крайне удивительный случай.

— По прибытии в штаб, капитан, вызовите мне полковника медсанслужбы Шапошникова.

— Вы думаете, что нашивки о ранении могут быть фальшивыми?

— На войне всякое бывает... Может, по простоте душевной позавидовал другим да и себя разукрасил. Впрочем, любопытно, что он сам скажет, лучше вызовите его самого ко мне вечером, а полковника Шапошникова— потом.

Со словами «Разрешите, тобарыш балкоуник!»—вошел в блиндаж Адильгерей.

— А-а! Проходите, аксакал,— сказал я, встав с места и указывая ему на стул в переднем углу.

Старшина в растерянности опустился на стул, жалобно скрипнувший под ним.

— Капитан Ложкин, принесите гостю табурет, да попрочнее!—крикнул я адъютанту.

Старшина смутился и неловко поднялся.

Мы разговорились. Адильгерей знал свою родословную. Он был старше меня на двенадцать лет. До войны в армии не служил. Родом из нефтяных районов Эмбы. Отец умер рано. Мать работала в пекарне.

Подали ужин. Адильгерей встал, собираясь уйти. На мое предложение поужинать вместе ответил:

— Наш старшина всегда оставляет ужин тем, кто в отлучке.

— Ваш ужин не пропадет,—заметил капитан Ложкин,—поужинайте с комдивом.

Я предложил Адильгерею сесть.

Когда капитан Ложкин поставил и перед ним рюмку водки, Адильгерей, не зная куда девать свои большие руки, сказал:

— Я не пьет.

— Вообще или перед начальством?—спросил я.

— Это питье не употребляли наши предки,— ответил он по-казахски.

Тогда и я отодвинул свою рюмку в сторону. Ложкин убрал водку со стола.

За ужином я рассказал Адильгерею свою родословную, все, что знал, чуть ли не от Адама и Евы и до своего сына Бахытжана, приправляя рассказ историческими эпизодами.

Адильгерей, увлеченный рассказом, восклицал: «О святые предки!.. Вот откуда берется-то мудрость!»

Сам Адильгерей принадлежал к роду Берше из Младшего жуза (у казахов три крупных племенных союза: Старший жуз, Средний жуз и Младший жуз).

— О старшина, вы из знаменитого воинственного рода! — воскликнул я. — Вы соплеменник вождя крестьянского восстания прошлого века Исатая Тайманова из Букеевской Орды.

— Это имя я слышал, но о нем ничего не знаю,— признался Адильгерей.

Я рассказал о Младшем жузе, что знал, о Букеевской

Орде, о восстании Каип Гали и Исатая Тайманова и прочел ему некоторые стихи друга и боевого соратника Исатая— Махамбета Утемисова.

Адильгерей слушал меня сосредоточенно. В глазах его светилось доверчивое расположение. Ему понравились боевые стихи Махамбета. А когда я прочел строки Махамбета, оплакивающего гибель Исатая, Адильгерей прерывисто вздохнул:

— Вот на самом деле боевой друг был...

Потом я прочел упрек Махамбета хану, предавшему Исатая царским властям. Адильгерею понравились смелость и резкость стиха, и он, шлепнув ладонью по колену, воскликнул:

— Шоқпардан жығылған тұрады, сөзден жығылған тұрмайды!

Что верно, то верно: «выбитый из седла поднимется, пронзенный острым словом вовек не оправится».

Он пил много чаю, потел, вытирал лицо и шею большим цветным платком.

— Аксакал, вы рассказали свою родословную. Расскажите теперь о своих шестнадцати ранениях.

— Очень долго рассказывать.

— Я вас пригласил как раз для такой беседы. Не стесняйтесь. Угощайтесь и рассказывайте.

И старшина начал рассказывать, но не о ранениях — опять о семье.

— Сам я женился поздно. Жена — дочь рабочего. Осталась беременной, когда я уезжал на фронт.

— Надеюсь, она благополучно родила?

— Не знаю. На фронте я переменил немало частей. Номер полевой почты менялся, я так и не мог написать домой...

— Та-ак, значит, связи с домом нет?

— Выходит так.

— И все-таки плохо, что вы до сих пор не написали родным.

— Э-э, родной балкоуник,—старшина приподнялся,— золотой балкоуник,—попытался поправиться он и вконец запутался,— командир, жолдас... тобарыш балкоуник. — Он даже вспотел от своей оплошности.

— Ничего страшного,— я засмеялся. — Только чтобы никто больше не слышал, как вы меня «золотым-серебряным» называли...

— Ну, ладно, дай бог вам здоровья, вы еще долго послужите в нашей дивизии.

Мы распрощались, меня ждали срочные дела: я не настаивал на рассказе о ранениях.

Наутро меня вызвали на военный совет. Прежде чем сесть в машину, я вызвал начсандива.

Полковник Шапошников был выдержанный, уважаемый всеми опытный врач. Я попросил его основательно проверить и подтвердить соответствующими документами ранения Адильгерея. Шапошников попросил разрешения взять его дней на десять в медсанбат, чтобы показать специалистам.

— Если появится необходимость, затребуем справки из госпиталей, где он находился на излечении.

— Хорошо, так и сделайте, доктор.

Через несколько дней начсандив явился ко мне с докладом.

— Я был потрясен, товарищ комдив!—начал Шапошников. — Насколько живуч человек! Мы проверили все документы, проверили старшину под рентгеном. В теле обнаружили пулю и осколок.

— И нельзя их извлечь?

— Отчего же, можно. Только класть на операцию придется. Но сейчас раны зарубцевались, и вряд ли есть необходимость вскрывать их.

— Что еще обнаружили?

— Дважды ранен в ногу с повреждением кости. Но операции проведены хорошо и своевременно. Могли бы и ампутировать. Удалена почка....

— Как же он без почки?

— Человек может жить и с одной почкой. Вторая у него в порядке. После ранения легкого во время операции ему удалили два ребра. Дважды ранен в живот. Остальные ранения сравнительно легкие. Все документы в порядке, в этом отношении он человек аккуратный. Вот документы.

— Благодарю вас, доктор.

И в этот момент зашел вызванный мною Адильгерей. Лицо его говорило о том, что он оскорблен до глубины души. Вызовы, расспросы, медицинские осмотры, рентгеновские снимки, проверка документов, видимо, больно задели его самолюбие. Не было и следа той растерянности, которую я видел при нашей первой встрече. Он презирал и мой блиндаж, и меня, и доктора, и адъютанта. На мое приглашение сесть он что-то глухо пробормотал, продолжая смотреть на справки, лежащие передо мной. Потом он перевел взгляд на меня.

В своей командирской жизни я испытывал на себе немало настороженных солдатских глаз как в мирное время, так и в боевой обстановке. Но такого молчаливого негодования, пожалуй, еще не видел.

В боевой обстановке солдат нередко сбрасывает с себя маску беспрекословного повиновения и смотрит на командира оценивающими глазами, дескать, помолчи, посмотрим, какой ты командир... Я отвечал на эти взгляды прямо: «За мной в огонь и в воду! Вместе победим или вместе погибнем!» Я старался, как и многие мои товарищи, оставаться офицером ближнего боя и солдатом переднего края.

Солдат—самый маленький чин, но он часто способен делать верные выводы о большом командире, особенно, если в бою хоть раз побывает рядом.

На фронте солдат искренен. С одними он тактично короток, преданно покорен, с другими ведет себя вызывающе. Он может смотреть на командира, как влюбленная с первого взгляда женщина,—выражать вам свое «верю вам», или же отвергать вас, подчиняясь лишь в силу воинского долга. Калиев сейчас отвергал меня.

— Отырыңыз, азамат!—предложил я ему.—Садитесь, мужественный!—Он нехотя грузно опустился на табурет, снял пилотку и вытер обильный пот со лба цветастым большим платком.

— Возьмите ваши справки,—я протянул ему пачку бумаг.—Я их внимательно прочел... Хорошо, что вы их сберегли при себе.

У него задрожали руки, когда он начал считать их.

— Успокойтесь, азамат! Не забывайте—перед вами ваш комдив!

— Товарищ полковник,—капитан Ложкин глянул на меня умоляюще.

— Солдат должен уметь вести себя перед командиром дивизии!

— Но, он же... взволнован.

— У меня тоже есть нервы!

Калиев, казалось, не обращал внимания на мой резкий тон. Он перелистал справки, некоторые из них разгладил, потом вынул из кармана книжечку в потрепанной обложке и аккуратно вложил справки, отстегнул левый карман гимнастерки и все спрятал туда. Надев пилотку, он стал навытяжку и посмотрел мне в глаза.

— Садитесь, пожалуйста.

Старшина сел.

— Капитан Ложкин! Прикажите подать нам чаю!

— Ну что, азамат, документы в сейфе? — улыбаясь, спросил я его за чаем.

— А что такое сейф?

— Стальной сундук, где хранятся самые что ни на есть драгоценности. В таком сундуке ничто не пропадет, даже если поджечь:

— Тогда мой сейф здесь, товарищ полковник,— он по-восточному молитвенно приложил правую руку к груди.

— Вы коммунист?

— Пока в кандидатах.

— Для настоящего воина в наши дни от кандидата до члена партии расстояние как от бровей до ресниц.

— Да, это верно, товарищ полковник, война все сроки сокращает... Был у меня друг,—продолжал он, как бы разговаривая сам с собой.—Смело бросался в атаку...

— Вы о ком?

— Был у меня друг Николай Соколов,— повторил Адильгерей.—В бою мы с ним локоть от локтя не отрывали. Он был мне брат... Под Курском я попал в его отделение. Прихожу, он сразу заговорил со мной по-казахски. Не коверкал слова, а по-настоящему, по-нашенскому. У него лицо было русским, а язык казахским. Меня он всегда аксакалом называл. Я на десять лет старше. По его примеру все отделение тоже стало звать меня аксакалом. Забыли мое имя, мою фамилию.—Он тихо засмеялся.

— Да, это почетно.

— Через месяц сержант погиб, а сам я попал в госпиталь.

— Раскажите, как погиб Соколов?

— Очень просто... Преследуя противника, мы дошли до одной деревни. Соколов командовал, кому какой дом осмотреть, и вдруг камнем упал посредине улицы. Я подбежал к нему, начал поднимать голову, следующая пуля попала мне в плечо. Соколову—в лоб. Оказывается, один фашист стрелял по нас с чердака. Его взяли в плен, отправили в штаб. Перевязав свою рану, я с двумя деревенскими парнями вырыл могилу на сельском кладбище, из досок сколотили гроб и похоронили Колю Соколова. Один из парней смастерил крест. Я пошел к речушке, набрал щебня и выложил па могиле пятиконечную звезду, а на кресте химическим карандашом написал: «Здесь сержант Николай Соколов из Казахстана». Сказал: «Жатқан же-

рің торқа болсын, ерім» — пусть земля тебе будет пухом,— и пошел искать медпункт.

В землянку вошел мой заместитель, Герой Советского Союза полковник Ляпин, Адильгерей быстро встал.

— Сидите, сидите, товарищ старшина,—сказал Ляпин по-казахски.

Приветливый вид Ляпина, его казахская речь расположили старшину к разговору.

— Мы стояли под Ережепом в абыройне,—начал он и смолк, видя, что мы с Ляпиным недоуменно переглянулись.

— Ережеп—это город,—пояснил старшина.

Ляпин расхохотался.

— Да ведь «Ережеп»—это Ржев. А «абыройна», по всей вероятности, «оборона».

Мы не сразу привыкли к языку Адильгерея. В речи старшины встречались в дальнейшем такие слова, как «арпатка», что означало артподготовку, «корсимис»— горячую смесь, «биотанкыбай ружие»—противотанковое ружье, «урлыбатор»—регулятор.

Вот его рассказы о ранениях:

«Нас обучали недолго. Уже через двадцать дней в Актюбинске погрузили в эшелон. В бой вступили сразу после высадки.

После одной из атак нашему взводу приказали вернуться. Иду я и слышу, как кто-то зовет меня: «Комрад! Комрад!» Вижу—лежит раненый немец, молодой парень. Я спросил руками, куда он ранен, показываю на свои руки, ноги. Он понял и показал сначала на бедро, потом на лежащий в стороне автомат, приставил ко лбу палец и как бы спустил курок—мол, прикончи меня. «Хотя он и враг, а все же человек»,—подумал я, взял его автомат, взвалил раненого на спину. Пока я нес его, шальная пуля попала мне в ногу. Ребята во взводе встретили меня смехом: «Мы думали, ты своего несешь, а ты фрицем загрузился». Потом подошли санитары и унесли немца на носилках. Я добрался в санчасть сам, и там благополучно извлекли пулю.

В другой раз мы целый день вели бой. Перед вечером я вдруг почувствовал сильный толчок в затылок, сильно закружилась голова. Упал, а когда очнулся, была уже ночь. «Я убит»,— подумал я, но тут же понял, что мертвые не могут думать. Попробовал пошевелиться — страш-

ная боль в затылке, как будто в мозг впились тысячи иголок. В госпитале только через месяц разрешили встать на ноги.

Мы шли в атаку, я кричал «ура», когда меня швырнуло на землю. Хотел сгоряча вскочить, но чувствую — правая нога не держит. А боль, будто ногу живьем отпиливают. Я не выдержал, закричал... Опять в госпиталь на три месяца.

Один раз в плен попал. Наш взвод, наступая, оторвался от своих и оказался в окружении. Больше половины наших полегло. Здоровенный немецкий офицер выстроил нас и, шагая вдоль строя, дал каждому пощечину. Потом расстрелял уцелевшего лейтенанта и сержанта-грузина, которого принял за еврея. Остальных запер в сарае.

Вечером четверо конвоиров погнали нас по дороге. Один русский парень сильно хромал. Хоть и перевязали ему ногу, но ему тяжело было поспевать за всеми. Мы поддерживали его с двух сторон, но все равно мы стали отставать. Тогда замыкающий конвоир вскинул автомат и выстрелил прямо в лоб раненому, а нас прикладом загнал в середину колонны. Темно. Идем по проселочной дороге. Когда перешагивали через какой-то арык, я незаметно плюхнулся в него и вытянулся во весь рост. Товарищи шагали через меня, как бы не замечая. Прошли, тишина. Я потихоньку пополз и поднялся только возле леса. Выломал сухую дубину, набрел на стог, зарылся в сено и уснул. Проснулся в полдень. Вижу — рядом речка, неширокая, но с крутым берегом. Свернув шинель в скатку, подобрался к воде, только успел напиться, и вдруг «фьюить-фьюить» — просвистели пули. Я бросился в воду, нырнул. Только вынырнул, как вода вокруг вскипела от пуль. Возле берега ухватился за какую-то корягу. Чувствую — опять ногу зацепило, бедро... Из госпиталя выписался через два месяца.

С последним ранением пролежал в госпитале особенно долго. Но к тому времени успел провоевать два года.

Заняли мы оборону. Земля попалась мягкая, окопались довольно быстро. По сравнению с прошлыми годами на передовой стало больше пушек, пулеметов.

В беспрерывных боях мы ели наспех, давясь... Убей меня бог, если я помню, что мы тогда ели!..

Конечно, в ауле я расскажу подробней, со всеми страхами, с кровью. Вам же я рассказываю главное. Ведь вы все видели в этой войне. Солдат отвечает только за свои действия, один приходит, другой уходит, а вы, командиры, всегда, как говорят, верхом на коне, а сами — под грузом думы. От вас мы видим не только строгость, но и заботу. Солдату нужна справедливость командира, добротное обмундирование, исправное оружие, ясный приказ. Все это зависит от командира. Конечно, и на руке не все пальцы одинаковы, есть и среди солдат и среди офицеров разные люди... На позиции нашего взвода выдвинули пушку. Мы всем взводом помогали соорудить для нее насыпь. Командовал смуглый высокий казах. Расчет его называл «товарищ сержант».

На рассвете немец обрушил на нас ураган мин и снарядов. Поднялся страшный грохот. Земля взлетала к небу, как густой черный дым.

Когда ранили подносчика снарядов, взводный послал на его место меня. По приказу сержанта я принес два ящика и поставил на дно траншеи. В одном были бронебойные снаряды с острым носом, в другом — тупорылая шрапнель.

Впереди на бугорке появился танк. Сначала выползла часть башни, а затем и вся она со стволом пушки. Сержант скомандовал. Я передал бронебойный снаряд заряжающему и приготовил второй. Стою на коленях. Танк уже виден весь. Сержант скомандовал: «Огонь!», наводчик дернул за шнур. Дрогнула земля. Я сразу подал второй снаряд, взял третий. Сержант командует, мы стреляем. Посмотрел я вперед — танк окутался черным дымом. «Картош!» — крикнул сержант.

Я подал снаряд из второго ящика. Стреляли с передышками. Немцы валились, как подкошенные. Да и как же иначе — огонь вели десятки орудий, сотни пулеметов, тысячи винтовок...

Над нами проносились штурмовики, стреляли, бросали бомбы. Мы, как летучие мыши, прилепились к стенам окопов. Заряжающий, средних лет рыжий ефрейтор, свалился на дно траншеи. Когда я приподнял его голову, он был уже мертв. Я отнес его к ящикам.

Атака была отбита. Место наводчика занял сам сержант. Вдруг что-то грохнуло в моих ушах, и я скатился под насыпь...

Открыл глаза: ночь, на небе тучи, вокруг тишина. Голова гудит, уши, кажется, залеплены воском, не могу двинуться. Еле поднял правую руку, ощупал себя. Левая рука перевязана, грудь перевязана, лежу, словно в пеленках, и укачивает меня, как в люльке.

«Ой-бой!» — сказал я и не услышал своего голоса. Крикнул: «Эй!» — и тоже ничего не услышал. Повернул голову, чтобы посмотреть, кто меня несет, и сразу боль сдавила затылок, затошнило. Очнулся уже в палате.

Ах, какие у нас хорошие врачи. Скольких они вырвали из лап смерти! Но привозят тебя к ним без сознания, и бывает, не узнаешь потом, кто тебя спас»,— с печалью в голосе закончил Адильгерей.

Бойцы на фронте редко жалуются. Не нарушил этого правила и Адильгерей. Мы попросили его рассказать, как он стал старшиной.

«В госпитале, чуть станет лучше, я всегда искал какое-нибудь дело. Подметал двор, помогал сестрам переносить на носилках тяжелораненых, колол дрова, словом, делал все посильное. Однажды пролежал я больше трех месяцев в госпитале в Таражаке (Торжке). Стояла холодная осень. Выздоравливающие заготовляли в лесу дрова. Начальник выделил команду из семнадцати человек и, видя, что тяжелую работу я еще не могу выполнять, сказал мне: «Будешь за старшего». Бойцы меня знали — ведь все вместе лечились. Так и стали мы ходить на заготовку. Потом, когда нас отправили в «маржабую» (маршевую) роту, меня снова назначили старшим. С тех пор и стал я старшиной».

— А приказ о присвоении вам этого воинского звания есть?

— Откуда мне знать? Может и есть...

— Выходит, самозванец,— буркнул я по-русски.

Ляпин вступился.

— Как же, товарищ полковник, он возглавлял команду, как старшина вел группу маршевой роты.

— Не как старшина, а как старший.

— Теперь придется узаконить его звание, товарищ полковник. Он этого заслуживает.

Адильгерей почувствовал что-то неладное, помрачнел. Я объяснил ему по-казахски, что любое звание присваивается приказом, причем сначала надо получить ефрейтора, затем младшего сержанта, сержанта, старшего сержанта, а потом уже старшину.

— Откуда мне знать? Они же сами меня старшиной называли...

После его ухода мы с заместителем договорились все-таки присвоить Адильгерею звание.

Через неделю Адильгерей законно получил звание старшины. А еще через несколько дней я прибыл в расположение роты, где служил новоиспеченный старшина, вместе с майором Мазуриным, офицером штаба дивизии.

На поляне возле шалашей нас встретил выстроенный батальон.

Когда наша машина приблизилась, высокий, смуглый подполковник Ужвак подошел ко мне с рапортом. Приняв рапорт, я поздоровался и подал команду «вольно».

— Гвардии старшина Калиев Адильгерей, ко мне!— приказал я.

Бойцы повернули головы на правый фланг, откуда вперевалку вышел из строя старшина. Он кое-как справился—отрапортовал мне по-русски. Я ответил ему по-казахски: «Встаньте рядом со мной... в двух шагах».

— Товарищи! Перед вами стоит старшина Калиев, ваш боевой товарищ. Доказательства его доблести и мужества вы видите на его груди. Это знаки шестнадцати ранений. Калиев недавно в нашей дивизии. В последних боях он участвовал вместе с нами... Среди нас немало воинов, знающих, что такое ранения—тяжелые и легкие. Калиев был ранен шестнадцать раз. Он выжил — и снова в строю, снова готов идти в бой. Однако до сих пор на его долю выпадали только пули да осколки снарядов, а награды не было. Он не думал о наградах. Сейчас старшина Калиев находится в ваших гвардейских рядах. Майор Мазурин! Прикрепите гвардейский знак к груди Адильгерея Калиева.

Пока майор прикреплял значок, батальон аплодировал.

— От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю старшину Адильгерея Калиева медалью «За боевые заслуги»!

Снова раздались аплодисменты. Затем я объявил о награждении старшины медалью «За отвагу», орденом Славы и орденом Красной Звезды. Майор Мазурин тут же вручил награды.

— А теперь, старшина, разрешите поздравить вас с высокими правительственными наградами!— Я пожал ему руку.



Лицо Адильгерея искривилось, я видел, что у него вот-вот покажутся слезы.

— Не сметь! — сказал я по-казахски.— Стыдно!

— Что мне делать... я не знаю, что делать... забыл!

— Скажите громко: «Служу Советскому Союзу!»

Повернувшись лицом к строю, Адильгерей крикнул:

— Исслужим Советской Союзом!

В мае 1965 года я получил от Адильгерея Калиева толстый пакет, в котором он писал о своем житье-бытье. Но это уже тема другого рассказа.

Июль, 1966 г.
Малеевка.

ЗЕЛЕНЫЙ БУГОРОК

29 сентября 1942 года. Утро.

Теснимые восточным ветром, заслоняя клочьями верблюжьей шерсти небо, темные тучи колонна за колонной двигались на восток.

Внезапно ветер стих, и холодные дожди обильно пролились на землю, и ложбинами потекли реки.

Если в степи дождь идет один раз, то в лесу — дважды. В лесу воина поливает и второй дождь — с листьев и веток на бойца обрушивается масса крупных дождевых капель.

Но нет для него ни дождя, ни ветра, он стоит, крепко держа винтовку наготове, не отводя глаз от вражеской стороны.

Покрывшему мраком солнце,
Дождливому дню проклятому,
Зною, пронзающему насквозь,
Ветру проклятому,
Осени проклятой, сделавшей бархатную,
волнистую зелень желтой,
Не сдался он...

Его, сохранившего гордую осанку, спрашиваю:

— Ну как, батыр, промок под дождем?

— Что же сделает он со мной?.. Привычно... Этот дождь не только на меня, видно, и на голову немца льется,— отвечает он.

Я шагнул вперед.

Он — «Стойте!» — крикнул, вскинул винтовку, выстрелил и дал мне знак залечь. Не отрывая глаз от направления выстрела: «Еще одного не вижу,— прошептал он.— Будьте осторожны!» — и, вторично вскинув винтовку, выстрелил.

Вижу, невдалеке маленький зеленый бугорок дважды перевернулся и замер, раскинув руки.

По мокрой траве и грязи он пополз по-пластунски к нему и вернулся с документами врага. Кратко сказал, что два часа они охотились друг за другом.

Я пристально посмотрел на него и протянул портсигар.

Он, не глядя, взял папиросу, заложил ее за ухо и, сжав винтовку, продолжал стоять в той же выжидательной позе, устремленной в сторону врага.

В нем я видел образ зоркого, меткого, мужественного казаха-джигита.

Его облик подсказывал мне, что этот воин без промедления готов в любую минуту погрузиться в ледяную топь болот, броситься в огонь пожарищ, полный сознания своего воинского долга.

Я верил ему.

На мой вопрос: «Ты Тураров Тургара?» — он утвердительно кивнул головой. Этот безмолвный ответ говорил о врожденной скромности рядового бойца.

Таких, как он, тысячи.

МУЗЕЙ-АПА

Дети любят давать прозвища.

Возможно, читатели моей книги «Наша семья» запомнили мою старшую сестру Убианну... Сейчас ей за шестьдесят. Но уже двадцать лет, как среди наших родственников и стар и млад называют ее не иначе, как Музей-апа.

Вот откуда это пошло.

Сын мой, Бахытжан, был в музее и там увидел убранство юрты и манекен — старуха в национальном костюме с коричневым лицом, оттененным белоснежным тюрбаном, сидит на корточках перед самоваром. Она была настолько натуральной, что казалось — возьмется сейчас рукой за поясницу, не спеша встанет, и тут же добрая улыбка осветит ее смуглое, «бабушкино», лицо...

Вернувшись домой, сын увидел сидящую на почетном

месте Убианну в кипенно-белом головном уборе, кимешеке, с пышным капюшоном — кундиком.

Бахытжан отозвал мать в гостиную:

— Мама, я только что видел эту апа в музее. Как ей удалось раньше нас попасть домой?

Мать решила подкрепить эту иллюзию сына:

— Да, ты прав. Апа пришла из музея. Она целый день просидела там, чтобы ее видели ребятишки. Теперь она пришла домой и отдыхает. Она — родная сестра твоего папы.

— А если я подойду к Музей-апа, она не будет ругать меня?

— Нет, она добрая.

Убианна взяла Бахытжана на колени, приласкала, и мальчик не отходил от нее ни на шаг. Она накупила ему игрушек, водила гулять по городу... Но с тех пор Убианну стали называть Музей-апа.

В годы войны Музей-апа овдовела, оставшись с шестью маленькими детьми. Немало трудностей выпало на ее долю и тогда, и в первые послевоенные годы. На помощь пришли колхоз, родственники. Стала работать и сама Убианна, изо всех сил стараясь скрыть от детей страшное лицо нужды. Но она нет-нет да и заглянет в двери своими впалыми глазницами. И все же Музей-апа вырастила детей.

Старший, Сапарбай, после демобилизации стал работать учителем в колхозе. У него трое детей. Вернулся из армии и Усен. Сейчас он передовой механизатор в родном ауле, у него двое детей. Июньбай, третий ее сын, работает в Темиртау, ударник производства. Есть и у него сын. А остальные дети Убианны — студенты.

Двух невесток Музей-апа приняла в дом по старому казахскому обычаю.

— Пока я жива, не позволю отделяться. Будем жить вместе,— сказала она сыновьям и стала сама воспитывать внучат, следя, чтобы невестки жили в мире. Хозяйством управляла тоже сама.

Когда Музей-апа уезжала к родственникам погостить, в доме становилось пусто и неуютно. Сыновья и невестки переглядывались растерянно, им казалось, что без нее все они делают не так, как надо. Глядишь, дети ходят неумытые, не пропололи вовремя огород. И то один, то другой бросит взгляд на дорогу в надежде увидеть белый кимешек матери.

Но бывает, что дети не всегда следуют указаниям Му-

зей-апа. Это задевает ее самолюбие, и она находит какую-нибудь причину, чтобы уехать. Но не выдерживает долгой разлуки материнское сердце. «Жизнь матери проходит в молитвах о детях» — говорят в народе.

Сидит старуха за чаем и вдруг заторопится: «Как там дети? Что-то неспокойно на сердце! Загостилась я у вас, дорогие родичи. Спасибо за хлеб-соль, поеду домой».

Музей-апа любит одеваться красиво и носит свои наряды не без щегольства. Одежду она предпочитает просторную и всегда чистую. Она отдает должное и новейшим достижениям химии: поверх кундика наворачивает копну легкого, белого синтетического материала. На ногах у нее лаковые ичиги и блестящие калоши. На запястьях звенят браслеты, пальцы украшены кольцами. Выпущенный поверх бархатного камзола край кимешека спадает почти до пят. Ходит она неторопливо, царственно.

— Наша Музей-апа представляет стиляг средневековья,— сказал однажды Бахытжан.

Грамоты Музей-апа не знает. Было бы большим преувеличением сказать, что она хорошо знает русский язык. Но, если появляется необходимость поговорить по-русски, Музей-апа обходится без переводчика.

Как-то заболел ее сын, учитель, и Музей-апа пришлось по доверенности получать за него зарплату. Молодые педагоги, увидев ее возле кассира, стали пересмеиваться, дескать, вот еще объявилась новая учительница. Музей-апа сразу поняла, что оказалась в центре внимания.

— Вы учительница?— спросил наконец один молодой человек.

Музей-апа важно кивнула головой.

— А в каких классах вы преподаете?

— Семой класс,— не колеблясь, ответила она.

Наступила пауза. Наконец одна молоденькая учительница не выдержала:

— Все-таки странно. Вы ведете седьмой класс и вдруг... этот наряд. Тюрбан на голове. Вы бы носили шляпку, как мы. Жарко ведь...

По ее жестикуляции и двум-трем знакомым словам Музей-апа поняла учительницу и разгневалась. «Пустая девчонка!»—сказал она про себя и с минуту помолчала, обдумывая ответ и делая вид, что пересчитывает деньги. Потом она повернулась к молодой учительнице:

— Шляпа не работаит, голова работаит. Материал не мешаит,— и с этими словами степенно вышла.

Музей-апа строго блюдет старые казахские обычаи и в то же время понимает, что надо приветствовать и принимать новое, но только хорошее, так же как оставлять из старого полезное. Она, к примеру, сторонница приданого.

— Слава аллаху! Люди сейчас живут богато. Все трудятся! Если ты жалеешь для дочери добра, так отдай ей то, что она сама заработала. Думаешь, легко ей улететь из родного гнездышка? Не обижай родное дитя. Сделай той — сыграй свадьбу. Пусть едет радостной, без горечи в сердце,— говорит она тем родителям, которые скупятся.— Пять пальцев на одной руке не одинаковы. Так и люди. У одного добра больше, у другого меньше. Раз у человека есть друзья, родичи, то он всегда может надеяться на помощь.

Ее девиз: «Все дни проводи в труде».

Есть у нее завидное умение обращать труд в радость. Все лето возится она с внучатами на огороде, показывает малышам сорные травы, рассказывает легенду о злом колдуне, превратившемся в чертополох, чтобы задушить красавицу морковь, учит детей выпалывать чисто, выдирать сорняк.

— Все мы сегодня работали. Давайте отдохнем,—говорит затем Музей-апа.— Показывайте, кто сколько прополол.

Затем она садится на ковре в тени дома и кормит своих «трудяг», рассказывает им сказки. Потом на кухне громко объявляет:

— А вот эту морковку Сауле вырастила!

Так заведует Музей-апа своим «детсадом».

После окончания десятилетки Июньбай решил ехать в Темиртау.

— У каждого свой путь. Только тяжело, что не будет тебя перед моими глазами,— вздохнула Музей-апа.

Через год Июньбай приехал в отпуск. Встречать его вышла вся большая дружная семья.

Он сошел с поезда с двумя чемоданами в руках. Мать прижала его к себе, шепча ласковые слова и пряча на широкой груди сына невольные слезы. Июньбая окружили братья, здороваются, обнимаются. О чемоданах забыли. Посмотрела в ту сторону Музей-апа, а рядом с вещами стоит девушка, высокая, с продолговатым лицом и небесно-си-

ними глазами. «Стоит русская девушка и любуется радостной встречей»,—подумала Музей-апа.

— Ну, хватит,— сказала мать,— пора в путь,— и, не оглядываясь, пошла вперед. Сыновья почтительно держались сзади. Когда мать оглянулась, снова увидела девушку рядом с Июньбаем.

— Эй! Июньбай! Кто это рядом с тобой?

— Невестка ваша, апа,—тихо сказал Июньбай и жалобно посмотрел на мать, затем на жену.

— Ах, вот как!—обожгла его яростным взглядом Музей-апа.

— Апа! Апатай! Не гневайтесь...

— Нишаво! — отрезала мать и, не совладав с собой, повернулась к невестке.— Нишаво!— повторила она, оглядывая молодую женщину с ног до головы.

Невестка стояла пунцовая от волнения и стыда, не отрывая взгляда от земли.

— Эй, жениться ты сумел, а научить бедняжку здороваться со старшими не сумел?— снова повысила голос Музей-апа.

— Она научится еще, апа.

— Детей нужно учить с самого рождения, жену — с самой свадьбы. Нишаво!— резко продолжала Музей-апа и, повернувшись к снохе, постучала себя по груди.— Моя Июньбай мамошка. Ти, пожалюста, Июньбай жопке... Это хорошо.

— Спасибо, апа, что нашли для нее теплое слово,— сказал один из братьев.

— Это все — Июньбай брат,— она широким жестом обвела вокруг, показывая на джигитов.— Айда домой! Там много мальшик, дебышка, женчина, старик много,— голос ее задрожал, и она, отвернувшись, пошла вперед, вытирая глаза краем кимешека.

— Мы научились у русских ремеслам, грамоте, сдружились со многими из них... теперь вот породнились. Июньбай мой привел в дом русскую келин.[1] Не обижайте ее,— сказала Музей-апа собравшимся аульчанам и добавила тихо: — Любите ее...

— Поздравляем тебя с новой невесткой, почтенная! Да не покинет счастье порога твоего дома!

— Две мои невестки — казашки. Я счастлива, что до-

[1] Келин — невестка.

велось мне целовать внуков. Надеюсь я поцеловать и будущего внука, полурусского, полуказаха. Да будет на то воля аллаха! Пусть детям сопутствует счастье! Пусть они всегда будут здоровы!.. Но обидно мне, что не посоветовался со мной сын, не сообщил заранее,— и снова слезы навернулись на ее глаза.

— Не решился раньше...

— Судьба у него такая...

— Привел же он ее к тебе. Благослови их, уважаемая!— говорили собравшиеся.

Всю неделю гостили Июньбай и Зоя в ауле, веселились с молодежью. Как-то раз позвала Зоя мужа:

— Котик!

— Киска!—отозвался тот.

— Что такое «котик»?— спросила мать.

— Это она так меня называет, апа.

— Э-э-э, что у тебя имени нет?

— Это между нами так...

— Эй, Зоя!—повернулась Музей-апа к невестке.—Котык не нада. Июньбай надо.

Затем она посмотрела на сына:

— Кеска тоже не надо. Зоя, Зейнеп надо.

...Гордая старуха устроила большой той. Она не хотела, чтобы потом в ауле говорили, что она невзлюбила русскую невестку и потому обидела сына.

Через неделю Июньбай с Зоей уехал в Темиртау, а еще через полгода пришло известие, что родился у них сын — Аскар.

— Как они там присматривают за своим первенцем? Станут купать да простудят еще,— забеспокоилась старуха, набрала подарков, взяла с собой свою внучку Сауле и, несмотря на долгую дорогу и трескучие морозы, выехала в Темиртау.

Кто-то настойчиво звонил у двери. Дома никого не было, я оторвался от бумаг, пошел открывать. На площадке стояла неряшливо одетая Музей-апа, держа за руку внучку.

— Входите, входите,— сказал я и внес в комнату их вещи.

Брови Музей-апы нахмурены, лицо суровое, кундик намотан как попало. От «средневековой стиляги» не осталось и следа.

«Старуха не в духе,— подумал я,— не буду раздражать ее расспросами».

Я поставил чайник, наполнил ванну, прибрал бумаги,

постелил в кабинете ковер и одеяла, бросил две-три подушки.

— Ванну примете до чая или после?

— Я провела беспокойный, хлопотливый месяц, и мне кажется, что все тело у меня коркой покрыто. А тут еще беду на свою голову навязала,— ткнула она пальцем в Сауле.

— Да-а, я же вам не мешала. Я сама играла,— обиделась девочка.

— Молчи! Играла она. Несчастье сопливое!—в сердцах перебила старуха, затем обратилась ко мне:— Пускай воду, чего стоишь? Я хочу вымыться.

Она прошла было в кабинет, но на пороге остановилась:

— Ты дочь Сапарбая и Кунтай, а мне ты седьмая вода на киселе.

— Когда бабушка сердится, ты молчи. Соглашайся с ней во всем,— успел я шепнуть девочке.

Через минуту из ванны раздался голос:

— Сауле! Иди сюда, золотце мое! Выкупаю тебя.

За чаем Сауле сидела веселая. Бабушка истово наслаждалась чаем, но лицо ее оставалось хмурым.

— Апа,— сказал вдруг Сауле,—а у вас тоже была дочь.

— Да. Была. Она меня не слушалась, вот я ее убила и закопала в землю.

Я прыснул.

— Ты чего смеешься!—прикрикнула на меня сестра и встала из-за стола.— Пойду в ту комнату, отдохну, эта девчонка всю ночь спать не давала.

Я собрал девочке игрушки, нашел какую-то куклу. Сауле устроилась в уголке и погрузилась в свой сказочный мир.

Я просматривал газеты. Вдруг Сауле позвала:

— Ата.

— Что, маленькая?

— Что такое «седьмая вода на киселе»?

— Это значит родной человек.

— Почему же тогда бабушка так ругает меня?

— Это она любя. Хочет, чтобы ты ее слушалась,— улыбнулся я. — И я ее слушаюсь, и Сапарбай, и все мы. Она старше всех нас. Кого же нам слушаться, как не ее.

— Я слушаюсь, да бабушка этого не понимает. А вот папа Сапарбай, когда мама Кунтай говорит ему, что надо посоветоваться с бабушкой, морщит нос и отвечает: «Да что она понимает?»

— Бабушка все понимает. Она умная старуха,—сказал я.

— Если она умная, зачем же дочь свою убила и закопала?

— До рождения Сапарбая у бабушки была дочь Катира...

— Она была хорошая, послушная?

— Да. Она была красивой и послушной.

— Зачем же бабушка убила ее?

— Постой, не перебивай... Катира была послушной девочкой, но как-то в зимний день выбежала на улицу раздетой, заболела и умерла.

— Значит, бабушка хотела напугать меня?

— Ты, оказывается, умница. Сама поняла.

Успокоенная, Сауле пошла в свой угол.

Прежде разговорчивая, Музей-апа накрепко закрылась после обеда в моем кабинете.

— Выключи к шайтану эту гремящую штуку, что сосет пыль,—сказала она, прикрыв дверь столовой.—Мы подметаем веником, и никто еще не говорил, что у нас грязно. Ковер надо чистить на снегу, тогда он новеет.

— Но...

— Брось свои «но»! В кухне у тебя голубой огонь, холодильник с арбу величиной, а в другой комнате телеузер. Что же вам остается делать руками? Воду носить? Вот вода. Дрова колоть? Вот дрова! Сели на шею государства... Хотя бы пол веником подметали по-мусульмански,—ворчала Музей-апа.

Сын Музей-апа, Мартай, который жил у нас, за ужином несколько раз вставал из-за стола и выходил в коридор.

— Ты что все прыгаешь?—не выдержал я.

— Проверяю, не нагрелась ли вода в ванной.

— Ты же вчера только мылся.

— После работы хочу...

— Твой дед Майлыбай мылся всего два раза в жизни: когда родился и когда умер. А ты каждый день моешься, за деда, что ли?

И Мартай и все за столом громко расхохотались.

— Не дразни моего сына, Бауржан,—сказала задетая за живое старуха.— Твой покойный отец не встал из могилы и не построил тебе ванную, ее государство построило. Пусть Мартай моется, сколько ему угодно.

— Но зачем же так часто мыться?

— А какое тебе дело до его предков!

— Но разве не правда, что Майлыбай всего два раза мылся?—упирался я.

Музей-апа, наконец, рассмеялась—к великому удовольствию детей.

Впервые за последние дни у нее поднялось настроение.

Пока старуха отдыхала, Сауле успела нам рассказать, как они съездили в Темиртау. Но рассказ ребенка есть рассказ ребенка.

Улучив момент, я прошел в кабинет.

— Ты гостишь уже несколько дней, вид у тебя сейчас стал лучше,—издалека начал я.

— Спасибо, родной. Я отдохнула, сама уже чувствую. Дня через два поеду в аул. Как там дети?

— Я не гоню тебя, гости сколько угодно. Просто, когда ты приехала из Темиртау, вид у тебя был расстроенный. Что случилось? Что произошло? Имею же я право спросить об этом у родной сестры.

— Ничего особенного, дорога кого хочешь утомит... — заскрытничала Музей-апа.

Я пробовал допытаться, но старуха вовсе не собиралась откровенничать.

— Ну, ладно!—сказал я, прошел в другую комнату и сел за машинку. В комнату вошла Музей-апа. Вижу, приоделась. Подошла к трюмо и расправила складки кимешека.

— Что ты там тарахтишь? — спросила она.

— Да так... Работа.

— Я тебе не мешаю?

— Нет.

— Тогда я, пожалуй, присяду на этот бархат,—сказала она, опускаясь в кресло.

— Все, что ты скрывала от меня, вчера выложила Сауле,—сказал я.

— Ой, горе ты мое! Ну и балаболка!—растерялась Музей-апа и встала с места.

Я рассмеялся:

— Сиди, сиди. Рассказала да еще и предупредила, чтобы мы никому не говорили. «Бабушка так велела»...

— От шайтан! Зачем только я ее взяла с собой!—Музей-апа опустилась в кресло.

— В доме, где есть дети, невозможно ничего утаить,—заметил я.

— Так что же мне-то делать? — растерянно улыбнулась Музей-апа.

— Тебе лучше знать, а сейчас ты мне мешаешь,— застучал я на машинке.

— Работай, родной, работай. Я на кухню пойду, приготовлю что-нибудь поесть.

— Не встретил нас Июньбай. С работы не стал отпрашиваться,—с обидой начала свой рассказ Музей-апа.— И невестка, непочтительная, не додумалась встретить. А морозы там крепче наших.

— Молодая роженица только что из родильного дома. Как же она пойдет встречать по такому морозу?

— Знает же, что издалека едет старуха да в первый раз. Могла бы кого-нибудь попросить, чтобы встретили.

— Да они еще сами дети, не догадались.

— Нечего было жениться да детей рожать, если сами дети. Я перед отъездом сама заставила дилиграмму отбить на пять рублей. Пришлось Сауле на спину себе посадить, руки вещами заняты. Стою—не знаю, в какую сторону идти. Вижу, парнишка-казах стоит в стороне и смотрит на нас. «Эй, сынок, подойди-ка сюда», — говорю ему. Он подошел, улыбается. «Кто бы ты ни был, бери эти вещи. Поможешь мне»,—сказала я и поставила хорджуны к его ногам. «Вам куда?»—спросил он. «Аюбаев»,—говорю.

— А-а, так вы мать Июньбая. Я знаю где он живет. Идемте,— обрадовался этот милый джигит и пошел вперед.

Заходим к сыну. Зоя сидит растрепанная и кормит ребенка. Сидит, не встала и не поздоровалась, как положено.

— Но она же ребенка кормила.

— Мы в свое время, когда входили старшие, вскакивали, как ошпаренные, и даже присесть не решались в их присутствии. Да что там говорить! Просто дура она невоспитанная!

— Да брось ты, дорогая. На старости лет из ума, что ли, выживаешь?

— Я тебе свои обиды рассказываю,—робко продолжала сестра.—Джигит, который привел нас, поставил вещи

на пол. Я его пригласила обедать, но он сослался на какое-то срочное дело и ушел.

Я успела раздеться, а невестка все еще кормит сына. Я подошла.

— Здрастый, Зоя!

— Здравствуй, апа!

Подошла я ближе, хотела внучонка на руки взять, а она прижала его к груди и кудахчет: «Ви с морос... Рука холодно, рука холодно».

Ах, вот как! Ты думаешь, кроме тебя, никто и не рожал?

Прошла я на кухню, поставила чайник и стала заплетать косы Сауле, а сама оглядываю все вокруг. Вижу, на стекле и подоконнике слой пыли, посуда грязная, в ведре не то что объедки, а остатки еды. Грех какой!—думаю.—Они же половину выбрасывают!

В это время пришел Июньбай и с криком «апа!» бросился мне на шею.

— Убирайся, щенок, к своему идолу!—сказала я, указывая на дверь.

Он, не сняв пальто, прошел в комнату к Зое и залопотал что-то гневно и громко. Зоя отвечала ему злым, плачущим голосом.

— Не успела приехать, как поссорила?—заметил я.

— Так что же, по-твоему, мы должны мерзнуть на станции, а потом сидеть на кухне, как бедные родственники?—ответила сестра со слезами.

— Ладно, рассказывай, пожалуйста, дальше, не расстраивайся.

— А чего ты кричишь на меня? У меня и без того все кипит внутри... Значит, так. Пришел после этого Июньбай на кухню, собрал с подоконника в ведро все сухие корки и пошел выбросить во двор. Вернулся и говорит: «Почему же вы чай не приготовили, апа? Сидели бы и пили себе...»

— Мы гости. Если хозяин угостит, спасибо ему. Если забудет, так и будем сидеть. Достань продукты вон из того чемодана и положи в шкаф,— с этими словами я взяла Сауле за руку и прошла в комнату. Зоя переоделась и вертелась теперь перед зеркалом...

— И это тебя, конечно, задело,—опять вставил я.

— А как же! Невестка должна перед свекровью, как перед богом стоять, больше мужа уважать ее! Я перед свекром да свекровью...

— Так это в ваше время.

— Эй! Что у Советской власти есть закон, чтобы старших не почитали, да?

— Такого закона нет. Но нынешние невестки не такие рабыни бессловесные, какими вы были когда-то.

— Так что же, пусть делают что хотят?

— Не что хотят, у них есть свои рамки... Она тоже чье-то дитя. И, если хочешь знать, она уже и тебе ребенок.

— Июньбай накрывает на стол, суетится, а жена все еще не причесана. Что ей стоило причесаться или набросить платок на голову и навести порядок в доме? Позвали ее к чаю — не пришла. Гремела весь вечер кастрюлями на кухне.

Словом, так у них состоялась встреча.

В наших краях младенца до сорока дней купают в соленой воде, потом растирают жиром и кутают в верблюжью шерсть. Первейшей задачей Музей-апы было совершить как раз этот обряд своеобразной закалки. Однако как ни старалась Музей-апа доказать Зое, что это полезно, молодая мать отказалась наотрез и решила вообще не подпускать свекровь к ребенку.

В отсутствие Июньбая Музей-апа решила сама уговорить невестку.

— Малшок хорошо, хороший? Малшок плохо, хорошай?— сказала она, протягивая руки к внучонку.

Она хотела сказать: что лучше — хороший или плохой ребенок? К ее удивлению, Зоя поняла и, конечно, ответила, что лучше — хороший.

— Вода, соль малшок купать надо. Масло вот так надо. Шерсть спит надо... Малшок хороший бойдот.

— Нет, апа, нет!— Зоя схватила сына на руки.

Когда Июньбай приходил с работы, Зоя просила его помочь по хозяйству: подай это, подай то, сходи за хлебом, за молоком. Повесь пеленки сушиться. Подержи Аскара. Вынес ли ведро? Почему не затопил печь? Накрывай на стол...

Все это страшно раздражало Музей-апа, но она твердо решила не вмешиваться. С невесткой они зажили, как кошка с собакой. А ко всему Июньбай охотно все делал по хозяйству. «Ой, невестка, не буди мужа, коли сама еще не встала с постели»,— не раз вспоминала Музей-апа, и казалось ей, что попал Июньбай в кабалу, под каблук жены.

— Садись ты. Мужское ли дело возиться с горшками

да ложками? Есть же баба в этом доме,— не выдержав нейтралитета, пыталась она вмешаться.

— Разве дела моего дома — не мои дела?— отвечал сын.

— Когда одни из вас были грудными, а другие сопливыми, даже тогда я не позволяла мужу ни воду таскать, ни печь топить. Тем более, я никогда не заставляла его стирать и развешивать пеленки. Когда он подходил к очагу, торопя с обедом, я прогоняла его. «Кто из нас баба, ты или я? Работа мужчины — в поле, дело женщины — в доме», — вот как говорили раньше.

Так Музей-апа закатила сыну лекцию минут на сорок, которую закончила тем, что назвала невестку «дармоедкой». Сын слушал и молчал.

Музей-апа поднялась, оделась потеплее и вместе с внучкой вышла на улицу. Гуляя, они встретили старуху казашку, которая с трудом тащила тяжелую сумку с продуктами.

— Здравствуйте, почтеннейшая!— сказала ей Музей-апа.

— Мир вам!— был ответ.

— Мы здесь гости дальние, а вы — здешняя?

— Здешняя.

— Далеко ли живете?

— Квартала три-четыре отсюда.

— Груз у вас тяжелый, а на улице скользко. Позвольте вам помочь,— сказала Музей-апа и взяла себе часть свертков.

По дороге они разговорились и вскоре узнали друг о друге почти все.

— Вот мы и пришли,— сказала старуха.— Прошу к нам. Гостями будете.

— Нет, спасибо. Дело дома...

— Зайдите, пожалуйста. Нельзя поворачивать от самого порога.

Женщины у нас спрашивают только откуда родом, о семье и никогда не спрашивают имени, обращаясь друг к другу «кудаги», «кудаша»[1].

Дверь открыла высокая, красивая рыжеволосая женщина.

— А-а, апа пришла,— обрадовалась она и взяла сумку из рук старухи. Приветливо поздоровавшись с Музей-апа и Сауле, она пригласила их войти.

---

[1] Кудаги, кудаша — старшая и младшая свахи.

— «А-а,— злорадно подумала Музей-апа,— и у тебя, голубушка, русская невестка!»

В большой, светлой комнате она увидела стол, стулья, сервант. На полу — ворсистый ковер.

— Где будем сидеть, кудаги? На полу или за столом?— спросила старушка.

— Давайте на полу, давно не сидела удобно.

— Тогда я помягче постелю,— сказала хозяйка и стала доставать одеяла и подушки. Вошла невестка.

— Ой, какая ты хорошая девочка!— сказала она и погладила Сауле по головке.— Как тебя зовут? Не понимаешь по-русски? Сенин атын ким?— спросила она по-казахски.

— Сауле,— ответила смущенная девочка.

Женщина, улыбаясь, переплела алую ленту в косичке Сауле.

— Тамара, золотко, завари-ка нам чаек,— попросила хозяйка.

— Я уже поставила чайник, апа,— ответила та по-русски.

— Беркут когда придет?

— В три, апа.

— Приготовь обед для гостьи.

Музей-апа попросила, чтобы о ней не беспокоились.

Тамара расстелила дастархан и села на низенький стульчик разливать чай. Сначала налила гостям, потом подала свекрови.

— Давай я сама стану разливать, а ты иди, родная, делай свое дело,— сказала хозяйка. Невестка молча поднялась и вышла, приветливо кивнув гостям.

За чаем потекла неторопливая беседа. Выяснилось, что Июньбай и Беркут работают в одном цехе.

— Беркут говорил, что приехала мать Июньбая,— проговорила хозяйка.— Мы собирались пригласить вас в гости, да никак не могли. Теперь сам аллах помог.

— Над всеми нами воля аллаха. Счастливая встреча,— подтвердила и Музей-апа и протянула пустую пиалу. Как ни старалась она держать себя в рамках приличия, но желание оказалось сильней: соскучилась Музей-апа по хорошо заваренному чаю и мирной беседе.

— Ой-бой! Заварка кончилась,— смутилась хозяйка.— Тамара!

Музей-апа вспотела от стыда.

— За беседой я и не заметила, что столько выпила,— только и нашлась она что сказать.

— Пейте. Я тоже не могу, если не попью раза три в день,— сказала хозяйка.

— Заметила я, любезнейшая, что невестка у вас хорошая. Вы ей по-казахски говорите, а она отвечает по-русски.

— Я ее понимаю, но ответить не могу. Беден еще мой язык. Тамара знает казахский, но пока не может говорить. Старается, да с произношением неладно,— засмеялась хозяйка.

— Это не страшно. Главное жить в мире и согласии. Видно, бог выбрал для вашего сына добрую и честную душу,— заметила Музей-апа.

— Нам с вами хорошо, что дети живут дружно. А то, что кровь разная... Так сейчас целые народы роднит общий труд, общие заботы. Раньше мы русского имени боялись, а теперь не только дружим, а вот, породнились, слава аллаху. Одна теперь мечта у меня: внука понянчить.

— Дай бог здоровья! Не одного еще ласкать будете.

Музей-апа еще часа два гуляла с Сауле по улицам города. Добрые отношения в семье Беркута вызвали у нее немало размышлений.

Мать умела ладить с невесткой, а невестка умело вела хозяйство. Дело не в национальности, а в человеке, это правда. Теперь надо наладить отношения с Зоей...

— Улиса холодно, холодно. Сауле совсем замерзла,— улыбнулась Музей-апа открывшей дверь невестке.

Зоя промолчала.

— Где Аскар? Где Июньбай?— продолжала Музей-апа приветливо.

Зоя ответила, что Аскар спит, а Июньбай только что пришел и ждет к обеду их.

«Холодное у ней сердце»,— вздохнула Музей-апа, раздевая внучку.

На обед Зоя приготовила борщ. Вместо мяса она в него мелко нарезала казы из запасов Музей-апы. Нарушение было полное: жир вытопился, а кусочки мяса жалко чернели в тарелках. Увидев такое кощунство, Музей-апа не выдержала:

— Казы кишка положать, сало держать. Ти резать, резать, почему резать? Казы не надо борщ, казы надо бесбармак.

Июньбай, разобравшись, не знал, плакать или смеяться. Он объяснил жене, что кишка, в которой хранится казы, предохраняет жир от вытапливания и нарезать казы

нужно, когда уже оно сварится, и что казы — степной деликатес.

— Откуда мне знать? Дома не было мяса, вот я и сварила колбасу,— Зоя расплакалась.

«Пропали казы. А я-то думала добавить немного свежего мяса и пригласить кудаги на бесбармак»,— подумала Музей-апа и вышла расстроенная.

В день получки Июньбай привел троих товарищей.

Музей-апа принялась готовить бесбармак из остатков привезенного мяса. «Пока они посидят за чаем, у меня все будет готово»,— рассуждала она, а когда вошла в комнату, увидела, что сын и невестка ссорятся. «Нельзя курить в доме, где есть ребенок. Курите на улице и не шумите. Аскар проснется...»

Июньбай решил показать мужской характер:

— Если тебе нужен свежий воздух, пожалуйста!— И распахнул окна настежь.

— Ребенка застудишь!— вскричала Зоя.

— Эх, родная моя,— вмешалась Музей-апа.— Возьми себя в руки, хоть при гостях бы сдерживалась! Думаешь, у них не курят и не пьют? Думаешь, у других детей нет? Не каждый день приходят в твой дом гости, веди себя достойно, как хозяйка...

— Я-то ничего, а вот Аскар...— заныла Зоя.

— Аскар ничего, ти чего! Ты в этом доме жена!— топнула ногой Музей-апа.

Гости, видя такое дело, засобирались. Музей-апа стала у них на дороге.

— Куда же вы, сынки? У меня уже все готово. Оставайтесь!

— Нет, апа, спасибо.

— Нас ждут...

И ребята ушли.

— Гости бегут из дома сварливой женщины, мой несчастный, глупый сын,— гневно сказала Музей-апа и, указывая на кухонную дверь, добавила:— А мясо, что варится там, можешь выбросить собакам!.. О, мой дом! Двери твои всегда были открыты для гостей,— заплакала она, оскорбленная.

Вскоре пришел Беркут с двумя русскими парнями.

Музей-апа обрадовалась.

— Раздевайтесь. Гость, который хорошо думает о хозяине, приходит к началу трапезы.

Джигиты прошли в комнату.

— Моя Июньбай мамошка, моя Аскар бабошка,— представлялась она ребятам.— Вы пока беседуйте, а я за тестом пошла следить.

В один прекрасный день пришла к Зое Тамара. Они долго говорили о чем-то, но Музей-апа, как ни старалась, не смогла ничего понять. Она приготовила им чай. Когда Тамара стала прощаться, Музей-апа остановила ее.

— Постой,— сказала она.— Казахский мужик хорошай?

— Хороший, хороший,— рассмеялась женщина.

— Казахский язык плохай?

— Хороший язык, апа. Но виноват Беркут,— пояснила Тамара и добавила по-казахски, что летом они поедут в отпуск в аул, и там она научится говорить как следует.

— Да исполнятся все твои желания, красавица!— растрогалась Музей-апа.

— Апа, сен биз уй кел[1],— пригласила Тамара на прощание, чем растрогала старуху чуть не до слез.

Однажды Музей-апа решила дать несколько родительских советов Зое.

— Садис, пожалоста,— указала она на стул.

Зоя послушалась.

— Моя Июньбай мамошка, правда?— начала старуха издалека.

— Правда, апа.

— Июньбай большой малшик, правда?

— Правда,— улыбнулась невестка.

— Моя старик, правда?

— Правда.

— Аскар маленький малшик, правда?

— Правда.

— Аскар бойдот болшой малшик, правда? А Зоя бойдет старик, правда?

— Правда,— снова улыбнулась Зоя.

— Молодой старик помогай — старик хорошай, молодой хорошай, все бойдет хорошай, правда?

Вот расшифровка этого диалога: твой сын вырастет, станет джигитом. Тебя покинет молодость, время никого не щадит, станешь ты такой же старухой, как и я. Поэтому надо всегда уважать друг друга: старого как старого, малого как малого.

Музей-апа, обрадовавшись, что Зоя поняла, решила развить свою мысль дальше, сказать, что с близкими и

---

[1] Апа, приходите к нам домой.

дальними родственниками, с земляками и с соседями нужно жить мирно, быть гостеприимной...

— Куантай, Сапарбай жонка, два малшик, один дебышка. Кулян, Усен жонка, два малшик. Зоя, Июньбай жонка, Аскар — малшик... Сапарбай, Усен, Июньбай, Мартай — все орат. Сауле, Булат, Канат, Есбол, Аскар — все брат. Кунтай, Кулян, Зоя — все жонка, сестра. Моя, старик — всем бабошка, правда?

— Правда, апа.

— Вот семья, вот все хорошо бойдот. Зоя хорошо, моя хорошо. Зоя плахай, моя нехорошо. Семья все человек хорош надо. Правда?

— Правда, апа. Кому же интересно быть плохим?

— Вот ты хороший жонка надо.

— Мне хорошую жену?— засмеялась Зоя.

«Не сумела, значит, передать»,—улыбнулась про себя Музей-апа и сказала:

— Зоя хорошай бойдот нада.

— Я постараюсь, апа.

Перешли к хозяйственным вопросам.

— Полтора кушать, полтора бросать не надо.

Зоя не поняла.

— Вот кохня. Клеб, мясо, масло, борщ. — Музей-апа задумалась, но ничего нового не придумала и повторила:— Полтора кушать, полтора бросать не надо.

Зоя поняла и кивнула.

— Деньги держить вот так надо,— Музей-апа сжала пальцы в кулак.— Правда?

Невестка-кивнула.

— Деньги язык нет,— старуха высунула кончик языка.— Деньги — вода. Вот так пойдет.— И она разжала пальцы.

— Ну родной, благослови тебя бог! Будьте здоровы! За мало дней я увидела много с помощью всевышнего. Завтрашним поездом мы уедем. Возьми нам билеты до Алма-Аты. Надо заехать и к ним,— сказала сыну Музей-апа.

Июньбай купил билеты. А после обеда старуха сказала:

— Теперь ты должен сводить нас в магазин, купить хорошие подарки мне и Сауле. В ауле у нас много друзей, много своих, но и чужих хватает. И все спросят в один голос: «А что тебе подарил сын, передовой рабочий, портрет которого был в газетах, которого снимали в кино?»

Ты должен сделать нам подарки дорогие, чтобы не стыдно было людям в глаза смотреть. «Штапель-мапиль» нам ни к чему. Его хватает и в ауле...

Когда вернулись из магазина, Музей-апа положила в чемодан два дорогих отреза. Растратив все деньги Июньбая, мать отбыла восвояси.

— Значит, ты оставила их без гроша?— уточнил я.

— А-а, все равно не знают они цену деньгам. Я нарочно так поступила. Пусть хоть на короткое время узнают, что такое нужда.

— Новая семья. Два неопытных человека да еще грудной ребенок. Ты подумала, на что они будут жить?

— В голодные годы я кормила своих брюквой. А теперь не могу им позволить топтать хлеб и разбазаривать деньги. Пусть узнают нужду, цену вещам,— стояла на своем Музей-апа.

— Но они сами их заработали... в поте лица своего.

— «В поте лица своего»,— передразнила меня сестра.— Наш пот дешев, а ваш — дорог! Разбаловало вас государство.

— Не нас, а тебя разбаловало.

— Как так?

— А так! Один сын учитель, второй — механизатор, третий — горновой, четвертый — студент, без пяти минут инженер. Скоро и пятый человеком станет... Все это хорошо, сестра, но к чему детям влезать в долги?

— Пусть. Следующую зарплату они рассчитывать будут. Это — отдать, на это — нужно дожить до следующей получки. Вот так и копится житейский опыт,— заключила Музей-апа.

Прошел год. Перед ноябрьским праздником мы заехали в аул, в гости к Музей-апа. Она, оказалось, уже отделила старшего сына, подарив ему дом. Внуки подросли. Богатые дастарханы были накрыты в двух комнатах.

— Взгляни-ка на моего Аскара,— сказала Музей-апа, протягивая мне фотокарточку. На лице ее засветилась улыбка.

На карточке между отцом и матерью сидел большеглазый, круглолицый малыш.

— Что-то у невестки твоей вид бледный.

— О родной, сейчас она мать только одного ребенка.

Придет время, станет она крупной и здоровой матерью,— сказала Музей-апа, не отрывая взгляда от фотокарточки.

«Наладились отношения»,— подумал я и спросил:

— Кто же лучше? Русская невестка или казашка?

— Сыновья у меня хорошие. Если бы не было Июньбая, не вошла бы и Зоя в наш дом.

— Другие что-то не торопятся вводить в дом русских невесток,— продолжал я подзуживать сестру.

— А я во всем первая,— рассмеялась она.— В девичестве я открывала свадебные тои. А теперь мой Июньбай Зою привел. Русские девушки не идут за кого попало.

— Хвастай, да знай меру!

— Есть ли мера счастью? Слава аллаху, сыновья мои нашли любимых, и в доме моем стало светло от детских голосов.

— Ты изменилась, сестра, по сравнению с прошлым годом.

— Я и в прошлом году была такой же.

— Ну, тогда слушай,— и я рассказал ей историю, уже знакомую читателю.

Музей-апа то краснела, то бледнела, то мрачнела, то смеялась.

— Если пишешь, так не говори ничего плохого о Зое,— обиделась на меня сестра. — Если надо обязательно, то пиши плохо только обо мне. У Зои-джан нет никакой вины. Я сама там немало напортила, как приехала, да потом сама же и поняла свою вину...

— А кто об этом знает?

— Хотела я им письмо написать, да пальцы не знают карандаша и язык беден. Найдешь ли нужные слова, чтобы до сердца дошли? Вот приедут они... Или я сама поеду, исправлю свою вину, скажу им «избеняюс»...

— Правильно, сестра.

Мы подняли тост за здоровье Июньбая, Зои и Аскара.

ОНА

> Лишь глупцам не присуща трагедия, ибо они не понимают, что такое трагедия.

В вагоне она всю дорогу плакала. Читала книгу, грызла какие-то конфеты, а слезы все катились по щекам. Он опять обидел ее и унизил...

Как хорошо сказано у Грема Грина: «Мы слишком бедны телом и душой для того, чтобы обладать без гордыни и отдаваться без унижения».

Так было с ними. И сейчас она плакала от унижения, потому что, несмотря на обиду, все-таки ехала к нему. Не могла не ехать...

Она знала, что там все равно будет очень счастлива. Улыбнувшись, представила себе приезд: поезд останавливается, и высыхают ее слезы, она выходит на перрон и в полутьме узнает на площадке железнодорожной лестницы знакомую стройную фигуру. Она узнала бы его среди миллионной толпы. Она идет, улыбаясь, и он улыбается в ответ. Он берет ее под руку, и они молча идут. Молчат они и в машине. Но вот они уже дома. Он открывает комнату, и она глубоко вздыхает.

Эти четыре стены ограждают ее от другого мира, в котором остаются все тревоги, условности, обиды...

Она ставит сумку в облюбованное место в углу дивана и, причесываясь, начинает оживленно говорить.

Он жадно рассматривает ее, потом порывисто берет на руки и горячо целует. Она с нежностью ребенка обнимает его за шею, гладит его волосы. Он осторожно опускает ее на диван.

— Ну, а теперь ужинать!

Ставится чайник, она суетится у стола, он откупоривает любимое «Цинандали».

За столом начинается долгая и жаркая беседа. Говорит главным образом он и главным образом о себе. Но он прекрасный рассказчик, и ей все интересно.

Она охотно слушает, хотя далеко не со всем соглашается. Она все понимает, улавливает все оттенки, останавливает или поощряет его, угадывает недосказанное.

Она останавливает его, как мать болтливого ребенка, угощает, говоря:

— Ты же очень плохо ешь. Съешь это...

Ему хочется все-все, абсолютно все ей рассказать. Чтоб

чего-нибудь не забыть, он иногда записывал «по пунктам», что нужно ей «доложить», — в книжечке или на коробке от папирос,— свои мысли, свои определения, свои понятия. Он делился с нею всеми-всеми мыслями, которыми жил. Эта привычка и трогала и смешила ее...

Он показал ей свои записки. Она читала их со вниманием. Ей нравился его размашистый крупный почерк. Она робко исправляла его ошибки — он пренебрегал знаками препинания и злоупотреблял многоточиями.

По ее мнению, он был потенциально творческим человеком, это-то ей и нравилось. Когда он рассказывал о своих «литературных» планах, читал свои стихи, раскладывал перед ней свои рисунки, она про себя думала: «У него много, как говорится, от бога и почти ничего от культуры».

«Впрочем, в последнем я, очевидно, ошибаюсь,— признавалась она себе и тут же добавляла:— У него многое от характера его народа, от культуры народа».

Как-то раз он рассказал ей один эпизод из своей жизни, связанный с близкой ему женщиной. Так, два-три штриха... Приступ ревности... Ее поразила острота конфликта. Она, не зная, что думала или чувствовала та женщина, написала короткий рассказ, вложив в него свои мысли и свое чувство к нему. Рассказ ему понравился, он оставил его у себя и потом написал длинную новеллу.

Все это было... И вновь она представила: вот она испытывает, как всегда, чувство перевоплощения — она перестает быть собой, становится его половиной; в ее душе отзывается все, что тревожит его кровь... И когда позже она идет в постель, то ей уже кажется, что нет места свежей и чище!.. Она ложится и, пока он не приходит, дрожит от «холода».

Он имел привычку даже в самый мороз на ночь открывать окно, бриться, чистить зубы и принимать холодный душ. «Как он долго возится! Как неуютно!..»

Ей всегда казалось, что люди вершат свою любовь ночью для того, чтобы скрыть выражение лиц и всю эту сцену, напоминающую, как утверждают фрейдисты, о разрыве между любовью, выдуманной человеческим гением, и низменно животным ее завершением. Но для нее их любовь была преисполнена чистоты и глубокого человеческого смысла.

К ее изумлению, его любовь днем оказалась еще прекраснее чем ночью. Ему все время хотелось смотреть на

нее, и, смущенно отвечая ему сложным женским взглядом, она видела его преображенное истинным вдохновением лицо. Цвет его глаз менялся, как бы отсвечивая счастьем...

Он был властен и не терпел ее капризов. Ей казалось, что он не любит ее, но это не имело большого значения. Главное было в том, что он сумел ей внушить чувство, заполнившее ее целиком.

Она забывала себя и начинала ощущать собственное тело его руками. И в жизни он заполнял ее своей личностью, своими делами, заботами, планами, мыслями. Для нее это было самое высокое человеческое слияние — редчайший дар истинного счастья. Он причинял ей много страданий: не стеснялся грубить при посторонних. Осушая слезы, она вспоминала сказанное как-то Достоевским, что ослепительные мгновения ложа стоят тяжкой болезни!

Она стояла у зеркала. Расчесав волосы, туго заплела длинные косы и, собрав их тяжелым узлом на затылке, аккуратно прикрепила шпильками.

Люди находили ее красивой. Она и на этот раз понравилась самой себе... Отвернулась, тихо и грустно запела:

Как же случилось, не знаю,—
С милым гнезда не свила я,
одна я,
Как же случилось, не знаю,—
В путь журавлей провожаю
одна я.

«Правда, я еще та же самая?— она мысленно обратилась к нему:— Ведь ты не терпел ни пудры, ни помады, ни крашеных ногтей, ни подведенных бровей и ресниц... Помнишь, как ты мне сказал однажды: «Все вы, женщины,— знаете, что вам идет и что не идет, а просто легкомысленно обезьянничаете друг у друга»... С тех пор я не покупаю ни пудры, ни помады. Зато пользуюсь всегда тонкими любимыми духами, и это еще более напоминает тебя... Два года тому назад моя подруга передала мне ваш разговор обо мне. Ты ей сказал: «Она, наверное, немного постаршела». Знаешь, меня эти твои слова рассмешили. Ведь ты хотел сказать, что я за эти годы постарела? Вот, как видишь, нисколечко и не постарела, и не постаршела. Впрочем, твое выражение «постаршела» от того, что ты не хочешь, чтоб я была стара. Смешной ты. А сам, наверное, теперь пузатенький-препузатенький...»

...В непривычный для не гостиничной обстановке она спала эту ночь плохо, видела нелепые сны...

Вчера она отправила телеграмму...

Вдруг ее охватило тревожное беспокойство. Она запротестовала... теперь ей не хотелось, чтоб телеграмма дошла, желала, чтобы он не приехал... Ее сердце замирало от мысли, что если он приедет, и они, расставшись близкими... Нет-нет! Не надо думать об этом, не надо тревожить прошлое!

В досаде она беспомощно уронила руки и устало опустилась в кресло. Сидела долго и в раздумье упрекала себя; потом, как бы собравшись с силами, сказала вслух:

— Ну что ж! Когда-то друг друга любили, и нам было хорошо. То время пролетело, как пролетает короткая, но громкая слава...

...Потом война... Тогда она пережила проводы без надежды на встречу... Ну что ж, он показал себя славным воином. Она была горда им. Она тогда напевала: «О таких в народе песню сочиняют, о таких мечтают черные глаза...»

Она вырезала все статьи и стихи, что печатались тогда в газетах о нем, она знала их почти наизусть, она прятала их от мамы... К ее радости он был среди уцелевших. С потоком серых шинелей и он возвращался с фронта...

Как это на него похоже!..

Он приехал... Ему кто-то сказал, что она ему изменила... Он не унизился до объяснения, даже не зашел — уехал не медля, потом он не отвечал на ее письма... Какая жестокость, какая несправедливая жестокость.

«Пусть не дойдет моя телеграмма, пусть не откликнется он на нее, как прежде...»

Она упала на постель и зарыдала.

Снова перед нею встал он — высокий, стройный, строгий, горячий, упрямый... Его большие черные глаза, кототые в радости покоряли ее сердце властностью и лаской, а в гневе пронзали ненавистью и презрением. Она вспомнила, что он был человеком крайностей и середины он не знал... Она не хотела видеть его. Она обвиняла его в связях с примитивными женщинами... Потом тут же поспешно оправдывала сама же... Она вспомнила, как он поднимался, вызывая ее восторг, и стремительно падал, огорчая ее до слез... Она вспомнила его последнюю телеграмму, которую ей принесли в День Победы: «Как жаждущий пить, встречи с тобой хочу»... Ей бы сейчас увидеть его,

посмотреть на него, поговорить с ним и узнать, как он жил эти десять лет...

Ей хотелось видеть его.

Она в ожидании весточки подошла к зеркалу. «Не постаршела и не постарела... Как бы там ни было, за десять лет вообще сильно изменилась... Нет, не хочу с ним встречаться. Пусть и он для меня останется таким, каким я его видела в последний раз, и я в его воображении должна остаться не «постаревшей», а «постаршевшей»,— так будет лучше. Лучше пойду в театр, а дежурную по этажу попрошу, если он придет, сказать ему, что я неожиданно выехала».

Так решив окончательно, она стала собираться... И вдруг как будто постучали в дверь. Она вздрогнула: «Буду ровно в семь вечера»,— прочла она телеграмму...

«Боже мой, он уже здесь! Через десять-двадцать минут придет! Я ничего за это время не успею, буквально ничего... Да, встреча оказалась неизбежной... Сама напросилась — надо как-нибудь приготовиться... Нет! Нет! — запротестовала она. — Нет! Ни за что! Ни за что не стану плакать, ни за что!»

Она в ожидании его прихода машинально перелистывала Куприна и вдруг вспомнила слова Александры Петровны: «...Мы, женщины, никогда не забываем первого насильника...» — покраснела, вспыхнула и, чтобы отогнать прочь нахлынувшие воспоминания, встала и пошла. В это самое время опять раздался стук. Она повернула ключ и открыла дверь. Он снял фуражку и, вытянувшись по-военному, улыбаясь, сказал:

— Как видишь, по твоему зову я примчался, не жалея пота своих коней, и стою у порога твоей юрты.

Она, еще не придя в себя, протягивая руки, произнесла:

— Я рада видеть вас, я ждала тебя...

Вначале разговор был незначителен и просто не клеился, потом оживился. Тон его стал постепенно мягким, дружеским...

Она рассматривала его, когда он, встав и прохаживаясь широкими шагами, продолжал говорить о самом себе, о своих волнениях, неудачах, досадных ошибках, о суровом военном быте, о бесконечных скитаниях, о времени, о сре-

де... он спорил с самим собой, спорил с другими... Как и раньше, она почувствовала, что ему тесно в этой комнате, тесно в этом мире... Ей, как и прежде, захотелось помочь ему...

Вот перед ней знакомая фигура, знакомое, когда-то очень близкое лицо, по-прежнему худощавое, то строгое, то доброе, порывистые знакомые жесты...

Она слушала его, как и прежде, с большим вниманием вместе с ним переживала все, о чем он рассказывал ей... Она смотрела на него с глубокой нежностью и грустью... Она ласкала глазами его морщины вокруг глаз и появившуюся седину в его густых, упрямых волосах... Она думала: «Он все такой же нервный, горячий, упрямый, прямой, честный, а потому и неуживчивый. Он недоволен ни собой, ни людьми. Он очень и очень одинок. Человек сам творец своего счастья. Он не сумел построить себе счастья, создать семью... Он скиталец. У него какая-то судьба, понятная лишь ему и мне. Кто же из нас в этом виноват! Почему другие люди, не зная его, сгущают краски: то безмерно хвалят, то без вины терзают...»

Они вышли на улицу. Немного побродив по безлюдной улице, подошли к памятнику Пушкина.

— Как ты находишь Александра Сергеевича на новом месте?

— Да,— произнесла она задумчиво,— на фоне «Известий», «Госстраха» и этой громадины из красного кирпича... мне кажется, померкла его величественность...

Он взял ее под руку и тихо запел:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя...

Она слушала его на безлюдной площади и вспоминала, как он любил петь эту песню на двух языках, чередуя строфы...

В это время проезжала машина с зеленым огоньком. Он поднял руку. Машина остановилась.

На вопрос шофера: «Куда вас везти?» он ответил:

— Везите просто по Москве, везите не спеша.

Когда машина тронулась, он снова запел, но уже на своем родном языке:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила,
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла!

Прежде это означало: «спой мне любимую мою песню»... Она это вспомнила и запела. Она пела одну за другой песни, которые певала ему в дни молодости, в дни их любви...

Машина плавно катила по Садовому кольцу. Проплывали дома, мелькали огни. Она пела и пела его любимые песни, как прежде.

В ее душе не было давней обиды и тех десяти лет разлуки, что тянулись для нее так мучительно медленно. Она опять была с ним, рядом с самым дорогим и близким человеком, которого так хорошо понимала, которому все прощала.

Она перестала петь. Начало светать. Шофер спросил:

— Куда же все-таки вас везти, товарищи?

— Гранд-отель,— коротко ответил он.

Они долго молчали, а потом в тишине раздался его тихий голос:

Я дерево низкорослое, расту в низине я одиноко.
Я чудесен тем, что на мне нет привлекательных ягод,
Я до последней щепки твой!
О любимая, прими меня как суровый дар судьбы твоей!

Она вспомнила эту первую записку к ней, и огромная волна любви, нежности захлестнула ее. Ей хотелось, чтобы он ее поцеловал. Чтобы в этом поцелуе были благодарность, раскаяние, любовь...

Самая большая радость, счастье, боль и нежность в ее жизни были связаны вот с этим человеком, которого она сейчас готова была молить о ласке, об одном поцелуе. Он сидел рядом, совсем близко, но неподвижно.

— Ну что ж, товарищи,— сказал шофер, тормозя машину,— вот и приехали...

Она больно закусила губу. Неужели приехали?!

Он взял ее под руку. У самого парадного пожал ей руку, поклонился, пожелав ей счастливого пути, и... ушел.

Опять ушел!

Слезы текли по ее щекам: она снова теряет его. Поднимаясь по лестнице, она повторяла: «Я дерево низкорослое, расту в низине одиноко... Расту в низине одиноко!»

Расплетая свои косы, она подумала: «Он должен был так поступить. В этом он весь. Если б он был иным, так, наверное, я его не любила бы». Тут же нахлынувшая обида начала душить ее.

— Даже не поцеловал!— вырвалось у нее из груди, и она с рыданьем бросилась на постель.

...В комнату вошел высокий старец. Он был во всем белом. На его голове пышным пирогом наверчена высокая чалма. Его длинная борода, как бы продолжая конец чалмы, волнистым клином из нити белого шелка покрывала его грудь до самого пояса. В руке он держал посох из красного дерева. Полы длинного халата колыхались... Она встала и низко ему поклонилась. Старец жестом руки попросил ее сесть. Когда она опустилась в кресло, комната осветилась из полумрака ясным, мягким светом весеннего утра. Все на старце слегка поголубело. Ей казалось, что он весь воздушный, легкий, он выплетен из голубой пены и вот-вот улетит.

Как бы разгадывая ее мысли, старец улыбнулся; улыбнулась и она, как улыбается ребенок, отвечая ласковому взгляду любимого деда...

— Страдальцы любви, я завидую вам,— неожиданно произнес старец густым бархатным голосом.

Она с тревогой подняла глаза на старца, но он, как бы все удаляясь от нее, таял в голубизне, и до нее доносились уже обрывки старчески дрожащего голоса, как слабое эхо: «...всегда от довольства мечты далеки, он жаждой томится на берегу реки», «не мню, чтоб широко разлившийся Нил безмерную жажду его утолил», «...коль видим мы любимого перед собой, ничтожен и жалок нам мир остальной...»,«...захочет он душу из тела извлечь — бестрепетно, радостно ляжет под меч...»

Ей стало душно. Ей казалось, что громадный меч занесен над ее головой. Она хотела встать, но не могла — её ноги были скованы тяжелыми стальными цепями, прикрепленными к чугунному якорю, лежащему на песчаном дне прозрачного, как слеза, чистого пруда. Она подняла глаза и над своей головой увидела белое облако, схожее с фигурой старца. Она опустила глаза и увидела золотой обруч на ногах...

Вздохнула, опомнилась, вспомнила, что через три года после войны она вышла замуж. Он человек добрый и порядочный. У них двое детей. Люди считают ее счастливой.

— Пора мне ехать домой, пора!— твердо решила она.
Спустя год он ответил на ее письмо:

«Ваше письмо доставило мне радость.
Оно утолило мою тоску по вас.
Оно сняло грусть, как роса снимает легкую пыльцу со сливы.
Ваш привет освежил мое сердце легким ветром.
Я сижу и баюкаю в руках ваше письмо.
Ваш облик видится мне день и ночь.
с ним засыпаю и просыпаюсь я».

...Да, их разлучила война.

ИЗ СТРОЯ В ТРУД

(Из дневника писателя)

Когда я вошел, в просторной столовой за богато накрытым столом сидело много супружеских пар.

— Вот и сам полковник явился,— воскликнул хозяин, идя мне навстречу. Сидящие встали.

— Добрый вечер и приятного аппетита, товарищи!— присаживаясь, извинился я перед хозяином дома, человеком крупного телосложения, крепкого здоровья, с непослушной щетиной серебристого ежика на массивной голове. Затем в шутливой форме, обращаясь к остальным, сказал:— Как говорится, «сколько волка ни корми, его все в лес тянет»,— вот вы все одеты весьма элегантно в гражданское платье, но привычка втречать старшего стоя выдает, что вы все военные люди.

— Да, все они офицеры запаса, товарищ полковник, все они мои фронтовые друзья,— расплываясь в доброй широкой улыбке, хозяин начал поочередно представлять мне своих гостей: — майор запаса Андрей Семенович, а Валентина Ивановна — его супруга... А вот Сергей Васильевич — мой родной брат,— представил он высокого, сухощавого, с тяжелым волевым подбородком человека лет за пятьдесят, в сером костюме.

«Откуда этот явный русак приходится казаху родным братом?»— промелькнуло у меня, когда Сергей Васильевич, мягко улыбнувшись одними темно-серыми глазами, кивнул мне головой. Я ответил ему легким кивком.

Гости и гостьи были далеко не молодыми: мужчинам

было за четвертый десяток, а дамы — в самом хорошем возрасте для женщин.

Водворенная моим приходом натянутость быстро растаяла после очередного тоста, в прежнее русло вошел оживленный гомон веселой компании...

Сергей Васильевич поднялся со своего места. Гости притихли.

— Мерген Отебаевич, наш добрый и гостеприимный хозяин, представил меня товарищу полковнику, как своего родного брата,— начал он свою речь, улыбаясь. Улыбка преобразила лицо этого пожилого мужчины в почти юношеское, доброе, непосредственное.— Да, мы с ним, действительно, родные братья... Но об этом потом. Бедняки бывают вообще многодетными. Вот я из многодетной русской рабочей семьи. Нас было семеро братьев. Трое из них старше меня, а трое младше меня... Если теперь считать детей, невесток, их детей, то на сегодня нашей фамилии насчитывается порядком шестьдесят-семьдесят граждан Советского Союза. Вот эти граждане и гражданки нашей страны мне приходятся кровными родственниками...

— У нас дяди и тети с материнской стороны, тесть и теща также считаются очень близкими родственниками,— перебил Сергея Васильевича слегка захмелевший казах.

— Ну, ты не перебивай,— одернул его сосед, видимо его сверстник,— давно мы знаем, что ты без тещи своей и воды проглотить не можешь.— Это было сказано в шутливом тоне, и все сидящие засмеялись, засмеялся и он, и его жена — хрупкая блондинка.

— Конечно, вы правы, и они мне очень близкие родственники,— сказал Сергей Васильевич, все еще улыбаясь.— Но разрешите мне продолжить свою мысль... С Мергеном Отебаевичем мы родные братья в том отношении, что в суровые дни войны мы с ним несколько раз вместе шли на смерть, вместе оставались в живых... Вот поэтому он прав, когда меня представил как родного брата... Боевая дружба — ведь это особый вид самого близкого родства между людьми... Мы сегодня пришли на новоселье, и здесь сказано было много приятных слов и лучших пожеланий этому дому. Я предлагаю выпить за здоровье детей, за здоровое будущее этого дома.

Женщины решили убрать со стола и приготовить столовую к чаю. Кто пошел в другую комнату, кто вышел покурить в коридор, а мы с Сергеем Васильевичем сидели на диване в кабинете хозяина дома и беседовали.

Сергей Васильевич задал мне несколько вопросов о

службе в армии, о том, когда и как ушел в запас и о моей теперешней работе. Я ему ответил.

— Я же один из тех, кто прослужил в армии двадцать пять лет,— начал Сергей Васильевич свой рассказ.— Вы совершенно правильно сказали, что в армии и на службе нелегко, но расстаться со службой еще тяжелее... Конечно, двадцать пять лет для жизни одного человека не малый, а довольно большой срок.

— Да, мы с вами, наши сверстники, службе отдали свою молодость и здоровье,— перебил я его.

— Да, беречь-то было нельзя, трудновато приходилось, о себе думать и то порою бывало некогда... Меня мое начальство, сослуживцы провожали в запас очень трогательно и тепло,— сказал Сергей Васильевич. — Созвали собрание, преподнесли подарки, произносили речи... — Тут он опустил голову, помолчал. Потом откинулся на спинку дивана, раза два затянулся папиросой. — Вечер был искренним, потому приятным. Но знаете, я на этом вечере проводов моих пережил нечто страшное... Я сидел в президиуме, слушал всякие лестные слова и искренние пожелания выступавших товарищей... Вдруг на меня напала какая-то грусть.

— Почему вдруг грусть?

— Мне показалось, что эти слова я когда-то и где-то уже слышал... — Сергей Васильевич, потушив папиросу, положил окурок в пепельницу... — Говорят так на похоронах или пишут в некрологах.

От неожиданности я изумился.

— Ну и юмор же у вас, Сергей Васильевич.

— Не юмор, а печальный факт. Ведь испокон века принято о покойниках говорить всегда хорошо, если даже он был плохой при жизни... Некоторые товарищи до того, видимо, увлеклись страстью красноречия, что мне показалось, они говорят всякую хорошую чушь, которую я не заслужил... Это-то меня и обдало холодом.

— А дальше?

— Когда мне дали слово, я в шутливой форме признался товарищам о своих переживаниях в эти минуты. И просил их, когда они еще кого-нибудь так же будут провожать в запас, тем более в отставку, чтобы пощадили самолюбие старого воина. А председательствующий генерал говорит: — «Спасибо, Сергей Васильевич, этот опыт нам в будущем пригодится: как Козьма Прутков сказал: «Нельзя командовать шепотом — это доказано опытом!»,— мы

и впредь товарищей будем провожать в торжественной обстановке».

— Разумеется, все разошлись со смехом на устах.

— Ну да, конечно! — тут сам Сергей Васильевич раскатисто расхохотался, видимо, вспомнив былую свою наивную обидчивость.

— Хорошо, Сергей Васильевич, хорошо, что вам самому теперь весело,— смеясь, сказал я.

— Приходится часто вспоминать пору молодости, невзгоды походов и боевой жизни,— продолжал свой рассказ Сергей Васильевич, подавив свой смех,— иногда диву даешься, как это ты все перенес и выжил... Бывало, в седле засыпаешь, на снегу прикорнешь, а о режиме питания, который нам теперь прописывают врачи, и речи быть не могло.... Сутками в воде до ниточки мокнешь и... никакая хворь тебя не берет. Как слиток крепкого металла — не таешь, не мерзнешь и, самое главное, в ненастье боевых будней и в слякоти боев не ржавеешь. Сижу, вспоминаю и хочется все и вся кому-нибудь рассказать, а рассказать не могу.

— Почему бы не рассказать?

— Знаете... боюсь, что могут не понять.

— Это ваше опасение не лишено основания, Сергей Васильевич. В лучшем случае могут обвинить вас в самолюбовании. Особенно в этом не поскупятся наши литераторы. Самоанализ, самокритику, восприятие окружающего говорящим некоторые наши критики часто обобщают одним словом «самолюбование». А писать или говорить, передав свои мысли другим, или из себя делать третье лицо, так называемый прототип, мы не можем или не умеем.

— Да, как-то у нас это, действительно, нескладно получается,— согласился со мной Сергей Васильевич, закуривая вторую папиросу. После третьей затяжки он сказал: — Самая большая удовлетворенность от военной службы, это сознание выполненного долга. Оно — это сознание — становится рельефнее, когда стоишь как бы на расстоянии и в стороне от пережитого. Когда живешь в новом окружении, оно, оказывается, наталкивает человека на объективное осмысление пройденного, пережитого, возлагает новые обязанности перед обществом...

— Вы правы, Сергей Васильевич. Самое приятное в жизни — это трудиться и творить. Простите, что я до сих пор не спросил вас, где вы работаете?

— Я работаю, много работаю,— произнес медленно Сергей Васильевич. — Ну, об этом потом. — Он помял оку-

рок и бросил его в пепельницу. Встал, сделал два-три широких шага, сел, откинулся на спинку дивана и продолжал издалека: — Гасударство нашему брату платит пенсию. Если жить скромно — на все хватает, нет нужды идти на заработки; казалось бы, почти во всем обеспеченный человек... Живи и отдыхай себе на здоровье. Отдыхай себе на здоровье,— повторил он, повысив голос, хлопнув крышкой портсигара, который он держал в руке.— Отдыхай!— еще раз повторил он, пристально смотря мне в глаза.

— Казахи говорят, Сергей Васильевич, что без труда и отдых — тюрьма!

— Правильно сказано. Мы с вами люди, конечно, не молодые, но и не старики, а просто, если так можно выразиться, на первых порах пожилого возраста. Наш возраст не для покоя, хотя нас послали на покой. Известно, что увеличение числа вооруженных сил или — уменьшение их всегда находилось в прямой зависимости от международной обстановки... В связи с этой неровной обстановкой нам когда-то было приказано идти от ТРУДА В СТРОЙ, мы пошли, встали под ружье, не успели оглянуться, оказывается, прошло тридцать-сорок лет,— тут Сергей Васильевич развел руками.— Теперь с каждым годом мы все сокращаем и сокращаем свои вооруженные силы и вот мы с вами оказались в числе преждевременно уволенных в запас... Теперь нам приказали ИЗ СТРОЯ К ТРУДУ...

«Не собирается ли он читать мне лекцию?»— подумал было я.

— Да,— произнес он, уловив этот мой взгляд,— простите, недаром говорили, старость не радость, и ее постоянный спутник — болтливость...

— Что вы, Сергей Васильевич, я внимательно и с интересом слушаю ваши рассуждения.

— С интересом,— произнес он иронически.— Просто поделиться хотелось мне с товарищами,— сказал он с грустью.

Я виновато отвел глаза. Сергей Васильевич хрустнул пальцами, а потом, подавив свою обиду, сказал:

— Я хотел сказать вам, если мы с вами полковники запаса — в этом не наша вина; зваться полковником запаса мы имеем и моральное и юридическое право... А вот быть ГРАЖДАНИНОМ ЗАПАСА — не имеем права. Конечно,— сказал он, примирительно мягко улыбаясь,— термин «гражданин запаса» в нашем словарном составе не существует. Это я сам придумал для себя в суматохе острого переживания своего ухода из строя, еще не зная,

к какому берегу пристану, в каком строю займу свое место.

— Да, я вас вполне понимаю. Я сам тоже пережил нечто подобное.

— Как я вам уже доложил, мы с вами не относимся ни к молодежи и ни к старцам. Это с одной стороны, конечно, отрадно, но с другой — как-то нескладно получается... Чтобы приобрести какую-нибудь новую специальность, надо серьезно учиться, а студенческий возраст остался далеко позади.— Он тут снова улыбнулся.— А... На трактор или на комбайн я не постеснялся бы сесть, или, еще лучше, занялся бы кладкой кирпича, но тут организм сигнализирует: силы пошли на убыль, резерв здоровья тощенький. Занимать место какого-нибудь столоначальника, не соответствуя назначению своего кресла,— это как-то нечестно и к нашим седым бородам не идет. А работать, работать надо — это, прежде всего, общественный долг всякого нормального человека. Как, где? Это для меня были мучительные вопросы на первых порах... Потом началась, если можно так выразиться, моя вторая биография...

На этом месте нашей беседы вошел хозяин дома.

— Чай подан, к столу, ждем вас,— пригласил он.

За чаем я не счел удобным спросить Сергея Васильевича о его ВТОРОЙ БИОГРАФИИ. К концу вечера мы с ним тепло попрощались.

«Этот разумный и мужественный человек, полковник запаса, никогда не станет ГРАЖДАНИНОМ ЗАПАСА»,— думал я, медленно шагая к себе домой.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
—
СТАТЬИ



КУБИНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Сегодня кубинская революция в центре внимания всего мира. У вас много друзей. У вас немало врагов. Мой народ питает глубокую симпатию к вашим благородным устремлениям: мы любим вас, верим и желаем вам успехов больше, чем кто-либо другой.

Я мечтал побывать на острове Свободы, на родине Фиделя Кастро. Я хотел видеть боевой облик, революционный дух кубинского народа. Куба имеет притягательную силу.

Через вершины высоких гор, которые покрыты вечными ледниками, через просторы бескрайних степей и синеву океана я пролетел около 20000 километров. Расстояние между Алма-Атой и Гаваною по прямой линии солнце проходит за одиннадцать часов. Когда мы встаем, чтобы начать свой рабочий день—вы ложитесь спать, а когда мы ложимся спать — вы встаете, чтоб трудиться и бороться.

Я с 6 ноября здесь. За эти дни со своими товарищами—советскими туристами—побывал в некоторых районах Гаваны, осмотрел достопримечательности столицы. Гавана и гаванцы на нас произвели хорошие впечатления.

Надеюсь, что разочарования не последует.

10 ноября по любезному приглашению министра Революционных вооруженных сил Рауля Кастро Рус и Генерального штаба я остался в качестве гостя.

В нашей Конституции есть статья: Защита Родины—

священный долг каждого гражданина СССР. В молодости я решил посвятить себя военной службе.

Я казах по национальности. Я гражданин Советского Союза. Мои предки занимались скотоводством. Я—пастушеский сын. Мне пятьдесят три года. Из них двадцать пять лет я провел в рядах армии, проходя службу в различных уголках обширной территории Советского Союза, последовательно занимая должности от рядового солдата до командира гвардейской дивизии.

Я—участник Великой Отечественной войны от начала до ее конца.

Великая Отечественная война советского народа против фашистской Германии—одна из блистательных глав боевой биографии нашей страны. Основная тяжесть второй мировой войны легла на плечи советского народа. Это признается как нашими друзьями, так и нашими врагами. Мы, советские люди, понесли большие жертвы. Мы отстояли честь и свободу нашей Родины. Мы отстояли великие завоевания Октябрьской социалистической революции.

В суровых условиях, в тяжелых боях мы одержали победу над коварным сильным врагом со всеми вытекающими последствиями для истории человечества.

После войны я окончил Высшую военную академию Генерального штаба и пять лет занимался военно-педагогической работой в одной из наших военных академий, ведя курс оперативного искусства.

В 1956 году по состоянию здоровья демобилизовался из рядов армии в запас.

Нелегко служить в армии, еще труднее — расстаться с нею. Я не кабинетный полковник, а офицер переднего края, офицер ближнего боя. Признаюсь, я очень тяжело переживал свой уход из строя. Для того, чтоб переквалифицироваться, надо было учиться, но для меня студенческий возраст оказался далеко позади. По выслугам лет я имел право быть полковником запаса, но несмотря на то, что я обеспеченный человек,—не имел права быть

гражданином запаса. Мне хотелось быть общественно полезным человеком и служить Советскому Союзу до конца своей жизни.

За многолетнюю службу в рядах армии я общался со многими слоями, с разными поколениями многонационального советского народа; переносил вместе с ними все трудности военного быта, тяготы военных походов и суровые испытания боев. Я не только командовал вверенными мне войсками, но и учился у них многому и многому, прошел большую гражданскую школу.

Обдумав все это и взвесив свои возможности, я решил заняться литературной деятельностью.

Главная цель? Правдиво рассказать подрастающему поколению о советском патриотизме, о ратных боевых делах их отцов и матерей, старших братьев и сестер, ибо нет в нашей стране ни одной семьи, не задетой прошедшей войной.

Молодежь по рассказам участников-очевидцев должна знать всю правду о патриотическом духе, несгибаемой воле, стойкости и мужестве, о беспримерном подвиге старшего поколения,—быть их достойным наследником и приумножать благородные традиции.

На примерах ратных дел старшего поколения надо воспитывать молодежь в духе советского патриотизма и научить героизму.

Личный опыт хорош, но он весьма узок. Поэтому личный опыт не всегда может послужить основанием для больших обобщений. Воспоминания участников боев, до некоторой степени, могут восстанавливать атмосферу прошедших сражений...

Мои произведения целиком и полностью построены на личных воспоминаниях, на отборе из груды воспоминаний характерных эпизодов. Там нет вымышленных событий и вымышленных лиц.

Темы, над которыми я работаю, можно приблизительно сформулировать так: Процесс становления казаха как гражданина СССР.

Эта тема охватывает период 1911—1941 годы. В результате ее освоения опубликована книга «Наша семья», ряд рассказов. Предстоит еще много поработать. Вторая тема, над которой я работаю—это процесс становления воина и формирования воинского характера.

Еще в годы войны мои воспоминания, записки легли в основу книг Александра Бека «Панфиловцы на первом рубеже» и «Волоколамское шоссе».

После войны как тематическое продолжение этих книг мною были опубликованы сборники военных рассказов «Облик воина», «История одной ночи», отдельные рассказы, стихи и много статей.

За последние годы опубликована книга «За нами Москва». За пять лет эта книга в Советском Союзе выдержала пять изданий тиражом около четырехсот тысяч экземпляров. Книга «За нами Москва» заканчивается декабрем 1941 года, а война закончилась в мае 1945 года. Следовательно, впереди еще много работы.

В прошлом году исполнилось 70 лет со дня рождения генерала Ивана Васильевича Панфилова. Эту дату в нашей республике отметили широко, чтя память Панфилова как народного героя.

В начале этого года из печати вышла моя книга «Генерал Панфилов» (его биография) стодесятитысячным тиражом.

Не только о наших подвигах должно знать подрастающее поколение, но и об ошибках. Таково мое творческое кредо. И потому я часто выношу эпиграфом своих книг слова: «В этих записках я хотел поделиться не только лишь положительным опытом, но рассказать о своих собственных ошибках»...

Я привез эти книги на Кубу. Если их переведут на ваш язык — и с вами я буду рад поделиться опытом.

Известно, что смерть неизбежна—воскрешения нет! Но следует не ее бояться, а потери работоспособности. Брать как можно побольше от жизни—это обывательщина. А вот давать обществу как можно больше —

это стремление борца. Радость жизни не в том, что берешь, а в том, что ты даешь другим — несешь свои знания и опыт народу. В моем знании и моем опыте на том свете никто не нуждается. Не следует их уносить туда, лучше оставить здесь. Поэтому я спешу как можно больше поработать.

Если мои книги принесут какую-либо пользу и вам — я буду вознагражден за свои труды.

Меня просят рассказать о жизни и деятельности генерала И. В. Панфилова.

О Панфилове и панфиловцах написано много книг.

Панфилов был простым русским человеком. Он участвовал в первой мировой войне: был фельдфебелем царской армии, был одним из активных участников революции.

Когда война из империалистической превратилась в гражданскую войну, он добровольно вступил в ряды молодой Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимал участие в боях против иностранной интервенции и внутренней контрреволюции почти на всех фронтах.

В годы гражданской войны Панфилов командовал взводом, затем ротою, был офицером переднего края, самого ближнего боя. Он—один из героев гражданской войны, кавалер двух орденов Боевого Красного Знамени. За двадцать семь лет службы в армии (из них около десяти лет—в боях) Панфилов от рядового воина вырос до генерала.

Несмотря на свои большие боевые заслуги и высокое воинское звание он был скромным и общительным, требовательным и заботливым, глубоко русским человеком, интернационалистом. Он был человеком строгой внутренней самодисциплины, был очень требователен к себе. Был командиром с большим внутренним тактом и практическим опытом.

Не каждому дано критическое мышление. Не каждый способен извлекать уроки из собственных ошибок,— все равно, совершены ли они по неопытности или по незна-

нию. Не у каждого совесть строже любого строгого выговора старшего начальника.

Имея огромный командирский опыт и знания, Панфилов старался применять их творчески, с пользой для общего дела. Об этом говорит хотя бы такой случай.

После одного из боев под Москвой я докладывал генералу. Для оправдания своих не совсем удачных действий сослался на некоторые статьи устава. Видимо, эти положения устава я защищал горячо и страстно. Панфилов, как всегда сдержанный, выслушав меня до конца, задумался, а потом мягко, улыбаясь, сказал:

— Нет, батенька, буква буквою, статья статьею, устав уставом,—а война войною,—и, повысив голос, добавил:—Война, конкретная обстановка боя нас учат, наш горький опыт нам подсказывает... Правильно Петр Первый сказал: «Не держаться устава, яко слепой стены, ибо там порядки писаны, а времен, случаев нет»,—и, выдержав паузу, хитро улыбнулся:—Говорят, что царь, написав это, задумался и приписал: «Тех, кто не будет выполнять устава бить батогом».—Я вполне согласен с Петром Первым, за исключением битья батогом...

— Хорошо сказал Петр Первый, товарищ генерал,—прервал я Панфилова.

— Хорошо-то хорошо сказано, бесспорно хорошо. Но он вас батогом поколотил бы, а вот мне Советская власть не разрешает...

Я вам не запрещаю уставы применять, коль вы их знаете, но положение устава умеючи, по обстановке, осмысленно и творчески применять надобно. Я запрещаю механическое усвоение и применение буквы устава.

Хотя весь разговор носил для меня характер тяжелого выговора, но справедливость и убедительность этих доводов, как говорится, комментариев не требуют. Они были для меня весьма поучительными.

— Да, в уставе, действительно, нет ни времени и ни случаев,—продолжал Панфилов.—Устав—это не приказ, имеющий кратковременный характер. Но и к отдаче при-

каза надо подходить разумно и творчески. Не только краткая формулировка замысла боя и конкретных боевых задач частям, но и способы их выполнения войсками,—вот что такое приказ. Приказ отдается именем народа, Родины и после отдачи становится личной судьбой подчиненного—исполнителя. Это очень и очень серьезно...

— Я вас понял, товарищ генерал.

— Только прошу вас не понять меня по субординации.

Знаете, у нас всегда старший прав бывает... Народ не лыком шит. Простой человек иногда знает и думает больше, чем иной начальник, но он часто обобщить не может или высказать свое мнение побаивается. Вот я командир, можно сказать, всю свою жизнь, но всегда считал и считаю: не войска для командира, а командир для войска. Одна из главных задач командирского искусства—это владеть ключом к сердцу масс. Чем ближе командир к массам, тем лучше и легче ему работается. Суворов, требуя соблюдения субординации и беспрекословного повиновения, учил командовать без превышения власти, подчиняться—без унижения.

Так учил нас, своих подчиненных, генерал Панфилов.

Мне задали вопрос: очень важно услышать от вас о роли политработников в годы Великой Отечественной войны, и в частности в боях за Москву.

Отвечаю. И раньше мне задавались подобные вопросы немного с другим подтекстом. Меня спрашивали: «Кто у вас стоит выше: комиссар или командир?» Логически получается так: кому больше доверия—командиру или комиссару? Кто из них больше предан Советской власти?

Наша партия и Советское правительство одинаково доверяли обоим им. Они одинаково преданы Родине: могу сослаться на свой жизненный опыт, на свою собственную биографию.

Я в рядах армии с 1932 года, а в партию вступил в

1942 году. Следовательно, долгие годы я был одним из беспартийных командиров. Не вступал в партию не потому, что был в оппозиции КПСС, а считал себя недостаточно подготовленным для того, чтоб вступить в ряды этой великой партии... Будучи беспартийным, я командовал взводом, батареей, был первым помощником начальника штаба полка, командовал батальоном и полком... Будучи беспартийным командиром, я никогда не чувствовал какого-либо недоверия или подозрительного отношения к себе... Политруки и комиссары были самыми лучшими моими сослуживцами и боевыми друзьями... У меня никогда не возникало малейшего основания остерегаться их. У нас были вполне здоровые товарищеские отношения: как офицера с офицером, как воина с воином. Об этом я написал в своих произведениях откровенно и правдиво, отдавая политработникам должное, высоко ценя их добропорядочность и мужество.

Дордия, Бозжанов, Толстунов, Габдуллин—это политруки. О их боевой деятельности, мужестве и отваге в боях под Москвою написано в книгах «Панфиловцы на первом рубеже», «Волоколамское шоссе», «История одной ночи», «За нами Москва». В бою подвиг совершается на грани жизни и смерти. Их подвиги описаны в этих книгах не по фантазии писателя, их образ—это не продукт воображения художника, а документальные, достоверные факты. Есть архив, есть живые свидетели. Политический и моральный фактор, особенно в бою, имеет решающее значение. Политическая сознательность воина, верность своему воинскому долгу, уяснение задачи и трезвая оценка обстановки, способность воина предельно напрягать все свои силы для выполнения поставленных перед ним задач вплоть до самопожертвования, если этого потребует обстановка боя,—это самое главное качество воина. Воюет человек, а техника лишь средство борьбы в его руках. Сознательный, гордый, инициативно-активный воин, который владеет техникой,—вот настоящая боевая единица.

Система политической работы цементировала основы основ боевой подготовки и боевой деятельности войск. Будучи беспартийным командиром, я опирался на массы через партийно-политический аппарат.

Со второй половины войны у нас было введено единоначалие. Командуя дивизией, я стал командиром-единоначальником, т. е. коммунистом номер один в дивизии. Если я раньше опирался на комиссара, то теперь я должен был направлять всю партийно-политическую работу. Хотя я и раньше не был пассивным командиром в политработе, признаюсь, мне это сначала было нелегко. Сама жизнь убедила меня в малоопытности. Мои товарищи, бывшие комиссары, поделились со мной опытом.

Как командир я утверждаю: что организация политической работы в бою не менее сложна, чем отработка какого-либо решения командира; что политическое обеспечение решений командира в бою не менее сложно, чем материально-техническое обеспечение боя.

Современный бой скоротечен, полон неожиданностей, непредвиденных случаев и обстоятельств. В современном бою часто меняется обстановка. Изменившаяся обстановка вынуждает командира корректировать свое первоначальное решение, предпринять новый маневр, а иногда принимать во всем новое решение. В такой сложной обстановке, конечно, всем приходится нелегко, но политработникам приходилось еще труднее. Они должны были политически обеспечивать эти новые решения командира в самой сложной суматохе боев, проводя разъяснительную работу среди войск.

Мы посылали политработников на самые опасные участки и они часто находились на переднем крае в критические моменты боев. Немало примеров, когда политработник своим личным примером увлекал за собою бойцов; немало примеров, когда политработник возглавлял атаку или контратаку; немало примеров, когда политработник, заменив выбывшего из строя командира, принимал всю ответственность на себя.

Партийно-политический аппарат—это связующее звено между массою и командиром. Наш политработник — начальник для всего личного состава. На это он имеет полное основание—как опытный офицер.

В боях на дальних подступах к Москве комиссару полка Петру Васильевичу Логвиненко пришлось в самой сложной обстановке неоднократно заменять командира. Однажды, когда командир Елин отбился от полка, Логвиненко, приняв командование, организованно и с боями вывел полк из окружения. Другой пример. В книге «За нами Москва» я о нем пишу: «Надо признать, что после моего ранения основная тяжесть практического командования полком легла на плечи нашего комиссара Петра Васильевича Логвиненко. Этот горячий, смелый человек умел в нужный момент не жалеть и себя. Он буквально метался по переднему краю и в горниле боев уцелел чудом. Только твердые знания, и большой практический опыт дает право на взаимозаменяемость. Повторяю, наши политработники—равнозначные и опытные офицеры. У нас немало примеров, когда бывшие политработники успешно командуют полками, дивизиями и корпусами. У нас немало примеров, когда бывшие командиры с успехом справляются с партийно-политической работой.

На днях министр Вооруженных сил Рауль Кастро выступил с проектом закона о всеобщей воинской обязанности, который сейчас обсуждается вашим народом. Каждый из вас понимает, что введение обязательной военной службы повысит готовность отразить и разгромить любое нападение на вашу страну. Если вам удастся создать вполне современную первоклассную армию—это поможет укрепить и позиции защитников мира.

Вооруженные силы предназначаются для защиты свободы и независимости своей Родины, для отстаивания завоеваний революции, для отстаивания государственных интересов и обеспечения мирного созидательного труда своего народа.

Военная служба для каждого нормального гражданина

страны—священный и почетный долг. Уклонение от военной службы под разными предлогами — это тяжелый проступок в биографии гражданина. Если кто-нибудь уклоняется от военной службы—значит, он ложный патриот, он не человек чести.

Служба в армии для молодого—это школа моральной и физической закалки. Армия—это общение с широким слоем своего поколения. Армия—это школа внутренней собранности, внешней опрятности и достойного поведения человека в самых трудных условиях. Каждый физически пригодный к военной службе гражданин должен стараться пройти эту школу выдержки и самодисциплины. У нас нередки примеры, когда молодые люди — папенькины и маменькины сынки—со службы возвращаются домой возмужалыми, морально и физически окрепшими, с развитым чувством личной ответственности за порученное им дело, с сознанием собственного достоинства. Нередки примеры, когда демобилизованные возвращаются домой, имея в руках аттестат зрелости и квалификацию, пригодную для работы в мирных условиях. Например, мой младший брат Маисджан по причине болезни вынужден был бросить учебу с 8-го класса... Прослужив в армии три года, он вернулся домой с аттестатом зрелости в руках, имея специальность плотника. Он теперь успешно работает в колхозе столяром-плотником.

Главной основой боеспособности и постоянной боевой готовности в армии является строгая воинская дисциплина, которая основывается на высокой политической сознательности, на патриотическом чувстве, на глубоком понимании своего воинского долга каждым воином.

Каждый воин строго и точно должен соблюдать порядки и правила, установленные законом, уставами и приказами начальников. Каждый воин обязан быть дисциплинированным, в совершенстве знать и беречь свое оружие, постоянно совершенствовать свои знания, быть готовым проявлять разумную инициативу, дорожить своим

воинским коллективом, помогать товарищам во всем, удерживать своих товарищей от недостойных поступков и беспрекословно повиноваться своему командиру.

Все это на практике удается не сразу и не так-то легко. Укрепления сознательной воинской дисциплины командир добивается последовательным проведением ряда мероприятий, своей повседневной кропотливой работой, опираясь на положения уставов, на опыт старших, на политаппарат, на воинскую общественность.

Основной метод укрепления воинской дисциплины — это убеждение. Но жизненный опыт и практика не исключают и другой, подсобный, метод—принуждения в отношении нерадивых. Ведь в армию попадают разные люди из различной среды. Отец журит сына не потому, что он ему желает плохого, а — огорчен его неправильным поступком. Отец не хочет, чтоб сын пошел но неправильному пути, поэтому он его наказывает. Командир применяет метод принуждения как крайнюю меру воспитания нерадивого.

Командир облечен доверием и властью, он старший брат своим подчиненным. Он должен всесторонне изучать личный состав путем личного общения, учитывать в своей работе полезные высказывания и предложения подчиненных. Большое доверие, коим он облегчен, не значит, что все должно быть только и только по нему, есть ряд норм, чувство меры, которых он не вправе переступать.

Командир должен воспитывать и учить своих подчиненных не гневом, а умом. Он должен быть объективно справедливым, он не должен без меры хвалить или без вины терзать. Он должен четко различать и глубоко понимать разницу между двумя понятиями: требовательность и жестокость. Ни в коем случае не допускать стирания грани между ними в своей деятельности, ибо требовательность — это закон, а жестокость — это беззаконие. Жестокость, как и всякое беззаконие унижает, вызывает озлобленность.

На основе политической сознательности, боевых традиций и передового опыта, нетерпимого отношения к недисциплинированности, воин должен воспитываться и обучаться гордым человеком. Негордый человек не способен совершать подвиги; Суворов говорил: «подчиняйся без унижения!» Ни в коем случае нельзя унижать человеческое достоинство воина.

Высокая требовательность к себе и подчиненным, умелое сочетание и правильное применение мер убеждения—долг и обязанность командира.

Без причины ничего не совершается. Всякие проступки должны быть предупреждены путем здравого анализа, своевременного выявления и устранения причин, порождающих их. В каждом воинском коллективе должно быть нетерпимое отношение к недисциплинированности. Ни один проступок не должен оставаться без дисциплинарного воздействия, ибо недисциплинированность одного может иметь тяжелые последствия для многих ни в чем неповинных, честных воинов. Это особенно чревато последствиями в бою. Поэтому проявление всякой недисциплинированности еще в зародыше должно быть устранено.

* * *

Несколько слов о кадрах. Как известно, хорошо подготовленные и высококвалифицированные кадры—самый решающий фактор во всяком деле.

Никто не рождается с высокой квалификацией и большим опытом. Знание и опыт приобретаются годами. Правильная расстановка кадров требует строго объективного, делового подхода со стороны старшего начальника.

Одновременно следует иметь ввиду, что незаменимых людей нет. Надо дать отпор и своевременно поставить на свои места всех тех, кто начал проявлять элементы зазнайства, надо отрезвлять во время всех тех, у кого кружится голова от мнимых успехов, кто начал терять чувство скромности.

Успех во всяком деле достигается лучше при слаженности и при хорошем взаимодействии. Низкая квалификация офицеров нигде так вредно не отражается, как на штабной службе и в партийно-политическом аппарате. Всякий хороший замысел требует четкого, продуманного, всесторонне обеспеченного организационного начала и слаженного взаимодействия.

Универсальных родов войск нет. Сущность взаимодействия родов войск в бою заключается в восполнении недостатка одного рода войск достоинством другого рода войск. Так же нет универсальных офицеров. Поэтому практически необходимо взаимодействие и взаимозаменяемость офицеров различной квалификации, под общим единым командованием. Они должны друг друга восполнять. Как говорится, необъятного не обнимешь. Ни один высококвалифицированный командир не может заменять всех, поэтому ему дается штат заместителей и помощников. Он умело как единоначальник должен пользоваться их услугами.

Принцип взаимозаменяемости нам удался не сразу. Нам пришлось преодолевать много трудностей, но мы, в основном, решили эту проблему. Наш многострадальный опыт научил нас заменять друг друга как в бою, так и в труде. Для того, чтобы добиться этого, нам пришлось много учиться, много трудиться.

ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ

В настоящее время писательская организация нашей республики насчитывает в своих рядах около двухсот человек, из которых пятьдесят семь писателей — участники Великой Отечественной войны. Это большая группа. С ней надо считаться, ею надо дорожить.

Мы, военные писатели, рассматриваем войну как одну из страниц биографии нашего многонационального советского народа. Как в годы войны, так и теперь мы пишем свои книги не с целью пропаганды войны, а с целью увековечения всенародного подвига, с целью воспитания у молодежи чувства ответственности перед Родиной и перед народом, перед своей совестью.

Мы, военные писатели, пропагандируем мир и дружбу между народами... Мы хотим рассказать подрастающему поколению всю правду о трудовых и боевых делах их отцов, старших братьев, сестер и матерей. Молодежь должна знать не только о подвигах старшего поколения, но и о наших, порой непростительных, ошибках. Это нужнее всего: как старый воин я не хочу, чтобы мои ошибки повторили мои сыновья... У современной военно-патриотической литературы много достоинств. Но сегодня разрешите доложить о ее недостатках. Тем более, что эти недостатки относятся не только к нашим казахским писателям, но и к братьям по перу — писателям других республик, включая Российскую Федерацию.

Одним из недостатков ряда наших военно-художественных произведений, на мой взгляд, является мелкотемье: книги не выходят за рамки стрелковой ячейки, бруствера, траншей... Это печально: нам не хватает образования, опыта, знания жизни. А на предположениях далеко не уедешь. Домыслы хороши, когда ты умеешь обобщать. Из-под пера же невежественного воображения выходят в свет нелепые произведения. Они засоряют наш книжный рынок, засоряют сознание молодежи.

В некоторых произведениях излишне натянутый и надуманный психологизм. Как следствие этого — искусственные, весьма дешевые конфликты. Такой безответственной халтуре литературных стиляг пора положить конец.

Психологизм мы понимаем как глубокий анализ поведения человека и объяснение причин, порождающих тот или иной поступок. В некоторых произведениях есть поступок, а объяснения нет... В чем дело?.. Мы страдаем

творческой беспомощностью! И мы должны преодолеть этот недуг.

В других произведениях авторские ремарки не раскрывают социальную и профессиональную психологию героев. Книги пишутся не для героя, а для читателя. И надо уважать его, любить и оберегать от всякой дешевой нелепости. Надо считаться и бояться его — он главный судья!

Ряд проблем, как «инстинкт самосохранения», «рождение подвига», «становление воина и формирование воинского характера», вопросы жизни и смерти, воинского долга,— нами лишь частично решены. Нам надо серьезно, осмысленно поработать. Главная задача художественной литературы на военную тематику — это художественное обобщение опыта войны, а главная проблема — процесс становления воина и формирование воинского характера человека, призванного из *труда* в *строй* для защиты интересов Отечества. А так же вопросы процесса преобразования воина, демобилизованного из *строя* в *труд,* после завершения войны.

Как процесс становления воина, так и процесс формирования человека в труде — это единый процесс становления гражданина и советского характера. Процессы эти неотъемлемы друг от друга, ибо наш современник имеет две биографии, одинаково достойные уважения: военную и мирную.

Один из главных недостатков наших произведений заключается именно в одностороннем, приключенческом, построении военных произведений. Ведь герой нашего времени — это герой войны и он же герой труда. Тому много примеров из нашей жизни. Почему же мы до сих пор не сумели сочетать в своих произведениях то, что так интересно и красиво сочетается в нашей советской действительности? В большинстве наши произведения односторонни: или чисто военные или гражданские. К чему такое искусственное деление единой биографии нашего

современника? Где находятся и что делают герои популярных военных романов и повестей? Почему авторы этих произведений перестали интересоваться дальнейшей судьбой своих героев?

Такие вопросы может быть были неуместны десять — пятнадцать лет назад, но на двадцатом году победы в Великой Отечественной войне они требуют своего решения. Надо думать, надо серьезно работать, умело организовывать и направлять творческий процесс. Мы, писатели, должны следить за боевой и трудовой биографией ветеранов. Их цельная биография имеет большое воспитательное значение. Молодежь надо воспитывать на боевых и трудовых традициях. Традиция — это не мертвая реликвия, ее надо приумножать. Молодежь должна быть достойной наследницей великого прошлого в новых исторических условиях. Героизм — не дар природы, а результат воспитания. Не любой поступок правомерно называть подвигом. Воспитание молодежи в постоянной готовности к подвигу — наша главная задача. Призывая молодое пополнение в армию, мы продолжаем коммунистическое воспитание. Но на службу должен придти достаточно воспитанный советский гражданин. Поэтому нравственная и физическая подготовка молодежи еще до призыва в армию, имеет важное значение. Повторяю! Эти вопросы нами разработаны поверхностно и лишь отчасти.

Мы стоим на верном пути, ибо принимаем за основу своего творчества изучение опыта войны не только по документам, но и по человеческим судьбам. Нам, писателям-фронтовикам, следует повышать свои военные знания и знания марксистко-ленинского учения о войне и армии.

16 июня 1964 г.
г. Ташкент.

СОЛДАТЫ И ПИСАТЕЛИ

Великая Отечественная война явилась огромным испытанием моральных сил всех народов Советского Союза, в том числе и казахского народа. Она стала переломным и поворотным пунктом в сознании казахского народа, задетой войной, следовательно, ни одного человека, не имеющего своей военной биографии.

Она оказала и будет еще оказывать свое влияние на культурное развитие не только наших современников, но и последующих поколений, на весь народ в целом.

Под руководством великой нашей партии и Советского правительства в этой исторической вооруженной борьбе за будущее человечества казахи, как народ и как воины впервые в своей истории принимали участие в войне, которая потрясла мир своим размахом, и цели которой далеко вышли за любые национальные рамки.

Война была великой школой интернационализма, братства наших народов в борьбе за судьбу нашей страны, за жизнь Советского Союза, за великое завоевание Октябрьской социалистической революции.

На полях Великой Отечественной войны, в рядах регулярной армии, в народной войне — в рядах советских партизан — на трудовом фронте — казахи в те суровые годы сражались, учились, мужали.

Как никогда раньше яркое проявление в Отечественной войне нашли все положительные качества и благородные традиции казахского народа: его патриотический дух, его искренняя преданность КПСС, советской Отчизне.

Казахский народ в годы войны выдержал суровый экзамен как социалистическая нация и показал выросшее за четверть века советского периода и своего свободного существования — сознание советского Казахстана.

Подвиги казахстанских воинов на фронтах и труже-

ников — в тылу получили достойное и высокое признание всеми братскими народами Советского Союза, неоднократно отмечались партией и правительством.

Советский Казахстан с честью пришел к финишу войны наравне с другими братскими народами Советского Союза через тернистые пути и скользкие дороги, теснины соединений особенно покрыла себя неувядаемой славой 8-я гвардейская стрелковая дивизия им. И. В. Панфилова. Подвиг 28 гвардейцев вошел в летопись Великой Отечественной войны Советского Союза.

В годы войны промышленные предприятия и сельское хозяйство Казахстана стали одним из важных источников бесперебойного снабжения фронта боеприпасами, снаряжением, обмундированием, продовольствием и горючим. Десятки тысяч тружеников Казахстана за свои самоотверженные трудовые подвиги в годы войны награждены орденами и медалями.

* * *

Литература и искусство Казахстана как выражение развития духовных сил народа, в годы войны тоже верно служили в интересах победы над врагом. Начиная от столетнего Джамбула, сражались своим острым словом «инженеры человеческих душ»: печатали статьи, очерки, стихи в газетах и журналах; в эфире звучали песни, отцовские и материнские благословления старых деятелей науки, культуры, искусства, ветеранов революции и гражданской войны, на фронт отправлялись делегации от трудящихся с подарками, концертные бригады,— все они обращались к советскому воину с патриотическими призывами, становились рядом с бойцами на поле брани, передавали им призыв матери-родины к мужеству, бодрили, вдохновляли, упрочали духовную связь тыла и фронта.

На фронт ушли больше пятидесяти писателей и поэтов, более сотни работников искусства. Они, одев солдатские шинели, с оружием в руках становились в строй.

Они — эти солдаты, сержанты и офицеры, находясь на переднем крае, умело сочетали штык с пером. Они писали оставив неизгладимый след в сердцах миллионов соотечественников, ибо в нашей стране нет ни одной семьи, не корреспонденции в дивизионные, республиканские и центральные газеты. Их кабинетом бывали дно траншей, столом — колени. Многие задушевные рассказы и стихи рождались на переднем крае или во вражеском тылу, в затишье между боями или в боевом походе.

Всем памятны знаменитые Джамбульские стихи «Ленинградцы, дети мои!» обращенные к ленинградцам в самые страшные дни блокады города. Это послание столетнего Джамбула ленинградцам — яркое свидетельство окрепшей дружбы между русским и казахским народами.

Очерки и выступления военных лет Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита Мусрепова в свое время сыграли свою пропагандистскую роль.

Фронтовики-литераторы не только выступали на страницах печати, делясь непосредственными боевыми впечатлениями, но выступали среди своих боевых товарищей с живой беседой. Они воспевали подвиг, мужество, отвагу своих боевых товарищей на самой «эстраде» боевого переднего края. К таким относятся — партизан Жумагали Саин, Абу Сарсембаев, Касым Аманжолов, Абдолла Жумагалиев, Дихан Абилев и другие. Их произведения военных лет как среди солдатской массы, так и в тылу пользовались большой популярностью.

Очерки воина-писателя Баубека Булкышева, опубликованные в «Комсомольской правде», в свое время обратили на себя внимание читательской общественности. Так же были весьма содержательными очерки и рассказы. А. Сарсембаева, С. Омарова, М. Габдуллина о боевых делах своих боевых товарищей.

* * *

Наш советский народ одержал победу над врагом. Кончилась война. Многие вернулись с фронта. Первые послевоенные годы в казахской литературе на военную тематику было некоторое затишье, если не принимать во внимание отдельных рассказов и очерков. Это объясняется тем, что для осмысливания пережитого требовалось время.

Первым весомым произведением на военную тему можно назвать роман известного казахского писателя Габита Мусрепова «Солдат из Казахстана». Этот роман является достойным вкладом не только в фонд казахской прозы: он заслуженно пользуется популярностью среди читателей других республик и выдержал несколько изданий.

Отрадно, что такой маститый мастер слова, как Габит Мусрепов сразу же после войны написал роман на военную тему, где он дает обширное описание жизни своего основного героя Хайруша Сарталеева с детства до становления его как воина — патриота своей Родины. Глубина, содержательность, серьезность и широкая панорамность книги—неоспоримы. Поэтичность повествования, присущая Мусрепову, привлекает и покоряет читателя.

Затем следует назвать повести о героических подвигах панфиловцев, написанные панфиловцами: «Мои фронтовые друзья» Героя Советского Союза Малика Габдуллина, «На дальних подступах» и «В наступлении» Дмитрия Снегина. Хотя они не представляют собою такого широкого полотна как «Солдат из Казахстана», но они хороши своей непосредственной документальностью и простым повествованием; я бы их назвал «кусками, вырванными из боевой действительности».

Прошло много лет. Мы ждали хороших военных романов, повестей и рассказов. Некоторые авторы шли робко, но верно к цели. Появился роман «Курляндия» Абди-

жамила Нурпеисова. Молодой офицер запаса владел хорошим языком, образованным мышлением. В основном роман ему удался, но оставалось какое-то чувство неудовлетворенности. Сюжетная рыхловатость, прямо скажем, отсутствие цельной сюжетной линии, как бы притормаживало свободное общение между читателем и писателем при чтении произведения. Спустя определенное время автор сам понял, чего именно не хватает, отказавшись от переиздания, немедленно взялся за переработку его, вернее, стал писать заново. Задачи, замысел, решение главных проблемных вопросов через образы приняли сюжетную стройность. Выигрышным стал язык, стиль, образ мышления, темп, ритм и дух произведения. Автор серьезно поработал. Автор вырос на целую голову выше прежнего.

За последние годы появилось немало хороших рассказов и повестей на тему Великой Отечественной войны, написанные, в основном, самими участниками войны, так: Канахина — «В тяжелые дни», Жумаканова — «Путь солдата», Кайсенова — «Юные партизаны», «Партизаны Переяслава», Лекерова— «Неугосимая звезда», Бакбергенова — «Талгат», Омирбекова —«Невеста героя» и другие.

Новые романы А. Нурпеисова «День желанный» и Т. Ахтанова —«Грозные дни» написаны участниками Великой Отечественной войны, молодыми писателями, и по существу являются их первыми крупными произведениями.

Авторы посвятили свои труды теме войны. Повторяю, они сами являются участниками войны — это чувствуется по росчерку пера и по манере изложения от начала до конца книги. Появление этих романов — отрадное явление, так как они восполняют тот пробел в казахской литературе, который мы ощущаем в последнее десятилетие.

Каждая из названных работ представляет большой интерес как по замыслу, так и по творческой индивидуальности в самой постановке, решении ряда проблемных вопросов. Оба автора, на мой взгляд, писали свои книги в ретроспективном плане. Следует отметить, что в послевоенные годы в ряды Союза писателей Казахстана вошли двадцать участников Отечественной войны. Ко дню декады на оборонную тему увидели свет три романа, двадцать одна повесть, одиннадцать поэм, десять сборников, пять драматических произведений с общим объемом более двухсот печатных листов, тиражом около трехсот тысяч экземпляров.

Эти далеко не полные и скромные данные свидетельствуют о том, что казахские писатели наравне с писателями других братских республик кое-что вложили в фонд и «оборонной» литературы, тем самым принимая активное участие в решении вопросов воинского воспитания нашей молодежи, улучшении партийно-политической работы в нашей армии своими произведениями на высоком патриотическом и идейном уровне.

Мы, казахские писатели, понимаем, что главная задача художественной литературы на военную тематику—это художественное обобщение опыта войны, а главная проблема — это вопрос становления воина на поле боя в интересах защиты Отечества.

Эти задачи и эти проблемы нашими писателями пока лишь частично затронуты и решены. Но мы стоим на верном пути и надеемся, что в ближайшие годы вложим свой достойный вклад в дело правильного решения и этих проблем, ибо, как явствует из многих произведений, мы принимаем методологию изучения опыта войны не только по боевым документам, но и по человеческим судьбам.

Нашим казахским писателям, пишущим на военную тематику, следует повышать свои военные знания, повышать свои знания по вопросам марксистско-ленинского учения о войне и армии.

Писатель, пишущий о войне, должен правдиво и ярко изображать картины боевой действительности, боевой жизни, так как она должна стать сильнейшим идеологическим оружием в воинском воспитании молодежи, а она станет им лишь тогда, когда в книгах будет полностью раскрыто величие души советского солдата, кровью и жизнью отстоявшего в недавней войне великие завоевания Октября.

ПРИМЕЧАНИЯ

Включенные в первый том произведения «За нами Москва», «История одной ночи», а также, вошедшая во второй том повесть «Наша семья», рассказы: «Спина», «Я помню их», «Помкомвзвода Николай Редин», «Жизнь не погасла», «Зеленый бугорок», «Музей-апа»,— печатаются по тексту: Бауржан Момыш-улы, «Избранное в двух томах», Алма-Ата, «Жазушы», 1978.

За нами Москва. Записки офицера.— Впервые вышли в свет частями в периодической печати. Часть первая, без разделения на главы, что было сделано автором впоследствии, была напечатана в журнале «Советский Казахстан», 1958, №№ 1, 2. Часть вторая,— начиная с главы «Пощечина» и далее: «Гибель генерала», «Майор Елин», «Человек с ружьем», «Назначение», «Бой за Соколово», «В лесу», «Крюковские эпизоды», «Контрнаступление»,— впервые опубликована под названием «Боевые будни. *Записки офицера»* в журнале «Простор», 1960, № 11. Название главы «Контрнаступление» впоследствии автором снято, а сама глава как составная часть вошла в «Крюковские эпизоды».

Произведение «За нами Москва. Записки офицера» получило единодушное одобрение критики, переведено на многие языки народов СССР, неоднократно издавалось.

ПОВЕСТИ

Наша семья.— Повесть впервые была издана Калининским книжным издательством, 1956. В определении жанра стоит: Автобиографический роман, книга первая, Бауржан Момыш-улы предполагал написать в качестве продолжения еще одну автобиографическую книгу. Однако замысел автора так и не осуществился.

РАССКАЗЫ

Я помню их.— Впервые опубликован в журнале «Простор», 1968, № 5.

Спина.— Впервые опубликован в журнале «Советский Казахстан», 1957, кн. 12.

Помкомвзвода Николай Редин.— Впервые вышел в книге: Бауржан Момыш-улы. За нами Москва. Алма-Ата, Казгослитиздат, 1958.

Жизнь не погасла.— Впервые вышел в сборнике рассказов: Бауржан Момыш-улы. Я помню их. Рассказы. Алма-Ата, «Жазушы», 1971.

Зеленый бугорок.— Там же.

Она.— Там же.

Музей-апа.— Впервые опубликован в журнале «Простор», 1966, № 9.

Из строя в труд.— Публикуется впервые.

ВЫСТУПЛЕНИЯ, СТАТЬИ

Кубинские встречи.— Из записей выступлений на Кубе перед различными аудиториями с 11-го по 21 ноября 1963 года. Публикуется впервые.

Проблема литературного героя.— Из архива писателя. Публикуется впервые.

Солдаты и писатели.— Из архива писателя. Публикуется впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

Бауржан Момыш-улы

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

Редактор *О. Слободчиков*
Художники *Л. Тетенко, М. Искаков*
Художественный редактор *К. Зульпикаров*
Технический редактор *Н. Галицкая*
Корректор *А. Халиуллина*

ИБ № 3435

Сдано в набор 19.09.85. Подписано к печати 12.05.86. УГ 18162. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 3. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 16,0. Усл. кр.-отт. 16,1. Уч.-изд. л. 16,7. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2649. Цена 1 р. 40 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Полиграфкомбинат производственного объединения полиграфических предприятий «КIТАП» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480002, г. Алма-Ата, ул. Пастера, 41.

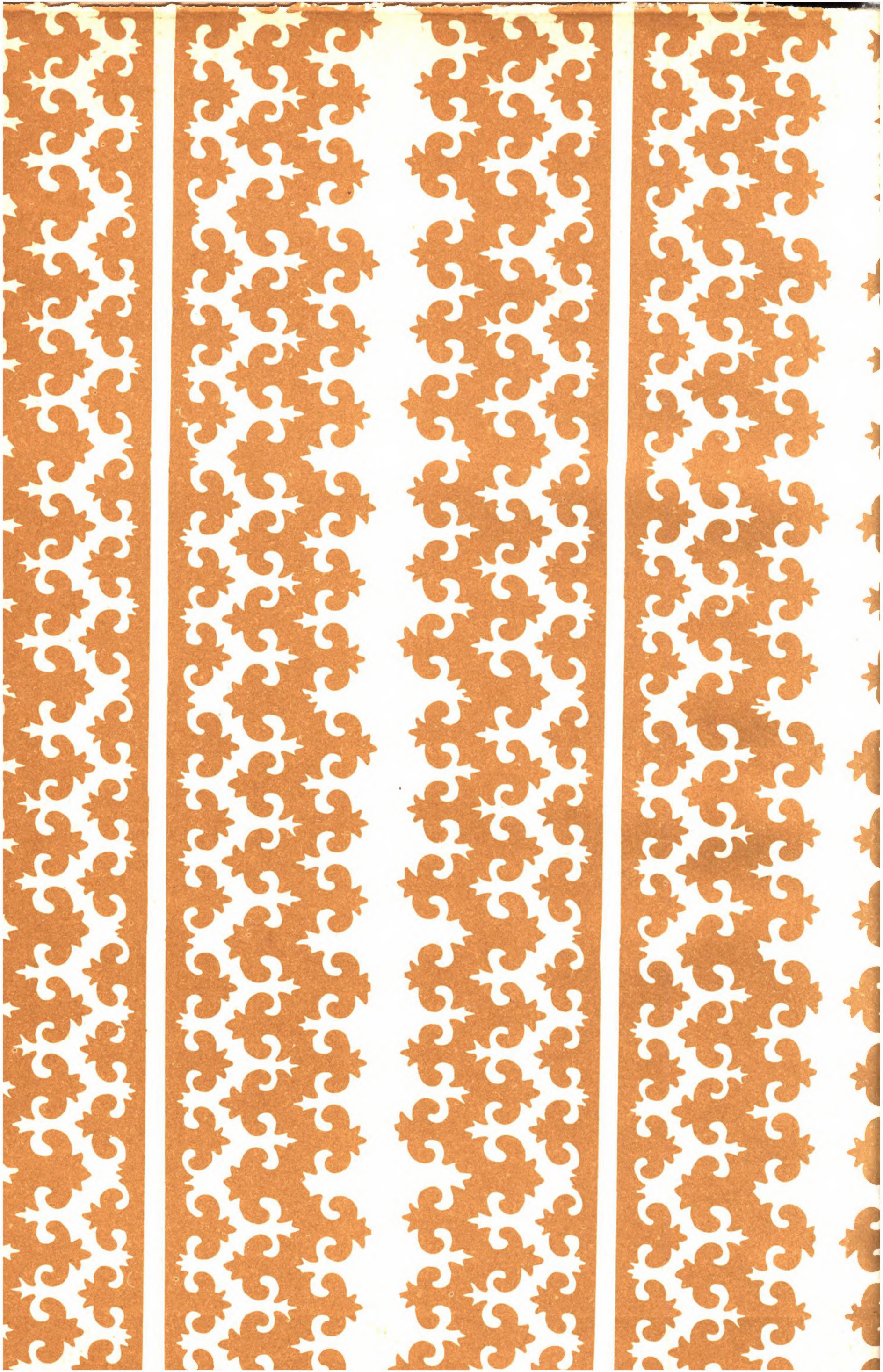
Момыш-улы Бауржан.

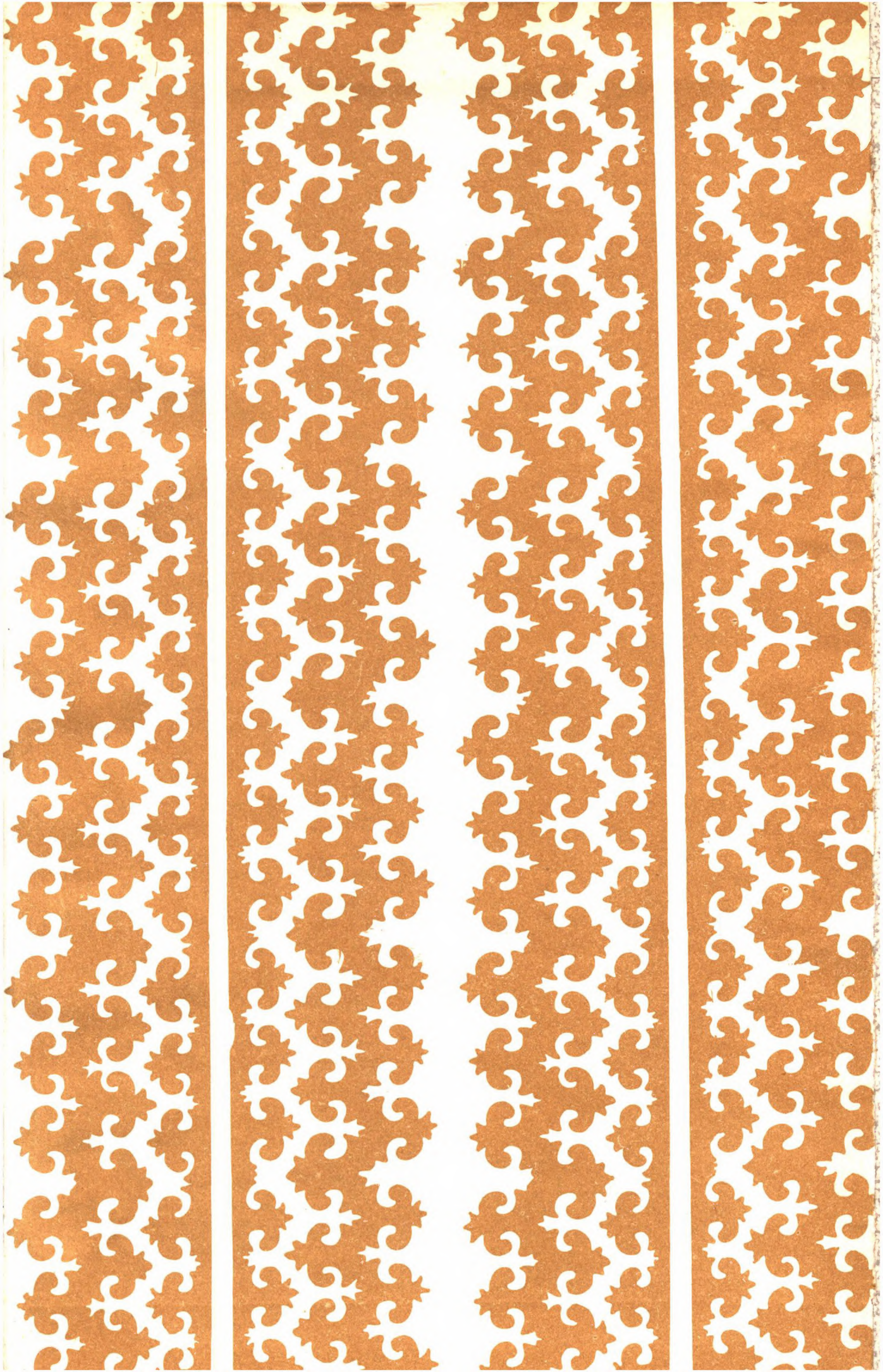
М 76 Собрание сочинений в двух томах.—Алма-Ата: Жазушы.

Т. 2: Наша семья: рассказы, выступления, статьи.— 1986.—304 с., ил.

«Наша семья» — повесть о детских годах писателя, рисующая ярко и точно жизнь казахского аула. Легенды, вплетенные в повесть, юмор делают ее своеобразным поэтическим документом уже далекого времени.

М $\frac{4702010200-118}{402(05)-86}$ 8—86 84Р7—44






БАУРДЖАН
МОМЫШ-УЛЫ
2